

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ ЕВРАЗИИ

Выходит на русском и английском языках

Номер 3 (27) 2006

СОДЕРЖАНИЕ

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ. КАМЕННЫЙ ВЕК

Волков П.В., Деревянко А.П., Медведев В.Е. Палеоэкономика населения среднего и нижнего Амура в конце неоплейстоцена – середине голоцена	2
Анисиоткин Н.К., Тимофеев В.И. Палеолитическая индустрия на отщепах на территории Вьетнама	16
Вострецов Ю.Е. “Поворотные моменты” в культурной эволюции древнего населения Приморья	25

ЭПОХА ПАЛЕОМЕТАЛЛА

Бобров Л.А., Худяков Ю.С. Парадные монгольские шлемы эпохи позднего средневековья из собрания Государственного Эрмитажа	33
Кубарев В.Д. Мифы и ритуалы, запечатленные в петроглифах Алтая	41
Вадецкая Э.Б., Гавриленко Л.С. Технология изготовления и роспись гипсовых масок енисейских мумий	55
Антипина Е.Е., Моралес А. Археозоологический подход к изучению устройства общества: кости животных из двух поселений горняков и металлургов восточной и западной окраин Европы	67

ДИСКУССИЯ

Проблемы изучения первобытного искусства

Ермоленко Л.Н. О смысле некоторых приемов стилизации деталей лица древнетюркских изваяний	82
Черемисин Д.В. К дискуссии об информативности петроглифов и методах их изучения	89

ЭТНОГРАФИЯ

Голубкова О.В. Этнокультурное взаимодействие северных коми-зырян и русских в сфере сакрального символизма	101
Березкин Ю.Е. Фольклорно-мифологические параллели между Западной Сибирью, северо-востоком Азии и Приамурьем-Приморьем (к реконструкции раннего состояния сибирской мифологии)	112

ЭТНОРЕАЛЬНОСТЬ В ФОТООБЪЕКТИВЕ

Северо-Западный Алтай: четыре времени года

Лето. Крестьянские промыслы Солонешенской земли: из прошлого в будущее	123
--	-----

АНТРОПОЛОГИЯ

Аристова Е.С., Чикишева Т.А., Зайдман А.М., Машак А.Н., Хорошевская Я.А. Случай гипофизарного нанизма у индивида, погребенного в кургане скифской эпохи на территории Тувы	139
Бужилова А.П., Добропольская М.В., Медникова М.Б. К проблеме реконструкции социальных взаимоотношений населения Барабинской степи (анализ травм и повреждений по антропологическим материалам серии Сопка-2)	148

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Международная конференция «“Замороженные” погребения в горах Алтая: стратегии и перспективы»	157
--	-----

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	160
-------------------	-----

ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ. КАМЕННЫЙ ВЕК

УДК 903.21

П.В. Волков, А.П. Деревянко, В.Е. Медведев

Институт археологии и этнографии СО РАН

пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия

E-mail: wolf@archaeology.nsc.ru

medvedev@archaeology.nsc.ru

ПАЛЕОЭКОНОМИКА НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО АМУРА В КОНЦЕ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА – СЕРЕДИНЕ ГОЛОЦЕНА*

Введение

Реконструкция палеоэкономики носителей нескольких археологических культур бассейна Амура в конце плейстоцена – раннем голоцене позволяет проследить динамику основной хозяйственной деятельности древнего населения этого региона на протяжении почти 15 тыс. лет. Сложность решения этой проблемы связана с отсутствием по объективным причинам целого ряда очень важных данных. Вследствие кислотности почв юга российского Дальнего Востока на позднепалеолитических и ранненеолитических местонахождениях фаунистические и флористические остатки – большая редкость. Поэтому основным источником для изучения хозяйственной деятельности древнего населения бассейна Амура являются функциональные исследования каменного инвентаря. Бедная фактологическая база, конечно, усложняет интерпретацию археологических материалов и делает некоторые выводы, может быть, недостаточно убедительными. Благоприятным моментом является то, что на данной территории культуры развивались длительное время без каких-либо заметных внешних влияний. Для сравнительного анализа отобран каменный инвентарь селемджинской, громатухинской, осиповской и мальшевской культур.

Селемджинская – одна из наиболее изученных позднепалеолитических культур в Северной Азии. Относящиеся к ней местонахождения исследованы в бассейне р. Селемджи и на среднем Амуре.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проекты № 04-01-00530а, 03-01-00754а, 04-01-00048а).

На стоянках выделены четыре культуросодержащих горизонта в хронологическом диапазоне 27 (26) – 12 тыс. л.н. [Деревянко, Зенин, 1995; Деревянко, Волков, Ли Хонджон, 1998]. В бассейне р. Селемджи исследованы 10 местонахождений, расположенных на цокольных террасах, процесс осадконакопления на которых, независимо от их уровня (II–IV), начался в конце каргинского потепления 27–25 тыс. л.н. Нижний культуросодержащий горизонт залегает на мало-мощном почвенном слое, сформировавшемся в finale каргинского потепления, или непосредственно на цокольном основании террас.

В материалах селемджинской культуры из всех культуросодержащих горизонтов прослеживаются единые традиции в первичном расщеплении, общность основных морфотипов каменных орудий и техники их оформления. Естественно, что на протяжении 15 тыс. лет в результате изменения климатических условий и адаптационных стратегий на разных этапах культуры совершенствовались более ранние типы орудий и появлялись новые. Функциональный анализ каменного инвентаря позволяет проследить динамику развития палеоэкономики на длительном промежутке времени.

В нижнем культуросодержащем горизонте преобладают клиновидные нуклеусы двух вариантов: на бифасах и заготовках, оформленных на гальках. С них скальвались в основном микропластины. Нуклеусы для снятия крупных пластин представлены однофронтальными ядрищами, оформленными на крупных массивных гальках с одной ударной площадкой. Имеются в небольшом количестве и двуплощадочные с широким фронтом скальвания.

В вышележащих культуросодержащих горизонтах первичное расщепление представлено теми же типами нуклеусов, только узкие клиновидные ядрища заменяются нуклеусами с широким фронтом снятия микропластин, появляются одноплощадочные с двумя фронтами скальвания, а в верхнем горизонте преобладают нуклеусы подпризматического типа с тремя фронтами снятия и призматические.

Для орудийного набора характерны бифасы различных модификаций, тесловидно-скребловидные инструменты, различного типа скребки, резцы, ретушированные пластины и микропластины, скребла на отщепах и крупных пластинах, выемчатые орудия на отщепах, отбойники, струги, сверла, проколки и др. Процентное соотношение типов орудий труда в культуросодержащих горизонтах не подсчитывалось, потому что, во-первых, суммарная площадь раскопанных горизонтов на памятниках разная; во-вторых, на многослойных археологических объектах один раскопанный культуросодержащий горизонт мог находиться на наиболее "обитаемую" часть стоянки, а другой – на "периферийную".

В верхнем культуросодержащем горизонте появляются в небольшом количестве наконечники стрел и керамика. По керамике получена дата $12\ 590 \pm 80$ л.н. (АА-20935). Верхний культуросодержащий горизонт на памятниках селемджинской культуры относится к раннему неолиту, и он же соответствует начальному этапу громатухинской культуры.

Местонахождения громатухинской культуры известны в бассейне верхнего и среднего Амура и на р. Зее. Наиболее изученной является стоянка, расположенная в устье р. Громатухи при впадении ее в Зею [Окладников, Деревянко, 1977]. Здесь выделены три культуросодержащих горизонта. Для нижнего получены следующие даты: по углю – $11\ 580 \pm 190$ л.н. (СОАН-5762), $12\ 340 \pm 70$ (МТС-05936), $12\ 380 \pm 70$ (МТС-05937), $12\ 300 \pm 70$ (МТС-05938); по керамике – $12\ 830 \pm 120$ (АЗ-20939) и $11\ 500 \pm 90$ (АЗ-20940) л.н. Обнаруженный на этом уровне обитания каменный инвентарь по первичной обработке, типам нуклеусов, основному орудийному набору соответствует материалам из верхнего культуросодержащего горизонта селемджинской культуры. Нет никаких оснований сомневаться, что происхождение громатухинской культуры, одной из ранних неолитических культур Северной, Восточной и Центральной Азии, связано с поздним этапом селемджинской. Судя по радиоуглеродным датам, она существовала на среднем и верхнем Амуре ок. 7 тыс. лет.

В материалах из всех трех культуросодержащих горизонтов хорошо прослеживается эволюция громатухинской культуры: дальнейшее развитие первичной и вторичной обработки каменных изделий, а также палеоэкономики. Для изготовления орудий

труда использовались в основном кремнистые и вулканические породы, халцедоны. Первичное расщепление представлено клиновидными, торцовыми, подпризматическими и призматическими ядрищами. Из ножевидных пластин, снимавшихся с нуклеусов, изготавливались наконечники стрел иволовидной формы, проколки, вкладышевые лезвия для составных ножей, концевые скребки. В большом количестве представлены двусторонне обработанные орудия: наконечники дротиков, копий, стрел, ножи-клиники, вкладышевые лезвия. Наконечники преимущественно лавролистной формы. Значительную долю орудий составляют комбинированные: резцы-ножи, резцы-скребки, ножи-скребки. Резцы представлены различными модификациями: срединными, угловыми и боковыми. Среди массивных орудий большинство составляют двусторонне обработанные тесловидно-скребловидные инструменты и топоры, изготовленные из плоских удлиненно-ovalьных заготовок. Многие типы орудий труда по форме и технике обработки близки к таковым селемджинской культуры. Громатухинцы, как и селемджинцы, вели кочевой и полукочевой образ жизни охотников и рыболовов. В культуросодержащих горизонтах вскрыты очаги и хозяйствственные ямы, вокруг которых и концентрировался основной каменный инвентарь, т.е. громатухинцы жили в переносных жилищах типа чума.

Осиповская культура локализуется в основном на нижнем Амуре. Ранее считалось, что с ней связано происхождение громатухинской культуры [Там же]. После открытия селемджинской культуры стало очевидно, что она является той основой, на которой сформировались и осиповская, и громатухинская, принадлежавшие близким в этническом отношении племенам, населявшим бассейн Амура 13–8 тыс. л.н.

На нижнем Амуре известно не менее 20 памятников осиповской культуры. Многие из них многослойные. Наиболее исследованными являются местонахождения в районе с. Сакачи-Алян, г. Хабаровска, с. Хумми и др. Осиповцы, как и громатухинцы, вели кочевой и полукочевой образ жизни, сооружая жилища типа чума. Для многослойного поселения Хумми получены даты: по углю – $13\ 260 \pm 100$ и $10\ 345 \pm 110$ л.н.; по керамике – $11\ 915 \pm 80$ л.н.

Орудия труда на осиповских стоянках изготавливались преимущественно из темно-серых и темных алевролитов, халцедона, роговика, песчаника. Для первичной обработки наиболее характерны клиновидные, торцовые, подпризматические нуклеусы в основном для снятия микропластин и небольших ножевидных пластин, из которых изготавливали скребки, резцы, вкладышевые лезвия, наконечники стрел. Большой процент среди орудий составляли бифасально обработанные изделия: наконечники стрел, дротиков, копий, рубящие орудия, ножи-клиники. Достаточно мно-

гочисленны скребки различных модификаций, ножи, резцы, проколки, провертки, скребла, скобели, комбинированные орудия. Типологически многие каменные орудия громатухинской и осиповской культур имеют большое, порой близнечное сходство.

Малышевская культура, которая сменила на нижнем Амуре осиповскую, относится к развитому неолиту. Для нее получено несколько дат в хронологическом диапазоне от $6\ 900 \pm 260$ (МГУ-410) до $4\ 740 \pm 70$ (SNUOO-337) л.н. Калибровкой определен период 7 938 – 5 080 л.н. Формирование малышевской культуры началось в первой половине VII тыс. до н.э., и очень вероятно, что своим происхождением она связана с осиповской.

Первичное расщепление в малышевской культуре характеризуется пластинчатой техникой. Из ножевидных пластин изготавливались наконечники стрел, в т.ч. черешковые, скребки, проколки, резцы, вкладышевые лезвия и некоторые другие инструменты. Большинство орудий выполнено на отщепах и специальных заготовках: скребки различных модификаций, ножи, проколки, скребла, рубящие орудия, в т.ч. полностью или частично шлифованные. Первичная и вторичная обработка каменных орудий, а также их типы мало чем отличаются от таковых в осиповской культуре. Малышевское население жило оседло, в поселках, состоящих из полуподземных жилищ, иногда значительных размеров. Этим оно отличается от осиповского.

Все вышеизложенное свидетельствует о преемственности рассматриваемых культур. Таким образом, изучение совокупности данных об их инструментарии и функциональной принадлежности каменных орудий позволяет проследить, насколько это возможно, динамику палеоэкономики у племен, населявших бассейн одной из крупнейших рек Евразии на протяжении 15 тыс. лет.

Метод

Функциональные исследования артефактов базировались на методиках экспериментально-трасологического анализа С.А. Семенова, Г.Ф. Коробковой [Семенов, 1957; Семенов, Коробкова, 1983; Kogobkowa, 1999; и др.] и анализа микрозаполировок износа каменных орудий Л. Кили [Keeley, 1980]. Использовалась также синтезированная трасологическая методика, адаптированная для работы с материалами археологических коллекций палеолитических и неолитических памятников Северной Азии [Волков, 1999].

При общем трасологическом обследовании материалов применялся бинокуляр МБС-10 $\times 16$ – 56 с односторонним боковым освещением наблюдаемого объекта и с дискретным рабочим режимом увеличения. При детальном функциональном анализе в ка-

честве основного исследовательского инструмента использовался специально адаптированный для микротрасологии микроскоп “Olympus BHT-M” $\times 100$ – 500 с бестеневым освещением через объектив, дополнительно – специализированные микроскопы МСПЭ-1 $\times 19$ – 95 с плавным режимом смены увеличения и мощным двусторонним бестеневым освещением.

Для сравнительного анализа следов изношенности на древних орудиях из камня привлекались материалы Сибирской эталонной коллекции трасологических стандартов.

При описании функции орудий используется терминология, выработанная при экспериментальных технологических и трасологических исследованиях (см.: [Там же]).

Сохранность артефактов на стоянках изучаемых культур достаточно хорошая; удалось идентифицировать абсолютное большинство использовавшихся инструментов. В археологической коллекции малышевской культуры выявлено 129 таких орудий, осиповской – 473, громатухинской – 665, селемджинской – 425, из которых 186 экз. относятся к третьему этапу существования культуры (18–13 тыс. л.н.) [Деревянко, Волков, Ли Хонджон, 1998], 191 – к четвертому (13–10 тыс. л.н.) и только 48 экз. – к первым двум (вследствие своей относительной малочисленности они в статистическом анализе не учитывались). Общее количество каменных артефактов, исследованных экспериментально-трасологическим методом, определенных как утилизованные орудия и использованных для статистического анализа в настоящей работе, составляет 1 644 экз.

На основе опыта функционального анализа орудий с неолитических и верхнепалеолитических памятников Дальнего Востока России [Derevianko, Volkov, 1997] предлагается подразделять инструментарий памятника на три категории в соответствии с главными отраслями хозяйства этого времени: А – охота, Б – рыболовство, В – обработка дерева, кости, камня. В категорию В включаются орудия, не связанные напрямую ни с охотой, ни с рыболовством. Как правило, они относятся к домашним промыслам, не являющимся деятельностью по обеспечению питания и первичной переработке продуктов охоты и рыболовства (например, по первичной обработке шкур при их подготовке к раскрою или шитью). Это инструменты по расщеплению камня, деревообрабатывающие, косторезные и орудия для работы с рогом.

Каждая категория, в свою очередь, подразделяется на группы, связанные с определенным видом деятельности. Так, в категории А (орудия охоты и обработки ее продуктов) выделяются орудия охоты (АI), инструменты для обработки шкур (АII), мясные ножи (АIII); Б (орудия рыболовства и обработки его продуктов) – орудия рыболовства (БI) и инструменты

для обработки рыбы (БII); В (орудия по обработке дерева, кости, камня) – орудия по обработке органических (ВI) и неорганических (ВII) материалов. Каждая группа включает набор инструментов определенного функционального типа.

Экспериментально-трасологический анализ археологических коллекций с памятников позднего палеолита и неолита в регионе позволил установить назначение практически всех орудий, выделявшихся ранее только по морфологическим признакам. Были устранены неясности, возникавшие ранее при функциональной оценке инструментов, определение которых носило прежде условный характер, выявлены типы орудий, неизвестные ранее, что стимулировало поиск отличительных морфологических признаков изучаемых артефактов. Иначе говоря, функциональная дифференциация материала обусловила оптимальную морфологическую, благодаря чему, в свою очередь, удалось систематизировать данные для исследования эволюционных процессов в палеоэкономике региона.

Состав исследованного инструментария

Итоги изучения функциональной дифференциации орудий представлены графически. Построение разнотипных графиков дает возможность отобразить особенности инструментария каждой из исследованных культур.

Распределение орудий третьего этапа селемджинской культуры по категориям неравномерно (рис. 1): преобладают орудия, связанные с охотой, и инструменты для обработки дерева, кости, камня, а для рыболовства и обработки его продуктов использовалось менее 10 % инструментария. Среди орудий, связанных с охотой, доминируют ножи, применявшиеся преимущественно для первичной переработки мяса

и в процессе приготовления пищи (рис. 2, а). Отмечены и микроножи, использовавшиеся при потреблении мяса. Значительно меньшую долю составляют скребковые инструменты, большинство которых предназначалось для работы со шкурами крупных животных. Орудий охоты не выявлено. В инструментарии, связанном с рыболовством, преобладают орудия для переработки рыбы (рис. 2, б). Многочисленны ножи, имеющие форму, характерную для инструментов, использовавшихся при массовой переработке улова [Волков, 1986а, 1987а]. Практически все артефакты группы орудий рыболовства – это грузила для сетей. Их доля в составе категории Б крайне мала. В инструментарии по обработке камня, кости и дерева значительное место занимают разнообразные орудия (отбойники, ретушеры, наковаленки), применявшиеся при расщеплении камня (рис. 2, в). Они характерны для позднепалеолитических местонахождений. Среди орудий, предназначенных для обработки органических материалов, преобладают инструменты для работы с деревом (преимущественно ножи и скобели).

Доли орудий различных категорий в инструментарии четвертого этапа селемджинской культуры относительно более соразмерны (рис. 3). По-прежнему доминируют орудия, связанные с охотой. Меньше инструментов для обработки дерева, кости, камня. Доля орудий для рыболовства и переработки рыбы увеличилась по сравнению с третьим этапом в 2 раза. В инструментарии категории А (рис. 4, а), как и в коллекциях третьего этапа культуры, отсутствуют орудия охоты (АI). Значительно увеличилась доля инструментов для работы со шкурами. Широко представлены макроскребки для обработки шкур крупных животных (тесловидно-скребловидные орудия). Разнообразны мясные ножи. Отмечается их специализация. По особенностям утилизации, нашедшим отражение в специфической форме изделий, выде-

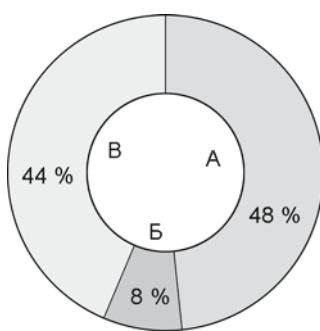


Рис. 1. Распределение орудий с памятников третьего этапа селемджинской позднепалеолитической культуры по категориям.
А – орудия охоты, Б – рыболовства, В – инструменты для обработки дерева, кости, камня.

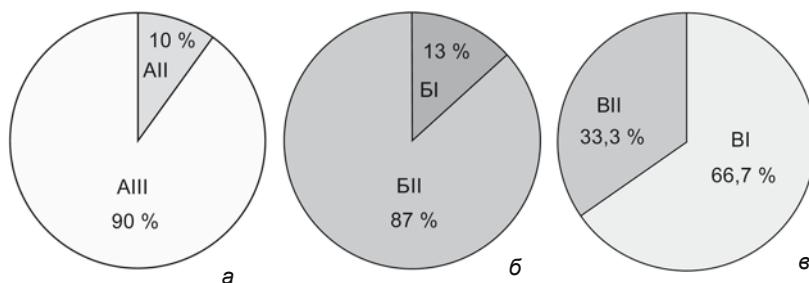


Рис. 2. Соотношение групп орудий в инструментарии категорий А (а), Б (б) и В (в) третьего этапа селемджинской позднепалеолитической культуры. АII – орудия для работы со шкурами, АIII – мясные ножи; БI – орудия рыболовства, БII – инструменты для переработки рыбы; ВI и ВII – орудия для обработки других соответственно органических и неорганических материалов.

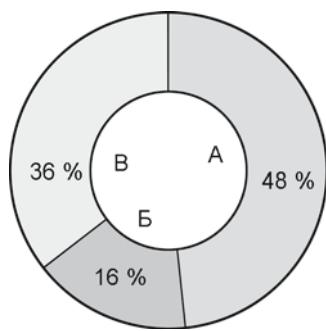


Рис. 3. Распределение орудий с памятников четвертого этапа селемджинской позднепалеолитической культуры по категориям.

Усл. об. см. рис. 1.

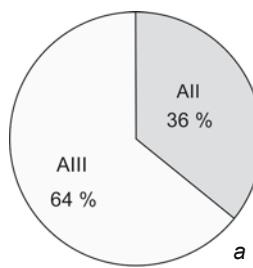
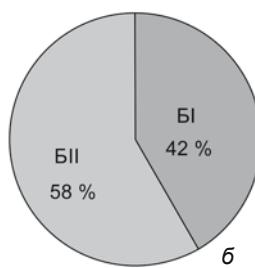


Рис. 4. Соотношение групп орудий в инструментарии категорий А (а), Б (б).



Усл. об. см. рис. 2.

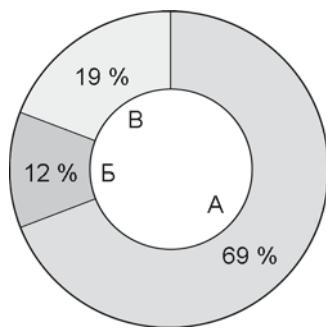
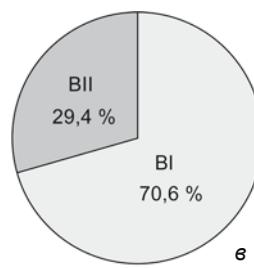


Рис. 5. Распределение орудий с памятников громатухинской неолитической культуры по категориям.

Усл. об. см. рис. 1.

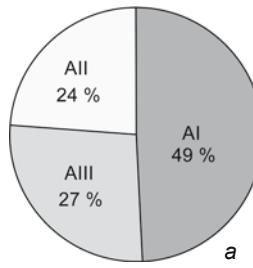
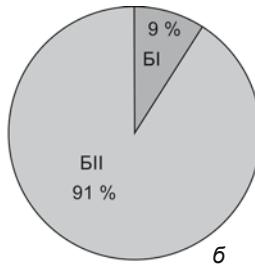
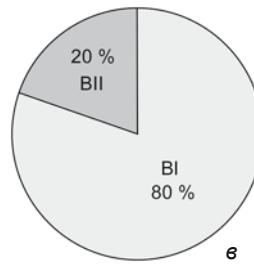


Рис. 6. Соотношение групп орудий в инструментарии категорий А (а), Б (б).



AI – орудия охоты. Остальные усл. об. см. рис. 2.



Усл. об. см. рис. 2.

лены ножи для разделки и переработки мяса, а также использовавшиеся в процессе его потребления. Инструментарий, связанный с рыболовством, на финальном этапе существования селемджинской культуры характеризуется заметным увеличением доли грузил для сетей (рис. 4, б). Ножи для переработки улова приобретают специализированную форму. Все это косвенно свидетельствует о возрастании роли рыболовства в палеоэкономике населения региона. В инструментарии категории В (рис. 4, в) относительно увеличивается доля орудий для обработки органических материалов, преимущественно древесины. Возрастает разнообразие инструментов. Увеличивается количество макротесел, скобелей и строгальных ножей. Функциональный набор орудий для работы с камнем остается прежним, хотя следует отметить относительное сокращение числа жестких отбойников, объяснимое, вероятно, все более широким распространение отжимной техники.

Большинство орудий громатухинской культуры [Волков, 1986б] связаны с охотой (рис. 5). Орудия по переработке ее продуктов составляют более 2/3 всего

инструментария. Доли изделий категорий Б и В относительно равновелики. Вне сомнений, роль охоты в палеоэкономике носителей громатухинской культуры была определяющей. Среди орудий категории А преобладают ножи, использовавшиеся преимущественно для первичной переработки мяса и в процессе приготовления пищи (рис. 6, а). Микроножи, применявшимися при потреблении мяса, по сравнению с селемджинскими коллекциями, более редки. Значительную долю составляют скребковые орудия [Волков, 1987в], среди которых доминируют инструменты для работы со шкурами крупных животных. Выявлены орудия охоты: наконечники стрел и метательных дротиков (первых больше). В инструментарии, связанном с рыболовством (рис. 6, б), преобладают специализированные ножи для массовой переработки рыбы, имеющие характерную, асимметричную в плане лавролистную форму [Волков, 1987а]. Доля грузил для сетей невелика. Среди орудий категории В (рис. 6, в) доминируют разнообразные инструменты для работы с деревом (преимущественно макротесла, известные как тесло-видно-скребловидные орудия) [Волков, 1987б]. Значи-

тельную долю составляют и орудия, применяющиеся при расщеплении камня. Набор изделий этой группы по своему разнообразию и составу характерен для неолитического инструментария.

В материалах осиповской культуры [Волков, 1988] преобладают орудия охоты и переработки ее продуктов (рис. 7), хотя, по сравнению с громатухинской коллекцией, их заметно меньше. Доли инструментов двух других категорий почти одинаковы. Орудий, связанных с рыболовством, здесь больше, чем в инструментарии громатухинской культуры. Орудия охоты (рис. 8, а) представлены в основном наконечниками стрел, более массивными по сравнению с громатухинскими и, вполне вероятно, предназначеными для охоты на более крупного зверя. Их доля в инструментарии категории А сравнительно велика. Большая часть орудий, связанных с охотой, скребковые. Среди них преобладают макроскребки (тесловидно-скребловидные изделия) для работы со шкурами крупных животных. В инструментарии, связанном с рыболовством, грузила для сетей составляют более трети (рис. 8, б). Практически все рыбные ножи специализированы для переработки массового улова. Доля ору-

дий по обработке органических материалов (рис. 8, в) радикально возрастает по сравнению с коллекциями позднепалеолитических памятников и составляет в инструментарии категории В почти 9/10. Около 3/4 деревообрабатывающих инструментов – тесла и долота. Таких орудий, как строгальные ножи, резчики и резцы, относительно немного. Впервые в хронологической последовательности исследуемых археологических коллекций отмечены инструменты для шлифовки камня.

Диспропорция в составе инструментария малышевской культуры (по сравнению с осиповской) приобретает иной характер. Здесь доминируют орудия двух равновеликих категорий А и В, а доля инструментов, связанных с рыболовством, резко сократилась (рис. 9). Орудия охоты представлены в коллекции исключительно наконечниками стрел. Их доля сравнительно велика (рис. 10, а). Среди инструментов для обработки шкур характерных макроскребков (тесловидно-скребловидных орудий) не отмечено. Прочие скребки относительно редки. Ножи для работы с мясом уже не имеют характерных специализированных форм; они выполнены преимущественно на

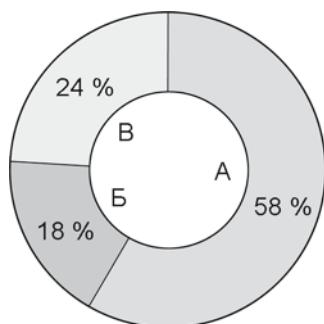


Рис. 7. Распределение орудий с памятников осиповской неолитической культуры по категориям.
Усл. об. см. рис. 1.

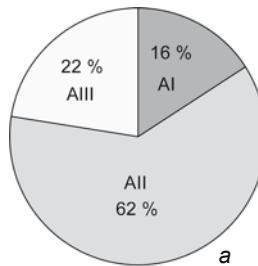


Рис. 8. Соотношение групп орудий в инструментарии категорий А (а), Б (б), В (в) осиповской неолитической культуры.

Усл. об. см. рис. 2, 6.

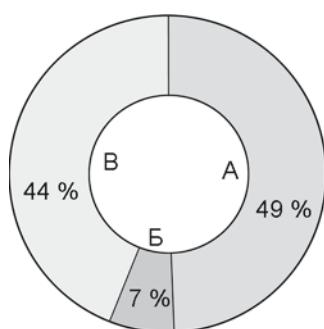
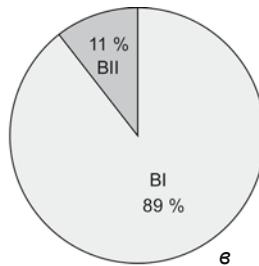
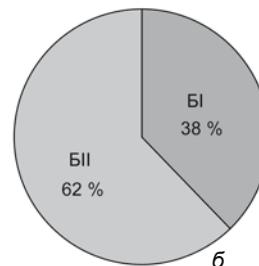


Рис. 9. Распределение орудий с памятников малышевской неолитической культуры по категориям.
Усл. об. см. рис. 1.

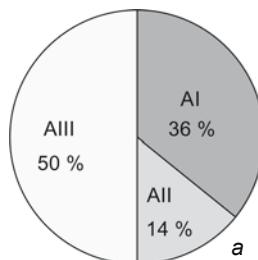
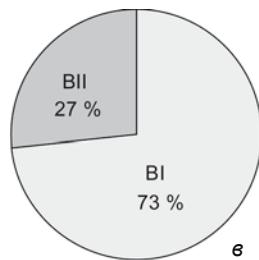
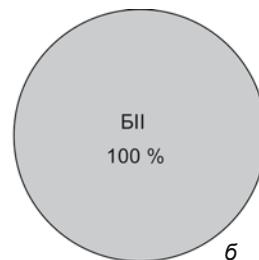


Рис. 10. Соотношение групп орудий в инструментарии категорий А (а), Б (б), В (в) малышевской неолитической культуры.

Усл. об. см. рис. 2, 6.



отщепах с незначительной оформляющей ретушью. Инструментарий, связанный с рыболовством, представлен исключительно орудиями для переработки рыбы (рис. 10, б). Рыбные ножи имеют специализированную форму, но их доля в коллекции крайне невелика. Вероятно, потребность в изделиях такого рода не была постоянной, они использовались только во время лова нерестовой рыбы. Среди орудий для работы с камнем почти половина изделий – инструменты, используемые при шлифовке. Для обработки дерева применялись шлифованные и пришлифованные тесла из относительно мелкозернистых пород камня. Размер этих изделий невелик, и их можно назвать даже миниатюрными по сравнению с макротеслами громатухинской и осиповской культур. Строгальных ножей, топоров, резчиков или резцов не выявлено. Деревообрабатывающие инструменты преобладают над орудиями для обработки камня (рис. 10, в).

Изменение состава инструментария

Для анализа тенденций в эволюции палеоэкономики региона были построены дополнительные графики, отображающие наиболее выразительные изменения состава изучаемого инструментария в период от позднего палеолита до времени существования малышевской неолитической культуры.

Доля орудий, связанных с охотой (рис. 11), стабильна в селемджинской позднепалеолитической культуре, но по мере развития палеохозяйства от палеолита к неолиту охота занимает, вероятно, все более значимые позиции. Динамику такого рода, отчетливо прослеживаемую в громатухинской и осиповской культурах, можно было бы назвать характерным явлением, но малышевские материалы не продолжают эту тенденцию. Доля орудий для охоты и переработки ее продуктов здесь значительно сокращается.

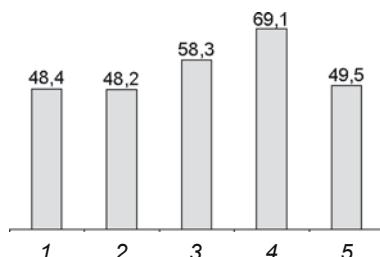


Рис. 11. Доля орудий охоты и переработки ее продуктов (категория А) в инструментарии каждой из рассматриваемых культур (%).
1, 2 – соответственно третий и четвертый этапы селемджинской культуры; 3 – осиповская; 4 – громатухинская; 5 – малышевская.

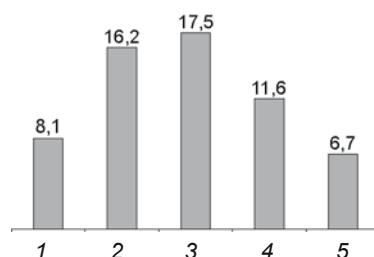


Рис. 12. Доля орудий рыболовства и переработки его продуктов (категория Б) в инструментарии каждой из рассматриваемых культур (%).
Усл. об. см. рис. 11.

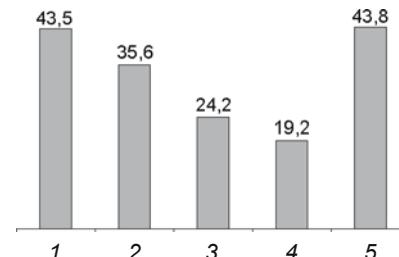


Рис. 13. Доля орудий для обработки дерева, кости, камня (категория В) в инструментарии каждой из рассматриваемых культур (%).
Усл. об. см. рис. 11.

Категория орудий, связанных с рыболовством (рис. 12), демонстрирует иную тенденцию. Ее доля на хронологическом отрезке от третьего этапа селемджинской культуры до неолитической осиповской включительно увеличивается, а затем в инструментарии громатухинской и малышевской культур последовательно сокращается. Вполне вероятно, что это, вкупе с данными по категории А, отображает тенденцию к возрастанию роли охоты и уменьшению значения рыболовства в палеохозяйстве в целом.

Доля орудий по переработке камня, дерева и кости последовательно уменьшается в селемджинской, осиповской и громатухинской культурах, а в малышевской резко увеличивается (рис. 13). Как мы уже знаем, в инструментарии данной категории преобладают орудия для работы с деревом. Чтобы более детально рассмотреть отмеченные тенденции целесообразно провести сравнительный анализ на уровне групп орудий.

В коллекциях селемджинских памятников орудий охоты нет. На хронологическом отрезке от осиповской до громатухинской культуры отмечается стабильный и быстрый рост их удельного веса (с 9,3 до 34 %). В малышевской культуре он заметно падает (рис. 14, а). Доля орудий для обработки шкур в инструментарии последовательно увеличивается в период с третьего этапа селемджинской позднепалеолитической культуры до времени существования осиповской (рис. 14, б). В дальнейшем их удельный вес устойчиво снижается. Обратная тенденция прослеживается по группе мясных ножей (рис. 14, в).

Рассмотрим теперь динамику данных групп в инструментарии категории А (рис. 15). На графике изменения доли орудий охоты фиксируется стабильный рост от осиповской до громатухинской культуры, а затем небольшое снижение. Удельный вес орудий для обработки шкур быстро возрастает от третьего этапа селемджинской культуры до времени существования осиповской. В дальнейшем наблюдается столь же

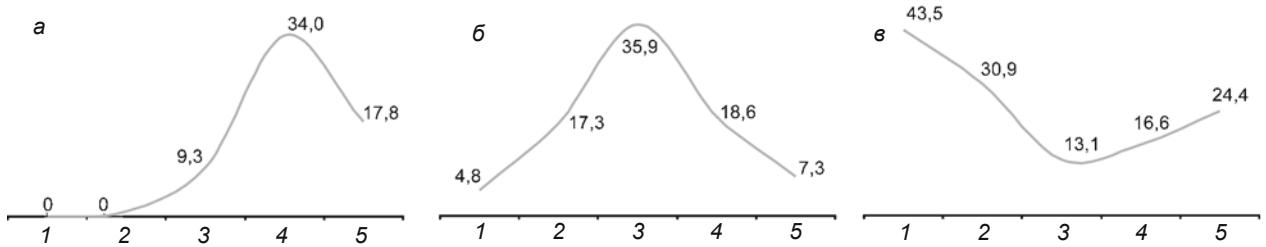


Рис. 14. Динамика удельного веса групп орудий, связанных с охотой, в рассматриваемых культурах (%).
а – орудия охоты (AI); б – инструменты для работы со шкурами (AII); в – мясные ножи (AIII). 1–5 – см. рис. 11.

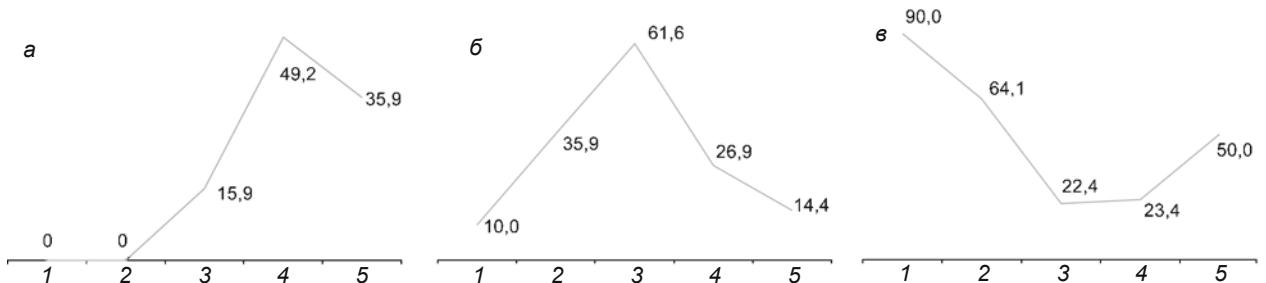


Рис. 15. Динамика удельного веса групп орудий в инструментарии категории А рассматриваемых культур (%).
а – орудия охоты (AI); б – инструменты для работы со шкурами (AII); в – мясные ножи (AIII). 1–5 см. рис. 11.

стремительное его падение. Доля мясных ножей, напротив, стабильно сокращается от третьего этапа селемджинской культуры до времени существования осиповской, а в более поздний период увеличивается.

Наибольшую долю орудия рыболовства составляли в инструментарии четвертого этапа селемджинской культуры (рис. 16, а). Общая же тенденция от позднего палеолита к неолиту в регионе – снижение их удельного веса. Вероятно, это было связано не с постепенным забвением рыболовства, а со сменой способов добычи рыбы. Орудия по переработке улова на протяжении периода от третьего этапа селемджинской культуры до времени существования громатухинской занимают все более значимое место, но в дальнейшем их становится меньше (рис. 16, б). Можно предположить общее снижение роли рыболовства в палеохозяйстве региона. Но динамика данных групп в инструментарии категории Б (рис. 17) демонстрирует иные тенденции. Если изменения доли орудий рыболовства здесь аналогичны рассмотренным выше, то динамика удельного веса

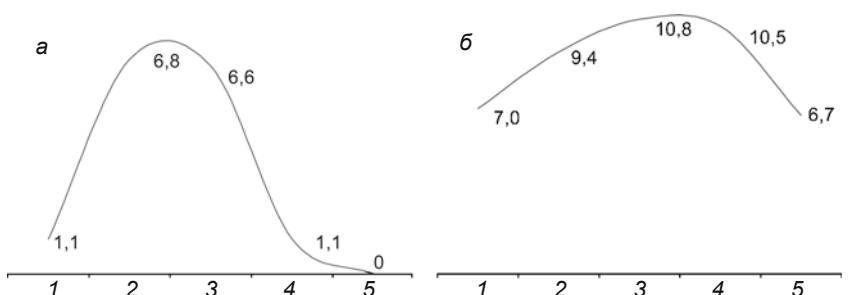


Рис. 16. Динамика удельного веса орудий, связанных с рыболовством, в рассматриваемых культурах (%).
а – орудия рыболовства (BI); б – рыбные ножи (BII). 1–5 – см. рис. 11.

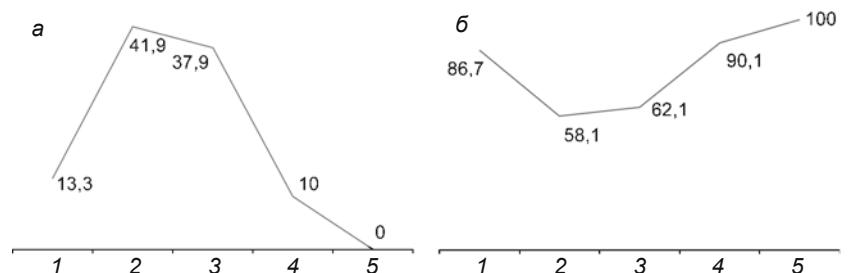


Рис. 17. Динамика удельного веса групп орудий в инструментарии категории Б рассматриваемых культур (%).
а – орудия рыболовства (BI); б – рыбные ножи (BII). 1–5 – см. рис. 11.

инструментов по переработке улова обнаруживает отчетливое возрастание их значимости на всем хронологическом отрезке от четвертого этапа селемджинской культуры до времени существования малышевской.

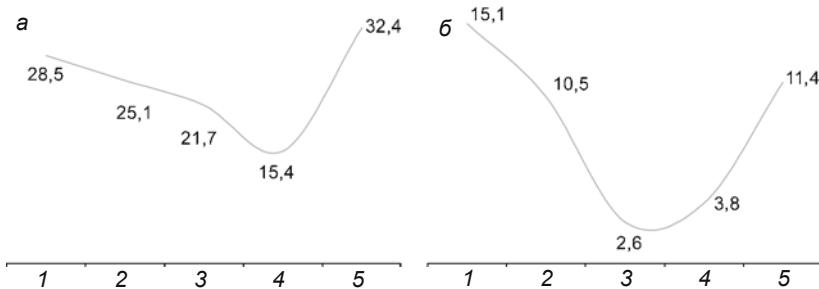


Рис. 18. Динамика удельного веса орудий для работы с органическими (а) и неорганическими (б) материалами (группы ВI и ВII) в рассматриваемых культурах (%).

1–5 – см. рис. 11.

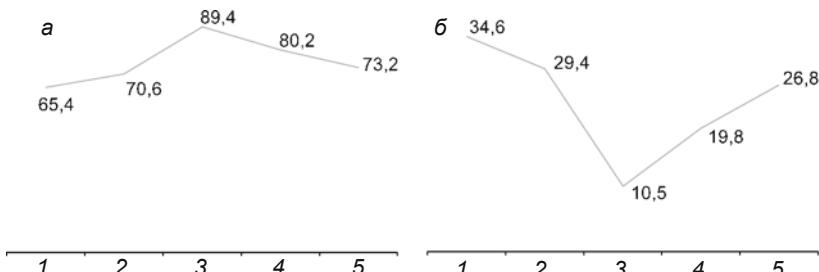


Рис. 19. Динамика удельного веса орудий для работы с органическими (а) и неорганическими (б) материалами в инструментарии категории В в рассматриваемых культурах.

1–5 – см. рис. 11.

Доля орудий по переработке рыбы – очень важный показатель. Он наиболее ярко отражает значение отрасли в палеоэкономике. Снижение удельного веса орудий рыболовства, очевидно, объясняется тем, что на смену сетевому рыболовству приходит сезонная добыча в период нереста.

Доля инструментов для работы с органическими материалами стабильно уменьшается в хронологическом интервале от третьего этапа селемджинской культуры до времени существования громатухинской, но в дальнейшем стремительно увеличивается,

превышая все более ранние показатели для рассматриваемого региона (рис. 18, а).

Удельный вес орудий по обработке камня последовательно снижается вплоть до времени существования осиповской культуры, а в последующий период стабильно растет (рис. 18, б). Графики на рис. 19 показывают, что общие изменения состава орудий категории Б определяются “весом” камнеобрабатывающих инструментов, т.к. доля орудий по обработке органических материалов (дерево, кость, рог) в инструментарии этой категории сравнительно постоянная. Важно отметить и тот факт, что доля камнеобрабатывающих инструментов в неолите не достигает высоких показателей позднепалеолитических коллекций.

При рассмотрении тенденций в эволюции палеоэкономики региона представляется продуктивным проследить также и изменения в хозяйственной деятельности населения, произошедшие

при переходе от позднего палеолита к неолиту. Ниже представлены графики, отображающие изменения инструментария на уровне категорий, где сопоставлены данные по селемджинской позднепалеолитической культуре и совокупные по громатухинской, осиповской и мышевской неолитическим. Выделяемые тенденции отражают наиболее существенные перемены в палеоэкономике региона на рубеже позднего плейстоцена–гоюцена.

Возрастает доля орудий, связанных с охотой (рис. 20). Охота, игравшая, вероятно, доминирующую

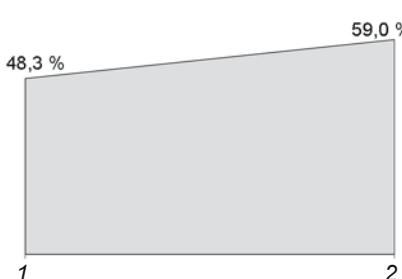


Рис. 20. Доля орудий, связанных с охотой (категория А), в позднепалеолитическом (1) и неолитическом (2) инструментарии региона.

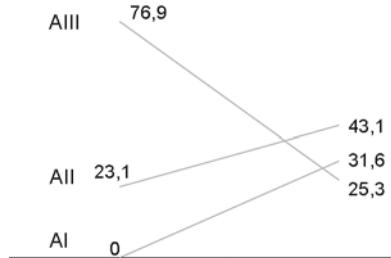


Рис. 21. Изменения в составе инструментария категории А (%).
1 – позднепалеолитические материалы,
2 – неолитические.



Рис. 22. Доля орудий, связанных с рыболовством (категория Б), в позднепалеолитическом (1) и неолитическом (2) инструментарии региона.

роль в добыче калорийной пищи в позднем палеолите, на следующем этапе приобретает, как мы видим, еще большее значение. Для формирования представлений о характере отмечаемой эволюции рассмотрим изменения в составе инструментария данной категории (рис. 21). Орудия охоты (АI), отсутствующие в позднепалеолитических коллекциях, в неолитических составляют 31,6 %. Доля инструментов для обработки шкур (АII) увеличивается, а мясных ножей (АIII) – резко сокращается. Как видим, общая тенденция к росту значимости инструментария категории А определяется удельным весом орудий охоты и инструментов для обработки добывших шкур.

Доля орудий, связанных с рыболовством, уменьшается (рис. 22), хотя и незначительно. Характерно, что это снижение, в первую очередь, обусловлено резким сокращением доли именно орудий рыболовства в инструментарии данной категории (рис. 23). В то время как удельный вес инструментов для обработки рыбы заметно возрастает. Возможно, рыболовство из занятия регулярного, круглогодичного, как это уже отмечалось ранее, превращается в сезонный промысел, преимущественно в период нерестового хода рыбы. Вполне допустимо определить наблюдаемую тенденцию как характерную особенность неолитической палеоэкономики региона.

Доля инструментов для обработки дерева, кости и камня значительно сокращается (рис. 24) за счет заметного снижения удельного веса орудий по обработке камня в инструментарии данной категории (рис. 25). Эта тенденция также отмечалась нами ранее и обусловлена, вероятно, сменой позднепалеолитической технологии расщепления камня на неолитическую, где шире практикуется использование камнеобрабатывающих инструментов из органических материалов.

Обширность региона и несомненно существовавшие климатические различия территорий обитания носителей изучаемых культур заставляют провести

еще одну градацию данных при сравнительном анализе материала. В западной части региона распространены памятники селемджинской позднепалеолитической и громатухинской ранненеолитической культур, в восточной – неолитических осиповской и малышевской. Представляется небезинтересным соопоставить данные по этим двум группам. Удельный вес орудий, связанных с охотой, в селемджинской и громатухинской культурах выше, чем в осиповской и малышевской (рис. 26, а), что дает нам основание говорить о более значительной роли охоты в западной части региона. Доли орудий для рыболовства и переработки его продуктов в рассматриваемых группах сравнительно близки (рис. 26, б). Удельный вес инструментов для обработки дерева, кости, рога и камня в восточной группе выше, чем в западной (рис. 26, в), что, в первую очередь, обусловлено большой долей деревообрабатывающих орудий в инструментарии малышевской культуры.

В связи с тем, что результаты археологических исследований указывают на прямую генетическую связь селемджинской позднепалеолитической и громатухинской неолитической культур, представляется небезинтересным проследить последовательные изменения в составе инструментария изучаемых культур по двум “линиям”: селемджинская – громатухинская и осиповская – малышевская культуры. Наблюдаемые тенденции, как нам представляется, должны отражать наиболее общие, характерные показатели эволюции палеоэкономики, в меньшей степени зависящие от микроклиматической специфики изучаемых территорий. На хронологическом этапе “Селемджа–Громатуха” можно констатировать отчетливый рост доли орудий, связанных с охотой, а на этапе “Осиповка–Малышево”, напротив, сокращение (рис. 27, а). Конечно же, это не является свидетельством снижения роли охоты, и подтверждением служит динамика удельного веса орудий для рыболовства и переработки рыбы (рис. 27, б). В селемд-

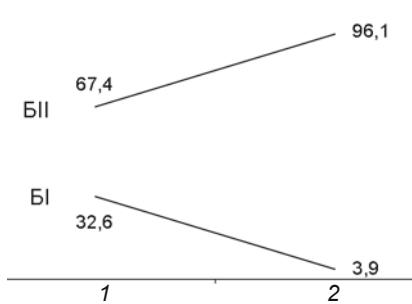


Рис. 23. Изменения в составе инструментария категории Б (%).

1 – позднепалеолитические материалы,
2 – неолитические.

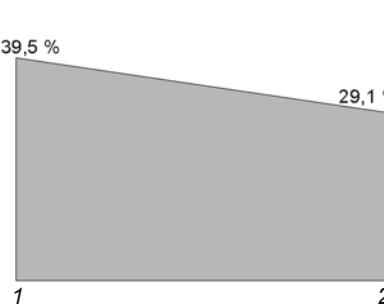


Рис. 24. Доля орудий для обработки дерева, кости, камня (категория B) в позднепалеолитическом (1) и неолитическом (2) инструментарии региона.

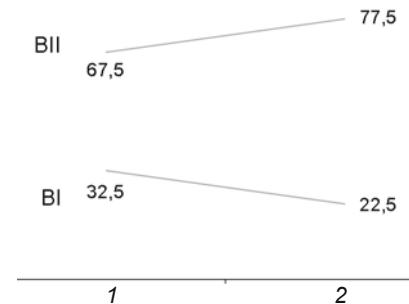


Рис. 25. Изменения в составе инструментария категории B (%).

1 – позднепалеолитические материалы,
2 – неолитические.

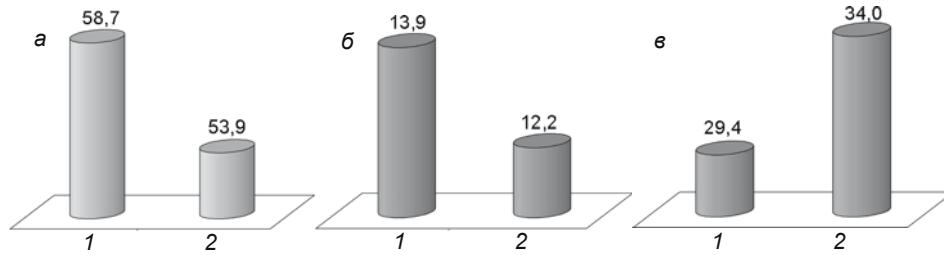


Рис. 26. Доля орудий категорий А (а), Б (б), В (в) в инструментарии западных (1) и восточных (2) памятников региона (%).



Рис. 27. Изменения доли орудий категорий А (а), Б (б), В (в) в составе инструментария западных (семеджинская и громатухинская культуры) и восточных (осиповская и малышевская культуры) памятников региона (%).

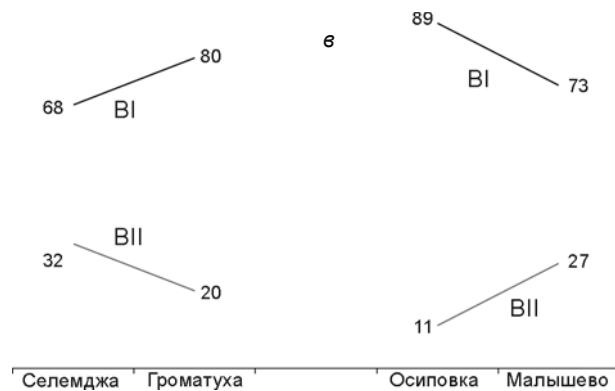
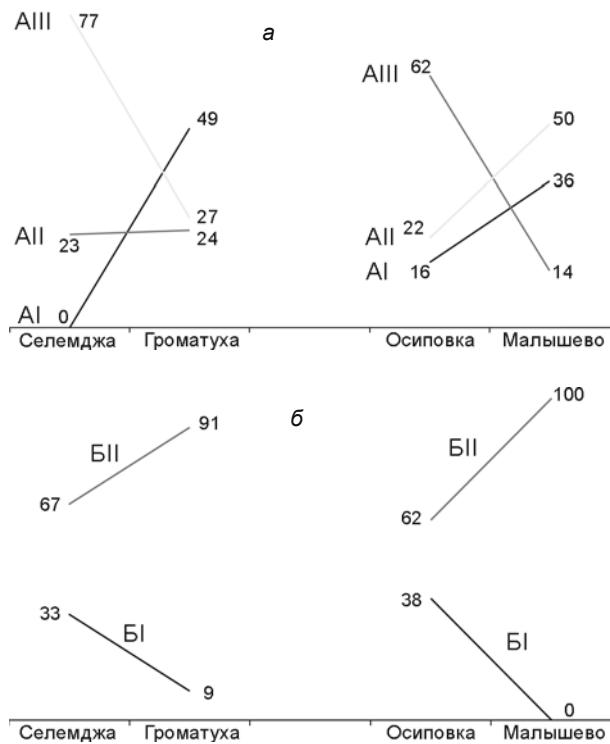


Рис. 28. Динамика удельного веса групп орудий в инструментарии категорий А (а), Б (б), В (в) западных (семеджинская и громатухинская культуры) и восточных (осиповская и малышевская культуры) памятников региона (%).

жинской и громатухинской культурах он остается почти стабильным, а в осиповской и малышевской заметно снижается. Вероятно, это связано с общим возрастанием доли инструментов для обработки дерева, кости, рога, камня (не связанных напрямую с охотой или рыболовством). Удельный вес орудий данной категории снижается на хронологическом этапе “Селемджа–Громатуха” и возрастает почти в 2 раза на этапе “Осиповка–Малышево” (рис. 27, в). Этот рост происходит в основном за счет резкого увеличения доли орудий для работы с древесиной (прежде всего разнообразных тесел). Деревообраборт-

ка становится все более характерной деятельностью обитателей восточной части региона.

Рассмотрим теперь данные об изменениях групп орудий в инструментарии основных категорий (рис. 28). Орудия охоты (AI) отсутствуют в семеджинской культуре, а в громатухинской их доля в инструментарии категорий А весьма значительна (рис. 28, а). Удельный вес инструментов для обработки шкур животных (AI) на хронологическом этапе от позднего палеолита до неолита в западной части региона практически стабилен, а мясных ножей (AIII) – резко снижается. Очевидно, что общую тенденцию к воз-

растанию доли инструментария категории А определяет именно группа орудий охоты. В восточной части региона наблюдается иная картина. Доля орудий охоты здесь также возрастает, но резко уменьшается удельный вес скребковых инструментов. Наиболее яркое отличие – значительный рост доли мясных ножей. Эта тенденция противоположна той, что наблюдается в западной группе. Общее сокращение доли орудий категории А в целом, следовательно, определяется резким уменьшением доли скребковых инструментов (АII).

В эволюции инструментария категории Б на западе и востоке региона наблюдаются общие тенденции (рис. 28, б): доли группы орудий рыболовства сокращаются, инструментов для переработки улова увеличиваются. Более ярко это выражено в инструментарии восточных памятников, что можно считать проявлением роста эффективности рыболовства в целом на востоке региона. Противоположная направленность изменений в восточной и западной группах просматривается в инструментарии категории В (рис. 28, в). Если на хронологическом этапе “Селемджа–Громатуха” доля орудий для работы с камнем сокращается, то на этапе “Осиповка–Малышево”, напротив, возрастает. Динамика удельного веса орудий по обработке органических материалов обнаруживает обратную тенденцию: рост – на востоке региона и падение – на западе.

Обсуждение результатов анализа

Следует помнить, конечно, что процентное соотношение орудий разных категорий не есть численный эквивалент соотношения отраслей в палеоэкономике. Изменения в инструментарии косвенно отражают эволюцию хозяйства населения изучаемой территории. Вместе с тем они неразрывно и напрямую связаны с реальной динамикой, темпами развития, ростом или угасанием той или иной отрасли. Невозможность получения сведений о палеоэкономике из каких-либо иных источников делает эту информацию особо значимой для определения характера и особенностей хозяйства населения региона в период позднего палеолита – неолита. Анализ данных о составе инструментария позволяет проследить тенденции в его изменении, что является важным ключом к пониманию истории, условий обитания, бытовой и хозяйственной деятельности людей в прошлом.

При подведении итогов исследования не следует выделять какие-либо отдельные численные показатели изменения инструментария. Для характеристики палеоэкономики и ее эволюции важна вся совокупность данных. Корреляционные сопоставления должны учитывать всю многоаспектность, многогранность используемых параметров. Только в таком

случае характеристика палеоэкономики может быть достаточно корректной.

Данные об эффективности тех или иных орудий или размерах их доли в инструментарии могут отображать специфику хозяйственной деятельности или подсказать нам причины произошедших изменений. Так, например, постепенное сокращение количества режущих инструментов в изучаемых археологических культурах может быть объяснено заметным улучшением их качества. Хозяйство могло уже и не требовать большого числа орудий этого типа. Качественный инструмент мог использоваться более продолжительное время. Но вот эффективность скребковых орудий, как показали экспериментальные исследования, практически не изменялась. Оптимальные для обработки шкур орудия были разработаны и в большом количестве изготавливались в данном регионе еще в начале верхнего палеолита. Количественный же их рост вполне понятен – параллельно возрастало число орудий охоты; несомненно, увеличивалось и количество материала, поступающего на переработку.

Время существования изучаемых культур “связано с благоприятной и теплой климатической обстановкой финального плейстоцена – начала раннего голоцен. На юге дальневосточного региона завершение ледникового периода не сопровождалось резкими климатическими изменениями” [Лапшина, 1999, с. 107]. По данным палинологических исследований, изменения в климате касались лишь увлажненности. В этот период на территории расселения носителей осиповской и малышевской культур происходила медленная замена “сухолюбивых, хладоустойчивых степных животных влаго- и теплолюбивой фауной, которая, в свою очередь, уступила позиции современным животным” [Там же, с. 107–108]. Для района селемджинских памятников и поселения Громатуха в целом характерна та же тенденция в изменении климата. Но существенных перемен в составе свойственной для таежной зоны фауны здесь, вероятно, не произошло. Условия обитания человека стали несколько более суровыми. Все имеющиеся в нашем распоряжении оценки палеоклимата региона, как видим, носят пока общий характер. Специфика почв рассматриваемой территории крайне затрудняет сбор необходимых данных. Хочется надеяться, что совершенствование методов и продолжение исследований в этой области смогут предоставить нам дополнительный источник для интерпретации эволюционных процессов в хозяйственной деятельности населения.

Заключение

На этапе перехода к неолиту, особенно в западной части изучаемого региона, все большее значение в палео-

экономике начинают приобретать охота и переработка ее продуктов. Вероятно, именно эта отрасль постепенно вытесняет собирательство – предположительно основной источник пропитания людей на более раннем этапе истории. Изготовление орудий, связанных с охотой, приобретает массовый характер. Изделия становятся более стандартизованными, технологичными в производстве и эффективными в работе. Например, обработка шкур обеспечивается практически уже совершенным инструментарием. Отмечается сужение специализации орудий, необходимых для выполнения различного рода работ. Разрабатываются новые формы инструментов, осуществляется оптимальный подбор сырья для их изготовления. С уверенностью можно говорить о росте эффективности охоты и связанных с ней “домашних производств”. Однако сравнительное изучение археологических коллекций региона показывает, что наиболее значимые качественные изменения в эпоху неолита произошли в инструментарии, связанном с рыболовством.

На западе региона (семеджинская и громатухинская культуры) роль рыболовства постепенно снижается, оно начинает приобретать второстепенное по сравнению с охотой значение. Можно предположить изменения и в выборе мест добычи рыбы. Носители позднепалеолитической культуры добывали рыбу преимущественно в крупных водоемах дельты р. Семеджи, очевидно, широко используя рыболовные сети. В инструментарии встречаются даже пешни – свидетельство зимнего рыболовства. Носители же громатухинской (неолитической) культуры предпочитали устья сравнительно небольших рек. Свидетельств сетевого рыболовства здесь значительно меньше.

Вместе с тем совокупный рост производительности таких отраслей, как охота и рыболовство, на этапе громатухинской культуры, несомненно, привел к стабильности экономики. Однако в это время еще сохранялась необходимость регулярных перекочевок – хозяйство, ориентированное, в первую очередь, на охоту, неизбежно предполагает постоянное перемещение населения вслед за основными источниками пищи. На поселении Громатуха обнаружены следы только сезонных жилищ.

Влияние развития рыболовства особенно ярко прослеживается в изменениях состава инструментария с памятников восточной части региона (осиповская и мальшевская культуры). На позднем этапе рыболовство здесь из, вероятно, круглогодичного занятия постепенно превращается в очень эффективный, но сезонный промысел. Нерестовый ход рыбы в этих районах очень интенсивен сейчас и, вполне вероятно, был таковым и в прошлом. Сезонный промысел стал обильным и, главное, надежным источником калорийной пищи.

Рыболовство на востоке региона развивалось очень быстрыми темпами. Свидетельством этого мо-

жет быть стремительный рост в составе инструментария общего и относительного количества орудий для переработки рыбы. Развитие рыболовства на востоке региона, так же как охотничьего хозяйства на западе, придает палеоэкономике неолита стабильность.

Появление производящей экономики сейчас предлагается считать основным признаком эпохи неолита [Адовазио и др., 2001, с. 62]. Это справедливо для многих районов ойкумены. Однако там, где из-за сравнительно тяжелых климатических условий развитие какого-либо “производящего хозяйства” затруднено и сейчас, начало неолита разумно знаменовать появлением признаков оседлости населения.

Долговременные поселения для неолита рассматриваемого региона в целом редки. На западе территории, в местах расселения носителей громатухинской культуры, обнаружены следы только кратковременных, вероятно сезонных, стоянок. Жилища людей в это время были относительно невелики и представляли собой несложные наземные конструкции типа современных чумов. Определяемый охотой кочевой образ жизни не способствовал “закреплению” людей в каких-либо, даже очень благополучных, угодьях. На этапе громатухинской культуры охота стала ведущей отраслью хозяйства, а рыболовство – вспомогательным занятием; люди предпочитали селиться в местах, более удобных именно для охоты, нежели для рыболовства.

Совсем иной образ жизни определяло развитие рыболовства на востоке региона. Добыча рыбы не требовала от людей постоянного перемещения вслед за объектами промысла. Регулярный нерестовый ход рыбы давал возможность проводить массовую ее заготовку. Эффективный труд нескольких недель обеспечивал калорийным питанием на целый год. Преимущества рыболовства перед охотой в данной части региона очевидны и сейчас. Население, вполне естественно, “закреплялось” на местах, удобных для добычи нерестовой рыбы. Особенно отчетливо это заметно по материалам мальшевской культуры. Меняется вид и обустройство поселений того времени. Здесь люди уже круглогодично обитали в долговременных, крупных, сравнительно комфортабельных жилищах [Волков, Медведев, 2004а, б]. Конструкции жилых сооружений углублялись в почву, имели, очевидно, прочный каркас и утепленное перекрытие. Площадь средних по размеру жилищ составляла порядка 70 м². Они носили универсальный характер, т.е. могли быть местом ночевки, дневного отдыха или производственной территорией, в зависимости от потребностей. Площадь внутреннего пространства больших долговременных сооружений достигала иногда 170 м². В жилищах такого типа был очаг (или даже несколько). Хорошо выделяются специализированные рабочие площадки с двух сторон от входа. Вероятно, жилое пространство делилось на “мужскую” и “женскую” части. Места отдыха распо-

лагались в дальней от входа зоне. Разграничение рабочих площадок и зоны отдыха отчетливое. Поселения с такого рода жилищами разительно отличаются от стоянок с временными сооружениями в западной части изучаемого региона.

Два типа хозяйства – охотничье на западе и рыболовное на востоке, – как мы видим, определяют разные пути развития палеоэкономики населения региона. Специализация хозяйства на сезонной добыче нерестовой рыбы становится стимулом для перехода к оседлости, что можно считать характерной формой перемены образа жизни людей на начальном этапе неолита.

Итак, именно эволюция рыболовства, развитие соответствующего инструментария и, главное, специализация на добыче нерестовой рыбы приводят к радикальным изменениям в образе жизни людей изучаемого времени. Наиболее важным и характерным следствием развития палеоэкономики в восточной части региона становится оседłość населения, знаменующая начало эпохи неолита.

Применение функционального и статистического анализа древнего инструментария может оказаться плодотворным при изучении не только археологических культур, но и отдельных памятников. Такого рода исследования могут способствовать более аргументированному определению культурной принадлежности археологического объекта. Функционально-статистический анализ позволит выделить типичные и атипичные наборы орудий для каждого конкретного местонахождения. Более очевидными станут особенности того или иного памятника. За последнее десятилетие в научный оборот введено огромное количество эмпирического материала по археологическим культурам региона. Привлечение его при продолжении начатых исследований по настоящей методике может значительно расширить наши представления о палеоэкономике, составить основу для сравнительных и общих характеристик хозяйства древнего населения не только территории Дальнего Востока России, но и Китая, Кореи, Японии.

Список литературы

Адовазио Дж.М., Соффер О., Хиланд Д.С., Иллингворт Дж.С., Клима Б., Свобода И. Производство изделий из недолговечных материалов в Долни Вестонице I: Новый взгляд на природу и происхождение граветта // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2001. – № 2 (6). – С. 48–65.

Волков П.В. Ножи в коллекции громатухинской культуры // Проблемы археологии Северной и Восточной Азии. – Новосибирск: ИИФИФ СО АН СССР, 1986а. – С. 169–184.

Волков П.В. Хозяйство громатухинской культуры среднего Амура // Исторический опыт освоения Сибири с древнейших времен до октября 1917 года: Тез. докл. Всесоюз.

науч. конф. “Исторический опыт изучения и освоения Сибири”. Новосибирск, 14–16 октября 1986 г. – Новосибирск, 1986б. – С. 18–21.

Волков П.В. Лавролистные клинки из коллекции поселения Громатуха // Северная Азия в эпоху камня. – Новосибирск: ИИФИФ СО АН СССР, 1987а. – С. 177–181.

Волков П.В. Тесловидно-скребловидные орудия громатухинской культуры // Древности Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск: Наука, 1987б. – С. 82–85.

Волков П.В. Микроскребки и скребки громатухинской культуры // Северная Азия в эпоху камня. – Новосибирск: ИИФИФ СО АН СССР, 1987в. – С. 152–161.

Волков П.В. Хозяйство осиповской мезолитической культуры // Историография и источники изучения исторического опыта освоения Сибири: Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч. конф. [15–17 ноября 1988 г.]. – Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 1988. – Вып. 1: Досоветский период. – С. 22–23.

Волков П.В. Трасологические исследования в археологии Северной Азии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 1999. – 192 с.

Волков П.В., Медведев В.Е. Планиграфический анализ находок в ранненеолитическом поселении Сучу (жилище 26) // Археология и палеоэкология Евразии: Сб. ст. – Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 2004а. – С. 300–313.

Волков П.В., Медведев В.Е. Краткие итоги функционально-планиграфического анализа жилища мальшевской культуры на острове Сучу // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий: (Мат-лы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2004 г.). – Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 2004б. – Т. 10, ч. 1. – С. 53–56.

Деревянко А.П., Волков П.В., Ли Хонджон. Селемджинская позднепалеолитическая культура. – Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 1998. – 336 с.

Деревянко А.П., Зенин В.Н. Палеолит Селемджи. – Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 1995. – 160 с.

Деревянко А.П., Медведев В.Е. К тридцатилетию начала стационарных исследований на о-ве Сучу (некоторые итоги) // История и культура Востока Азии: Мат-лы Междунар. науч. конф. Новосибирск, 9–11 декабря 2002 г.: К 70-летию В.Е. Ларичева. – Новосибирск, 2002. – Т. 2. – С. 53–72.

Лапшина З.С. Древности озера Хумми. – Хабаровск: Приамур. геогр. об-во, 1999. – 206 с.

Окладников А.П., Деревянко А.П. Громатухинская культура. – Новосибирск: Наука, 1977. – 288 с.

Семенов С.А. Первобытная техника. – М.; Л.: Наука, 1957. – 240 с. – (МИА; № 54).

Семенов С.А., Коробкова Г.Ф. Технология древнейших производств. – Л.: Наука, 1983. – 453 с.

Derevianko A.P., Volkov P.V. The evolution of the palaeoeconomy of the ancient population of the Amur region (from upper palaeolithic to neolithic) // Suyanggae and Her Neighbors. – Chungju: [S.I.], 1997. – P. 35–44.

Keeley L.H. Experimental determination of stone tool uses: A microwear analysis. – Chicago; L.: Univ. of Chicago Press, 1980. – 212 p.

Korobkowa G.F. Narzedzia w pradziejach. – Torun: Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1999. – 168 p.

УДК 903.21

Н.К. Аниюткин, В.И. Тимофеев

*Институт истории материальной культуры РАН
Дворцовая наб. 18, С.-Петербург, 191186, Россия
E-mail: orthopt@zin.ru*

ПАЛЕОЛИТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ НА ОТЩЕПАХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЬЕТНАМА

Введение

Палеолит Азии отличается удивительным многообразием, что соответствует разнообразию природно-ландшафтных зон этого гигантского континента. Если на севере и западе мы имеем дело с палеолитическими комплексами, сопоставимыми в целом с каменными индустриями Европы, то в Восточной и Юго-Восточной Азии отмечается поразительное своеобразие [Абрамова, 1994; Борисковский, 1971; Деревянко, 1983], в частности выражющееся в обилии всевозможных галечных орудий при второстепенной роли изделий на отщепах. Подобное явление мы наблюдали во время научной командировки в 1984–1985 гг. во Вьетнам, где нам удалось ознакомиться со многими памятниками каменного века. Сделанные наблюдения оказались, как показывают более поздние публикации вьетнамских ученых [Ha Van Tan, 1998], весьма актуальными и в настоящее время. Поэтому мы вновь вернулись к ним, заострив внимание на материалах некоторых памятников, не согласующихся с широко распространенным представлением об особенностях палеолита на территории Вьетнама, заключающихся в доминировании разнообразных галечных изделий. Данные комплексы показали, напротив, абсолютное преобладание различных изделий из отщепов. Речь идет, в частности, о комплексе из нижнего слоя навеса Нгэм, расположенного в северной провинции Бактхай. Мы ознакомились с этой коллекцией в национальном Историческом музее (г. Ханой) благодаря любезности научного сотрудника музея Куанг Ван Кая, исследовавшего данный памятник в 1981 и 1982 гг. Сделанное тогда наблюдение об особенностях комплекса было позднее подтвержде-

но заключениями вьетнамского ученого Ха Ван Тана (см.: [Moser, 2001]), который выделил специфическую индустрию на отщепах “Nguomien”, существенно отличающуюся от известных ранее галечных шонви и хоабинь [Нгуен Кхак Ши, 1982], где орудия на отщепах играют второстепенную роль: среди изделий со вторичной обработкой на их долю приходится едва ли 1 % [Moser, 2001, S. 47]. Аналогичные комплексы с преобладанием орудий на отщепах обнаружены также в соседних с Нгэмом навесах и гротах, в т.ч. в гроте Миэнг Хо. С каменным инвентарем последнего ранее ознакомился П.И. Борисковский, сопоставивший его со среднепалеолитическими индустриями Индии [1977, с. 190–191]. Данные комплексы (культура миэнг), отнесенные к среднему палеолиту, упоминаются в монографии, посвященной основам палеолитоведения [Деревянко, Васильев, Маркин, 1994, с. 203]. В эту группу памятников можно, как кажется, включить и местонахождение Нуонг, коллекция каменных изделий которого имеет среднепалеолитический облик.

Скальный навес Нгэм

Информация о памятнике получена нами непосредственно от исследователя данного объекта Куанг Ван Кая. Основное внимание было уделено комплексу из нижнего слоя. Материалы памятника полностью не опубликованы; известна лишь предварительная публикация на вьетнамском языке, поэтому мы решили отказаться от их полного описания с использованием статистики и дать характеристику основных групп орудий и ядрищ, выделенных нами при просмотре коллекции.

Навес расположен в известняковом массиве, где поблизости найдено еще несколько скальных убежищ со стоянками каменного века. В отложениях мощностью более 1 м выделены три культурных уровня: верхний, подразделяющийся на два слоя, относящихся к бакшонской и хоабиньской культурам, средний, содержащий материалы культуры шонви, и нижний с каменной индустрией мустьеоидного облика. Кости животных не обнаружены. Получено (по моллюскам) несколько радиоуглеродных дат: для кровли хоабиньского слоя – $18\,600 \pm 200$ л.н., для основания – $19\,040 \pm 400$; для верхней и нижней части слоя с индустрией культуры шонви идентичные – $23\,000 \pm 200$ л.н.. Еще одна дата – более 32 тыс. л.н. – получена для перекрывающего нижний слой стерильного горизонта со щебнем и глыбами известняка.

Для изготовления каменных изделий из нижнего слоя использовались кварцитовые, базальтовые, липаритовые и порфиритовые гальки, которые собирались здесь же, в русле реки.

Техника первичного расщепления характеризуется нуклеусами с плоскостной системой снятий. Представлены полюсные с параллельным и конвергентным скальванием (рис. 1, 3, 4), а также многоугольные (шаровидные) и радиальные ядрища. Ударные площадки преимущественно гладкие, с галечной коркой; подправленные малочисленны. Среди сколов преобладают отщепы. Пластины довольно малочисленны. Отщепов леваллуа немногого (рис. 1, 1, 2); часто встречаются клектонские, но преобладают подтреугольные мустьеоидные с прямыми углами скальвания. Много отщепов и пластин, сохранивших естественные галечные поверхности. Это объясняется особенностями сырья, представленного гальками средних и очень редко относительно крупных размеров. Несмотря на то что изделия в основном изготовлены из разнообразных галек, индустрия не относится к числу подлинно галечных, для которых характерны особые приемы расщепления, позволяющие называть данную технологию "долечной" [Ранов, 1986, с. 28–31]. Для комплекса нижнего слоя типична среднепалеолитическая техника первичного расщепления, основанная на получении соответствующих сколов-заготовок с полюсных или радиальных ядрищ с плоскостной системой снятий. Специфика проявляется лишь в том, что ударные площадки большинства отщепов сохраняют естественные поверхности галек.

Коллекция изделий со вторичной обработкой из нижнего слоя навеса Нгэм весьма многочисленна. Среди них преобладают орудия среднепалеолитического облика. Леваллуазские и мустьеорские остраконечники отсутствуют. Представлены немногочисленные атипичные остряя с нерегулярной ретушью

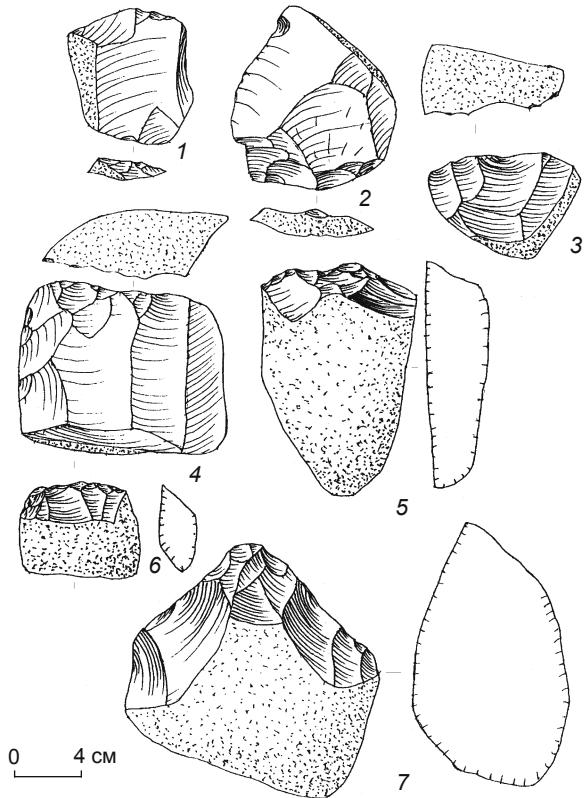


Рис. 1. Каменные изделия из нижнего слоя навеса Нгэм.
1, 2 – отщепы леваллуа; 3, 4 – нуклеусы; 5–7 – чопперы.

(рис. 2, 1, 4, 6, 9). Форм с типичной для мустье чешуйчатой и ступенчатой ретушью практически нет, но распространена зубчатая обработка, которая иногда дополняется однорядной уплощенной или полукурткой ретушью краев.

Скребел и скребловидных орудий относительно много. Среди них преобладают простые однолезвийные скребла, изготовленные преимущественно на отщепах (рис. 2, 5, 10) и очень редко на целых гальках соответствующих форм (рис. 2, 15). Последние обычны для комплексов типа шонви. Имеются атипичные двулезвийные скребла (рис. 2, 8), но нет ни конвергентных, ни угловатых (*déjetés*). Поперечные (диагональные) скребла единичны (рис. 2, 11), однако относительно часто встречаются весьма характерные для данного комплекса вентральные (*sur face plane*). Их крутые и полукрутые рабочие края всегда интенсивно ретушированы (рис. 3, 1, 2, 4, 5, 7), иногда имеют зубчатые контуры (рис. 3, 1, 2). Данная многорядная обработка весьма характерна также для чопперов. Среди этих форм скребел есть комбинированные, с долотовидными концами и скребловидными краями, хотя последние можно рассматривать в качестве элемента аккомодации (рис. 3, 4). Единичны и атипичны скребла с крутой ретушью краев, нет форм с ретушью кина и полукина.

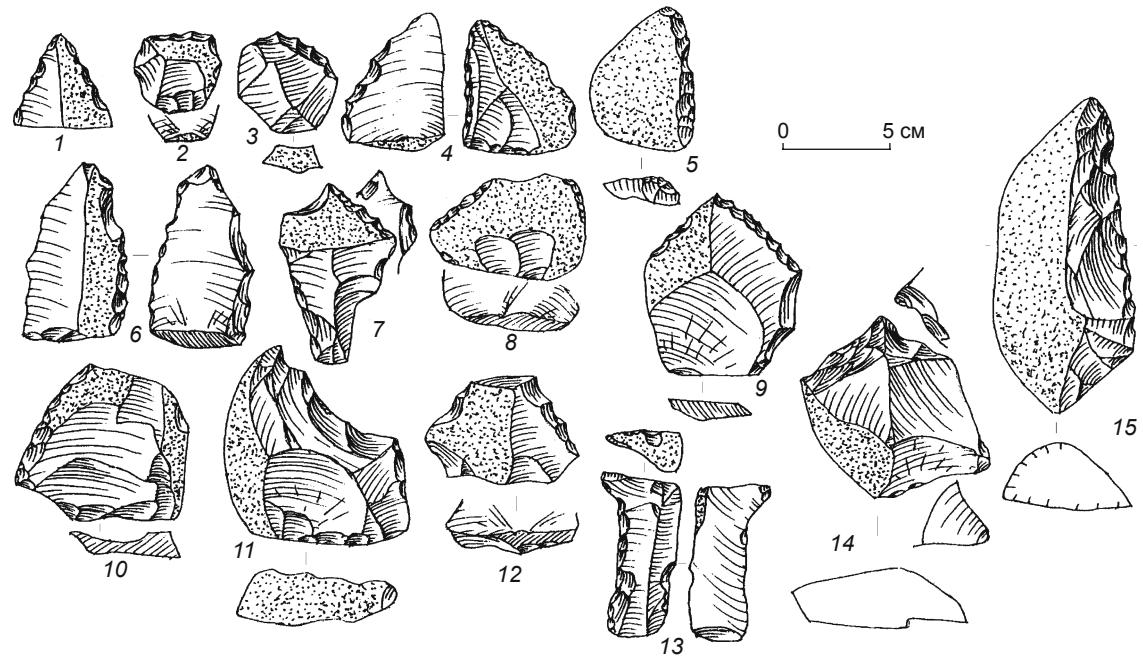


Рис. 2. Каменные орудия из нижнего слоя навеса Нгэм.
1, 4, 6, 7, 9 – острия на отщепах; 2, 3 – скребковидные орудия; 5, 8, 10, 11 – скребла; 12 – зубчатое орудие;
13, 14 – клювовидные орудия; 15 – скребло на гальке.

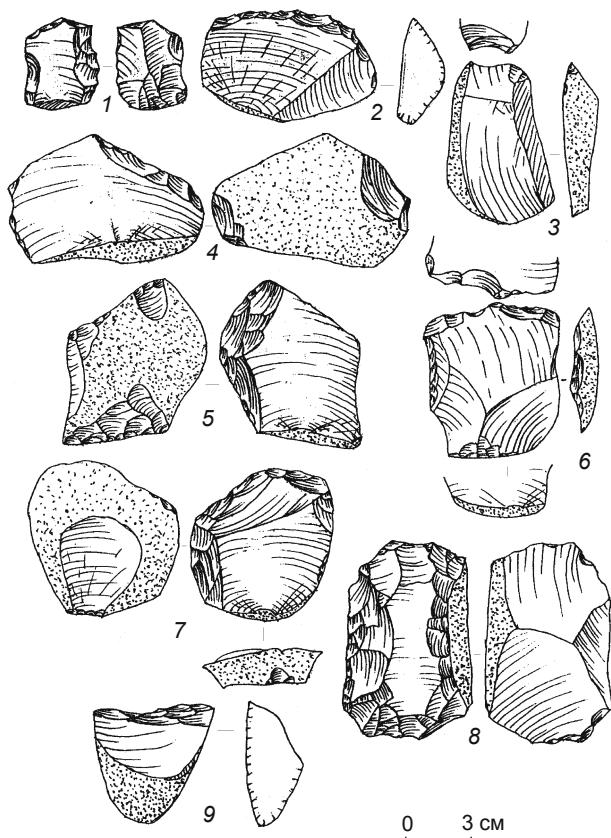


Рис. 3. Каменные изделия из нижнего слоя навеса Нгэм.
1, 2, 4, 5, 7 – вентральные скребла (4 – долотовидное орудие?);
3, 6, 8 – рубящие орудия; 9 – чоппер на плоской гальке.

Подлинные верхнепалеолитические формы отсутствуют. Представлены скребковидные орудия на небольших отщепах с полукруглой зубчатой ретушью краев (см. рис. 2, 2, 3). В одном случае отмечен микрорезцовый скол на рабочей кромке клювовидного резака (см. рис. 2, 13), но не исключено, что это следы утилизации данного орудия. Как проколку можно воспринимать, хотя и условно, острие на удлиненном сколе с отчетливо выделенным жальцем (см. рис. 2, 7).

Выемчатые орудия относительно малочисленны и недостаточно типичны. Зубчатых форм (см. рис. 2, 12) много. К данной группе относятся и клювовидные орудия, для которых характерно выделение рабочих элементов при помощи выемок. Показательно одно такое изделие с двумя рабочими концами (см. рис. 2, 14). Следует отметить, что зубчатая ретушь весьма типична для орудий на отщепах каменного века на территории Вьетнама. Она отмечена нами не только в индустриях типа шонви и хоабинь, но и в неолитических.

Очень интересны долотовидные (тесловидные) или топоровидные орудия. Общими для них являются удлиненная форма и наличие обработки торца, на котором наблюдаются негативы двусторонних уплощенных сколов, являющиеся порой следами утилизации (см. рис. 3, 6). Подобные следы возникают, как показывают эксперименты [Матюхин, 1983, с. 171], при обработке дерева. В качестве заготовок часто использовались очень корот-

кие отщепы (см. рис. 3, 4), реже слабоудлиненные, но всегда массивные (см. рис. 3, 6, 8). Боковые края бывают естественными и представляют собой или скосленные ударные площадки клектонских отщепов (см. рис. 3, 3, 4), или остатки галечных поверхностей (см. рис. 3, 6, 8). Иногда противолежащая грань имеет вторичную обработку в виде полукрутой ретуши, которая характерна для мустерьерских скребел. Возможно, в качестве аналогичных орудий использовались чопперы (см. рис. 3, 9). Тесловидные или топоровидные орудия хорошо представлены на памятниках каменного века Вьетнама и Юго-Восточной Азии. Это явление легко объяснимо природными особенностями региона: человеку приходилось постоянно жить в условиях тропического леса.

Несмотря на то что в коллекции преобладают разнообразные орудия на отщепах, в ней представлены и выразительные галечные, в т.ч. одно- и двусторонние, чопперы. Размеры этих изделий разные, но крупных мало. Доминируют односторонние формы, которые бывают удлиненными (см. рис. 1, 5), укороченными (см. рис. 1, 6) и даже остроконечными (см. рис. 1, 7). Последние характерны для галечной индустрии шонви. Аналогичные формы мы наблюдали в материалах пещеры Намтун, нижний слой которой относится к раннему этапу А этой “культуры” [Нгуен Кхак Ши, 1982, с. 7]. Типичные двусторонние орудия в коллекции из нижнего слоя навеса Нгэм нами не обнаружены. Имеются изделия лишь с частичной бифасиальной обработкой.

Если исходить из технико-типологических показателей, можно определить рассматриваемую каменную индустрию как среднепалеолитическую, но специфическую. Специфика заключается в наличии выразительных рубящих орудий и серии типичных чопперов.

Нельзя ожидать абсолютного сходства среднего палеолита Юго-Восточной Азии с мостью северной части Евразии, например на территории Франции, Русской равнине или Алтая [Деревянко, Маркин, 1992]. Различия в природных условиях слишком существенны: в тропиках нет необходимости в теплой одежде и утепленных жилищах, а следовательно, не были нужны и многие каменные орудия, использовавшиеся для их изготовления в районах с холодным климатом.

Местонахождение Нуонг

Памятник расположен на склоне базальтовой горы высотой ок. 100 м, которая находится на плоской аллювиальной равнине недалеко от берега моря, примерно в 10 км северо-западнее г. Тханьхоа и в 5 км от знаменитой горы До, где найдены артефакты ран-

непалеолитического облика. На небольшом участке скального массива, на высоте ок. 30 м от его основания было обнаружено скопление каменных изделий. По нашему предварительному заключению, оно приурочено к подножью отвесной скальной стены. Найдены были рассеяны среди каменных обломков полосой протяженностью примерно 50 м и шириной до 10 м. Местонахождение расположено, по словам вьетнамских коллег, на склоне, обращенном в противоположную морю сторону. Таким образом, оно было защищено скальным массивом от сильных морских ветров и тайфунов.

Учитывая особенности распространения каменных изделий, позволяющие определить границы местонахождения и провести в дальнейшем предварительные работы с целью локализации места стоянки, мы решили ограничиться шурфом 1×1 м, который бы minimально повредил предполагаемый культурный слой. На этом участке (примерно 5×5 м) был собран подъемный материал и в центре заложен шурф. В нем прослежены следующие слои (сверху вниз): 1) суглинок тяжелый, коричневого цвета, плотный, с включениями осколков и обломков темного базальта, а также каменными изделиями – 0,4 м; 2) суглинок тяжелый, темно-коричневого цвета, более плотный (глина), с включениями мелких и средних обломков базальтового щебня и многочисленными каменными изделиями – 0,1 м; 3) крупные куски и обломки базальта красно-бурого цвета, сцементированные бурой глиной, артефактов не обнаружено, видимая мощность 0,2 м; этот слой, вероятно, является кровлей коры выветривания базальтового основания горы.

Материал был подразделен на три комплекса: 1) каменные изделия с поверхности, где они часто были перекрыты обломками базальта; 2) артефакты из верхнего суглинка; 3) каменные изделия из нижнего суглинка. Все артефакты из базальта. В первых двух комплексах их поверхности имеют серо-желтую и желтую окраску, а в третьем – коричневую.

В коллекции 1, которая, видимо, происходит из размытого суглинка, 170 предметов, в т.ч. отдельные орудия и ядрища, 158 отщепов и пластин, единичные чешуйки и обломки. Два изделия удлиненной формы имеют частичную бифасиальную обработку. Коллекция 2 включает 152 артефакта, среди которых 132 скола и 28 чешуек, нет нуклеусов, но есть орудия. В комплексе 3 представлены 260 отщепов и пластин, 96 чешуек и 10 крупных обломков с ретушью, 3 удлиненных предмета с ретушью по краям. Различий между комплексами по морфологии изделий выявить не удалось, что можно объяснить небольшим объемом коллекций. Среди изделий на сколах преобладают отщепы и пластины средних размеров (от 60 до 80 мм), но имеются отдельные крупные предметы.

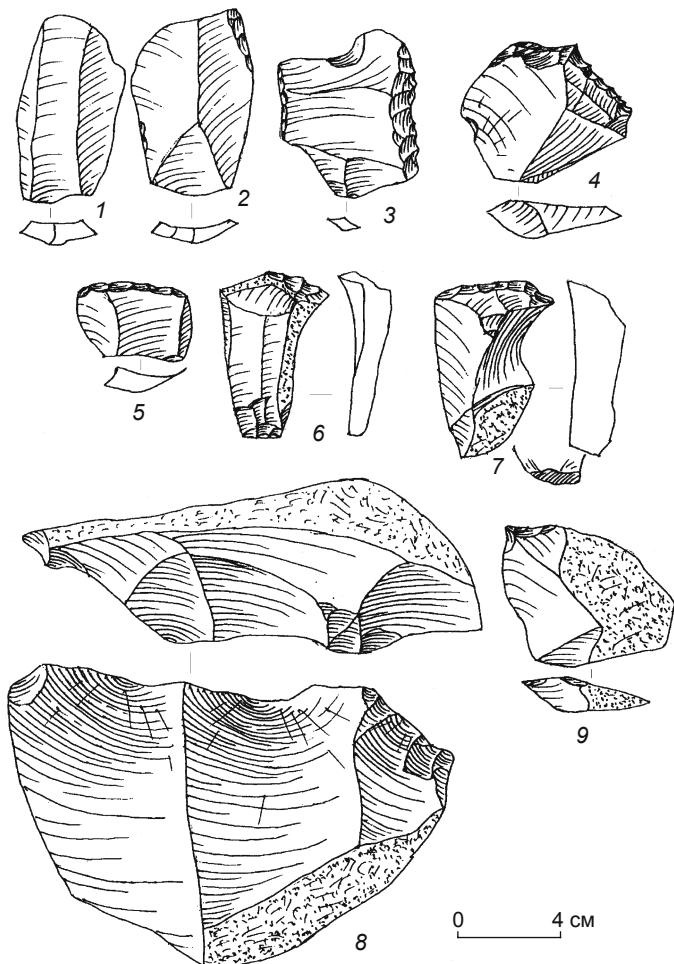


Рис. 4. Каменные изделия с местонахождения Нуонг.
1, 2 – отщепы леваллуа (2 – скребло ?); 3 – скребло на отщепе леваллуа;
4 – зубчатое орудие на отщепе; 5–7 – скребковидные орудия; 8 – одноплощадочный нуклеус; 9 – проколка на отщепе.

Таблица 1. Технические индексы каменного инвентаря с местонахождения Нуонг, %

Комплекс	IL	IF	llam
1	8,9	24,7	9,5
2	12,1	27,2	10,7
3	3,5	20,9	5,0

Таблица 2. Технические индексы комплексов шонви, хоабинь, и с местонахождения Нуонг, %

Памятники	IL	IF	Icl	llam	ГП*
Нуонг	7,1	25,6	36	8,2	14
Намтун (шонви)	0,5	2,5	73	5,0	90,8
Вэнсоу (шонви)	0	8,6	90,1	26	88,8
Сомчай (хоабинь)	0	10	64	2,5	76

* Галечные ударные площадки.

Немногочисленные ядрища представляют в основном плоскостную, среднепалеолитическую систему снятий, включая конвергентную. Наиболее показателен одноплощадочный нуклеус подтреугольной формы с негативами треугольных отщепов. Ударная площадка образована широкими снятиями. Этот сравнительно крупный нуклеус, относящийся к типичным среднепалеолитическим, представляет начальную стадию расщепления (рис. 4, 8).

Несмотря на незначительную ценность статистических показателей, обусловленную небольшой площадью раскопа, для наглядности все же приведем основные технические индексы трех комплексов (табл. 1). В целом, несмотря на некоторый разброс количественных показателей техники первичного расщепления, что ожидаемо для подобной ситуации, речь идет об индустрии нелеваллуазской, непластичной и с невысоким индексом фасетирования ударных площадок. Среди последних преобладают двугранные и единичны типично фасетированные. Если же сопоставить усредненные индексы трех рассматриваемых коллекций Нуонга с комплексами шонви и хоабинь, то получим интересные данные (табл. 2)*.

Для индустрий шонви и хоабинь характерны очень большое количество галечных ударных площадок, практический полное отсутствие леваллуазских сколов и малочисленность пластин. Исключением является очень поздний комплекс Вэнсоу, где относительно много удлиненных сколов, длина которых более чем в 2 раза превышает ширину. Среди них имеются изделия с резцовыми сколами [Борисковский, 1977, рис. 5]. Каменный инвентарь из Нуонга существенно отличается от этих индустрий и

* Использованы наши подсчеты технических индексов каменного инвентаря из пещер Намтун (шонви) и Сомчай (хоабинь), а также с памятника Вэнсоу, относящегося, по словам вьетнамских коллег, к очень позднему этапу развития культуры шонви.

обнаруживает значительное сходство с комплексом из нижнего слоя навеса Нгэм, особенно при сопоставлении нуклеусов, имеющих мустерский облик в коллекциях Нуонга и Нгэм и аморфных в индустриях шонви и хоабинь.

В орудийном наборе с местонахождения Нуонг преобладают изделия на отщепах, включая выемчатые и зубчатые орудия, скребла, в т.ч. типично мустерские (рис. 4, 3). В коллекции имеются выразительные леваллуазские пластины и отщепы (рис. 4, 1, 2). Некоторые из них со вторичной обработкой (рис. 4, 2). Орудия мустерской группы (по Ф. Борду) весьма многочисленны. Однако остроконечники и леваллуазские острия отсутствуют. Среди скребел имеются простые однолезвийные (рис. 4, 2; 5, 4), двойные (см. рис. 4, 3), диагональные (см. рис. 5, 5), поперечные (рис. 6, 3) и одно двустороннее (рис. 6, 2). Правда, последнее, возможно, является рубящим орудием, т.к. ретушь может быть элементом аккомодации, хотя формально речь идет о скребловидной форме. Отмечены единичные случаи удаления ударных бугорков уплощенной ретушью (см. рис. 5, 4). Рабочие края очень часто имеют зубчатые контуры, что дает основания рассматривать эти орудия как зубчатые скребла. В качестве заготовок использовались преимущественно отщепы и крайне редко естественные обломки камня (см. рис. 5, 5).

Верхнепалеолитические формы малочисленны. Они представлены четырьмя атипичными скребками (см. рис. 4, 5–7; 5, 1) и типичной проколкой на отщепе (см. рис. 4, 9). Для первых характерна грубая несистематическая ретушь (см. рис. 5, 1). Показателен укороченный скребок из комплекса 3, близкий по форме скребковидным орудиям из нижнего слоя навеса Нгэм (см. рис. 4, 5). В коллекции имеются ножи с естественными обушками (см. рис. 5, 2) на отщепах подтреугольной формы.

Многочисленны выемчатые и зубчатые орудия (см. рис. 4, 4), многие из которых, как уже отмечено выше, являются типичными зубчатыми скреблами. Напомним, что зубчатая обработка очень характерна для индустрий каменного века Юго-Восточной Азии, включая галечные.

В коллекции имеются три обломка с двусторонней обработкой, которые можно интерпретировать как заготовки топоровидных изделий относительно крупных размеров, а также тесловидное (долотовидное) орудие на фрагменте крупного отщепа. Сходные формы есть в раннепалеолитической коллекции с горы До, а также среди топоровидных изделий в комплексах хоабинь и шонви [Moser, 2001]. На первый взгляд, на них также похожи заготовки топоров с неолитической мастерской Донг-Кхой [Борисковский, 1966, с. 122–123], однако они отличаются грубостью обработки.

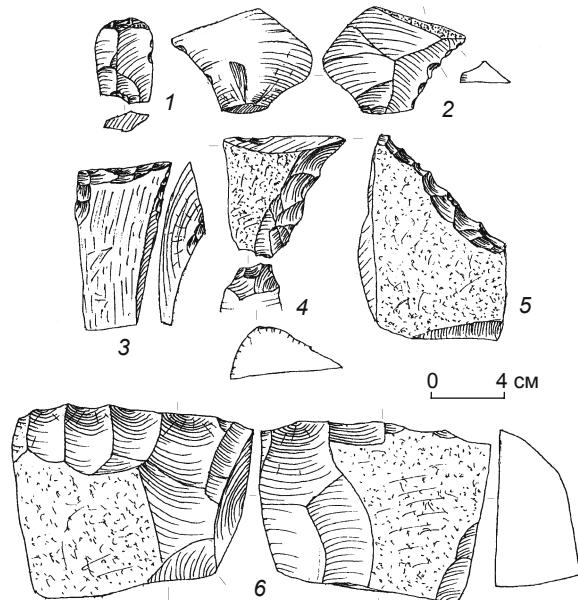


Рис. 5. Каменные орудия с местонахождения Нуонг.
1 – атипичный скребок; 2 – нож с естественным обушком; 3 – тесловидное орудие на фрагменте отщепа; 4 – зубчатое скребло с подтеской; 5 – скребковидное орудие на обломке; 6 – нуклевидное (чопперовидное) орудие.

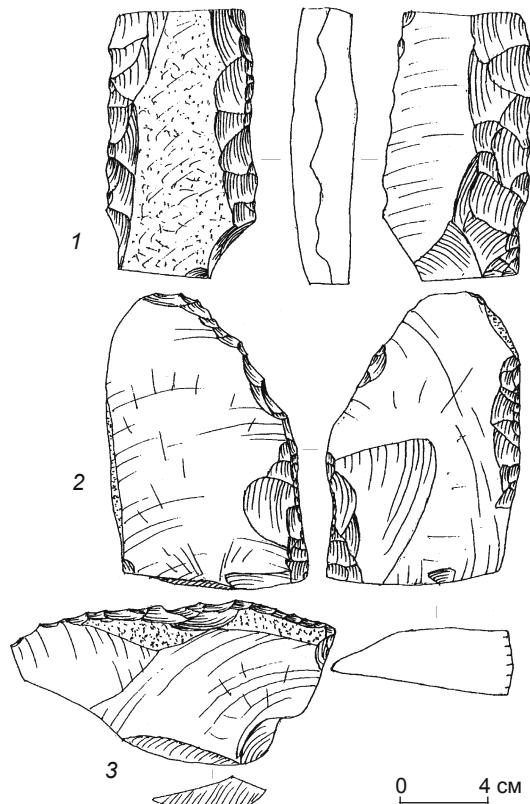


Рис. 6. Каменные изделия с местонахождения Нуонг.
1 – бифас (топоровидное орудие); 2 – массивное рубящее орудие на отщепе (“секач” ?); 3 – скребло на отщепе.

Найдено несколько крупных обломков базальта удлиненной формы со скребловидно оформленным боковым краем, которые можно рассматривать как “секачи” с обушками, описанные украинскими археологами [Гладилин, Ситливый, 1990, с. 177]. Также выделяются два относительно крупных нуклевидных орудия с частичной обработкой чередующимися снятиями одного, заостренного края, которому противолежит необработанный обушок. Эти изделия можно отнести к чопперовидным (см. рис. 5, 6). Отсутствие подлинных галечных орудий, возможно, объясняется особенностями сырья.

Тип памятников

Навес Нгэм, скорее всего, является сезонной стоянкой, где первичное расщепление играло второстепенную роль. На это указывает малочисленность нуклеусов. Гальку собирали внизу в реке, на берегу производили первичное раскалывание, а лучшие образцы приносили на стоянку.

Нуонг можно рассматривать как остатки стоянки-мастерской у выходов сырья. Выбор места не был случайным. Оно располагалось на крупном скальном массиве, возвышающемся над приморской долиной. Со стоянки, защищенной со стороны моря горой, был хороший обзор местности, здесь же имелось сырье, необходимое для изготовления каменных орудий.

На наш взгляд, неприемлемо предложение А.Е. Матюхина рассматривать данный объект в качестве специализированной мастерской для производства каменных топоров [1990], относящейся к позднему неолиту – эпохе бронзы. Этот исследователь совместно с вьетнамскими коллегами в 1985 г. вскрыл на местонахождении Нуонг площадь в 10 м², собрав в слое значительную коллекцию каменных изделий, основу которой составляли т.н. заготовки топоров, сопоставимые, по мнению А.Е. Матюхина, только с изделиями из поздних комплексов Хе Чуа, Кон Чан Тьен и Донг-Кхой [Там же, с. 96]. В свое время П.И. Борисковский, сравнив базальтовые предметы из коллекции мастерской Донг-Кхой с аналогичными находками с горы До, справедливо отметил их существенное отличие, которое проявляется не только в разной сохранности поверхностей, но и в морфологии отщепов [1966, с. 122–123]. Последние имеют, как правило, небольшие ударные площадки с прямыми углами скальвания и тонкие поперечные сечения. Подобные сколы получаются при обработке бифасов. Почти все они (более 99 %) неретушированы, что не свойственно полноценным палеолитическим комплексам, включая коллекции с местонахождения Нуонг и горы До. К тому же для названных поздних мастерских не характерны ни

нуклеусы, ни орудия. Важно, что в коллекции с местонахождения Нуонг представлены выразительные нуклеусы, орудия, отщепы и отходы производства.

На исследованном нами памятнике каменные изделия обнаружены на ограниченном по площади участке, расположенном на высоте более 30 м от поверхности рисовых полей, в то время как все известные поздние мастерские находились рядом со стоянками, у подножья базальтовых массивов [Там же, с. 124]. Возникает очевидный вопрос о целесообразности расположения подобной “мастерской” столь высоко, ведь аналогичное сырье в изобилии имелось в более удобном для транспортировки “заготовок топоров” месте. Не следует забывать и о том, что все эти базальтовые массивы совсем недавно были покрыты труднопроходимым лесом.

В отличие от А.Е. Матюхина, все находки которого “выявлены только в почвенном слое” [1990, с. 94], нами установлена отчетливая стратиграфия, и базальтовые изделия из нижнего горизонта (с глубины более 45 см от поверхности) имеют темный (коричневый) цвет, резко отличаясь от более светлых предметов с верхнего уровня. Различная степень сохранности поверхности находок свидетельствует о их разном возрасте.

Напомним еще раз, что топоровидные изделия характерны для всего каменного века на территории Вьетнама. И наконец, заготовки топоров из Донг-Кхой, с которыми мы могли ознакомиться во Вьетнаме, чаще всего прямоугольные в поперечном сечении, в то время как более древние (в т.ч. с местонахождения Нуонг) – линзовидные. Также отметим, что на территории позднеолитических мастерских по производству топоров постоянно встречаются обломки шлифованных образцов, которых нет ни на горе До, ни, тем более, на местонахождении Нуонг. К тому же, если принять точку зрения А.Е. Матюхина, то покажется весьма странным, что на горе До в качестве отходов подготовки “топоров” преобладали достаточно крупные (часто крупнее “заготовок топоров”) клектонские отщепы, на местонахождении Нуонг – более мелкие мустерьерские и леваллуазские, а на подлинной мастерской Донг-Кхой – небольшие тонкие отщепы, полученные в результате обработки бифасов, резко отличавшиеся от изделий из первых двух комплексов сохранностью и цветом поверхностей. Кроме того, основная масса “заготовок топоров” отнесена исследователем местонахождения горы До Ли Чень Тюем к чопперам и кливерам, что более вероятно. Все вышеприведенные аргументы указывают на неприемлемость интерпретации А.Е. Матюхина.

Местонахождение Нуонг, судя по его топографии, планиграфии и стратиграфии, а также совокупности технико-морфологических показателей индустрии,

является типичной стоянкой-мастерской у источника сырья. Возвышенное место стоянки, возможно, было единственным удобным участком, расположенным среди равнинного и, видимо, заболоченного тропического леса, где первобытные люди могли жить более или менее стабильно в течение относительно продолжительного времени.

Общие и специфические черты каменных индустрий из нижнего слоя навеса Нгэм и с местонахождения Нуонг

Общим для рассматриваемых каменных индустрий является то, что большинство изделий со вторичной обработкой изготовлено на отщепах. Эта черта отличает их, как мы уже писали, от более поздних комплексов, относящихся к культурам шонви и хоабинь. Более ранние индустрии, если принимать во внимание только стратифицированные памятники, до сих пор неизвестны. В данной ситуации можно, пожалуй, сослаться на собранную нами небольшую коллекцию каменных изделий из пещеры Тхамкуэн, которая, вероятно, происходит из среднеплейстоценовых отложений [Аниюткин, Тимофеев, 2004].

В рассматриваемых нами индустриях господствует среднепалеолитическая техника первичного расщепления камня и оформления орудий. Наиболее сходные комплексы известны в среднем палеолите центральной части Индии и Индо-Гангской равнины (т.н. навасиен), где среди изделий со вторичной обработкой преобладают выемчатые и зубчатые орудия, а также атипичные скребла, изготовленные на мусьеидных отщепах [Борисковский, 1971, с. 94–89]. В отличие от вьетнамского среднего палеолита, к которому можно отнести индустрии из нижнего слоя Нгэм и с местонахождения Нуонг, в индийском топоровидные орудия единичны, но представлены типичные долотовидные (*Pièces escaillées*). Они выделены в свое время П.И. Борисковским [Там же, с. 88]. Эти различия, скорее всего, связаны с разными природными условиями.

Заключение

Определение возраста рассмотренных памятников сегодня возможно только на основании радиоуглеродных дат, полученных для слоев навеса Нгэм, а также стратиграфического положения комплекса, залегавшего под слоями с артефактами, относящимися к культурам шонви и хоабинь. За условную самую верхнюю границу существования данного комплекса можно принять, как уже отмечалось, радиоуглеродную дату свыше 32 тыс. л.н., полученную для перекрывающего стерильного горизонта.

На вопрос, какова нижняя граница каменных индустрий этого типа, сегодня у нас нет более или менее приемлемого ответа.

Итак, в настоящее время в каменном веке на территории Вьетнама выделяется выразительная группа комплексов, в которых доминирующее большинство орудий изготовлено из отщепов, что резко отличает их от известных здесь индустрий шонви и хоабинь. Эти комплексы обнаружены как в скальных убежищах (Нгэм, Миенг Хо), так и на открытых стоянках (Нуонг и гора До). Здесь использовалось различное сырье (и не только галечное), следовательно, специфика рассматриваемых нами каменных индустрий обусловлена не сырьевой базой. Техника первичного расщепления и вторичной обработки, а также основные формы орудий характерны для среднего палеолита Евразии; наибольшее сходство наблюдается со среднепалеолитическими комплексами Индии. Здесь видно проявление единой стадии развития каменных индустрий, примерно в одно и то же время и, вероятно, при сходных природных условиях в столь отдаленных друг от друга регионах Азии.

Рассматриваемые комплексы древнее культуры шонви и, судя по радиоуглеродной дате, полученной для перекрывающего нижний слой стерильного горизонта навеса Нгэм, существовали ранее 32 тыс. л.н. Данная группа каменных индустрий сменяется более поздними, в т.ч. шонви и хоабинь, отличающимися преобладанием разнообразных галечных орудий, включая унифасы и бифасы. К примеру, в проанализированной нами по системе Ф. Борда коллекции из нижнего слоя пещеры Намтун, который относится, как уже отмечено, к раннему этапу развития культуры шонви, из 156 изделий со вторичной обработкой орудий на отщепах всего 19, а галечных – 128 (82 %).

К еще более раннему этапу, по сравнению с рассматриваемыми индустриями на отщепах, предположительно можно отнести галечные орудия из пещеры Тхамкуен, если признать их одновременными найденным там костям среднеплейстоценовых животных (фаунистический комплекс *Ailuropoda-Stegodon*) и зубам архантропов [Аниюткин, Тимофеев, 2004]. Красноцветные отложения, в которых залегали костные остатки (а также каменные орудия), вьетнамские и немецкие палеонтологи относят к среднеплейстоценовому межледниковою, синхронному миндельриссу Европы [Nguyen Lan Cuong, 1985, S. 99]. В коллекции из пещеры Тхамкуен также галечные формы доминируют над орудиями на отщепах. Кстати, присутствующие в ней бифасы, включая аналоги ручных рубил, известные также на юге Вьетнама вместе с отщепами леваллуа [Аниюткин, 1992], сопоставимы с аналогичными бифасиальными изделиями с раннепалеолитических местонахождений Южного Китая [Хуан Вэйвэнь и др., 2005, с. 6].

Таким образом, каменные индустрии на отщепах “типа Нгэм” представляют весьма интересное явление, разрывая “галечную традицию” на две части, из которых поздняя может рассматриваться как определенная и отчетливая специализация. В чем причина данной специализации? На этот вопрос напрашивается простой ответ, суть которого заключается в общей тенденции развития индустрий в донеолитическое время и изменении в голоцене климата в сторону потепления и увлажнения, а следовательно, распространении лесов. Известно, что похолодание климата, связанное с четвертичными оледенениями, приводило в тропиках к увеличению аридности, а тем самым к уменьшению площади влажных тропических лесов (к примеру, в Африке и Южной Америке они сокращались значительно и многократно [Фоули, 1990, с. 145–146]). Однако это объяснение не применимо к культуре шонви, существовавшей в конце плейстоцена во время наиболее значительного похолодания и ухудшения климата в позднем плениглиаце. Правда, на территории Северной Африки и значительной части Евразии позднепалеолитические комплексы с орудиями на отщепах преимущественно приурочены к ландшафтам саванн или полусаванн, степей или лесостепей с аридным климатом. Поэтому влияние природного фактора на наблюдалемую специализацию нельзя игнорировать полностью.

Список литературы

Абрамова З.А. Палеолит Северного Китая. Палеолит Центральной и Восточной Азии. – СПб.: Наука, 1994. – 214 с. – (Палеолит мира).

Анисюткин Н.К. Находки ручных рубил на территории Вьетнама // Хроностратиграфия палеолита Северной, Центральной, Восточной Азии и Америки. – Новосибирск: Наука, 1992. – С. 5–13.

Анисюткин Н.К., Тимофеев В.И. Каменные изделия из пещеры Тхамкуэн на севере Вьетнама // Археологические вести. – 2004. – № 11. – С. 13–21.

Борисковский П.И. Первобытное прошлое Вьетнама. – М.; Л.: Наука, 1966. – 184 с.

Борисковский П.И. Древний каменный век Южной и Юго-Восточной Азии. – Л.: Наука, 1971. – 174 с.

Борисковский П.И. Археология во Вьетнаме в наши дни // СА. – 1977. – № 4. – С. 183–191.

Гладилин В.Н., Ситликий В.И. Ашель Центральной Европы. – Киев: Наук. думка, 1990. – 268 с.

Деревянко А.П. Палеолит Дальнего Востока и Кореи. – Новосибирск: Наука, 1983. – 216 с.

Деревянко А.П., Васильев С.А., Маркин С.В. Палеолитоведение: введение и основы. – Новосибирск: Наука, 1994. – 287 с.

Деревянко А.П., Маркин С.В. Мустье Горного Алтая. – Новосибирск: Наука, 1992. – 225 с.

Матюхин А.Е. Орудия раннего палеолита // Технология производства в эпоху палеолита. – Л.: Наука, 1983. – С. 134–187.

Матюхин А.Е. О спорных вопросах датировки палеолитического (?) местонахождения Гора До во Вьетнаме // СА. – 1990. – № 2. – С. 92–97.

Нгуен Кхак Ши. Культура Шонви и ее место в каменном веке Юго-Восточной Азии // СА. – 1982. – № 3. – С. 5–12.

Ранов В.А. Раскопки нижнепалеолитической стоянки Лахути-1 в 1979 г. // Археологические работы в Таджикистане. – Душанбе, 1986. – Вып. 19. – С. 11–36.

Фоули Р. Еще один неповторимый вид: Экологические аспекты эволюции человека. – М.: Мир, 1990. – 368 с.

Хуан Вэйвэнь, Хоу Ямэй, Сон Хенген. Галечные орудия в палеолите Китая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2005. – № 1 (21). – С. 2–15.

Ha Van Tan. Khao Co Hoc Viet Nam (Археология Вьетнама). – Ha Noi: [S.l.], 1998. – Tap 1: Thoi Dai Da Viet Nam (T. 1: Каменный век). – 460 с. (на вьет. яз.).

Moser J. Hoabinhian: Geographie und Chronologie eines steinzeitlichen Technokomplexes in Sudostasien. – Köln: Komission für Allgemeine und vergleichende Archäologie des Deutschen archäologischen Instituts. 2001. – Bd. 6. – 194 S.

Nguyen Lan Cuong. Fossile Menschenfunde aus Nordvietnam // Menschwerdung – biotischer und gesellschaftlicher Entwicklungsprozess: Schriften zur Ur- und Frühgeschichte. – Berlin, 1985. – Bd. 41. – S. 96–101.

Материал поступил в редакцию 29.08.05 г.

УДК 903

Ю.Е. Вострецов

*Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН
ул. Пушкинская, 89, Владивосток, 690950, Россия
E-mail: vost@mail.primorye.ru*

“ПОВОРОТНЫЕ МОМЕНТЫ” В КУЛЬТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРЬЯ*

Введение

Культурная эволюция человека – многолинейный и неравномерный процесс, в котором отмечаются периоды быстротечных изменений разного характера. Обычно их называют поворотными моментами. Этот термин больше описывает явления, чем их объясняет. Накопленные данные по древней истории населения Приморья позволяют выделить несколько периодов, когда происходила быстрая смена систем жизнеобеспечения, культурных традиций, населения, которые мы можем охарактеризовать как “поворотные моменты”. Эти изменения особенно ярко проявились в прибрежных районах, где сталкивались группы морских охотников-собирателей-рыболовов с земледельцами. Один из таких районов – залив Петра Великого и континентальные территории по его обрамлению. Так почему же возникают ситуации, когда культурная эволюция человека меняет свою траекторию и темпы? Мы попробуем дать объяснение некоторым из этих явлений в экологической парадигме.

Экологические и культурные изменения в Приморье в среднем голоцене

Рассматривая культурную эволюцию населения на территории Приморья в течение среднего и начала позднего голоцена, мы можем выделить четыре крупных

временных интервала, расцениваемых как “поворотные моменты”, когда происходили события, связанные с изменением культурных традиций и сложным взаимодействием древних культур, основанных на морских и земледельческих адаптациях. Следует подчеркнуть, что на археологическом материале процесс взаимодействия различных адаптаций можно проследить именно в периоды значительных, если не сказать катастрофических, природных изменений. Переходя к реконструкции, необходимо учитывать два обстоятельства. Во-первых, экологические изменения в первом и третьем интервалах не были так значительны, хотя и они отразились на траектории культурной эволюции древнего населения Приморья. Во-вторых, накопление археологических данных происходит неравномерно как в количественном, так и в качественном отношении, поэтому мы располагаем неравнозначной информацией по изучаемым времененным интервалам. Все это отразилось на реконструкции событий, предлагаемой в данном исследовании, которое не только дает их интерпретацию, но и намечает пути дальнейшего поиска.

Первый интервал приходится на период 5 400–5 200 л.н., второй – 4 700–4 300, третий – 3 600–3 300, четвертый – 2 500–2 200 л.н. Все они связаны с похолоданиями климата и падениями уровня моря. Причем второй и четвертый интервалы были наиболее катастрофичны для древнего населения во многих районах мира [Вострецов, 2005].

Экологические изменения в прибрежной и континентальной зонах

Согласно палеогеографическим реконструкциям А.М. Короткого [1994; Первые рыболовы..., 1998,

* Автор выражает искреннюю благодарность коллегам А.М. Короткому, В.А. Ракову, Л.Н. Беседнову, А.В. Епишиной, С.А. Сергушевой за плодотворное сотрудничество.

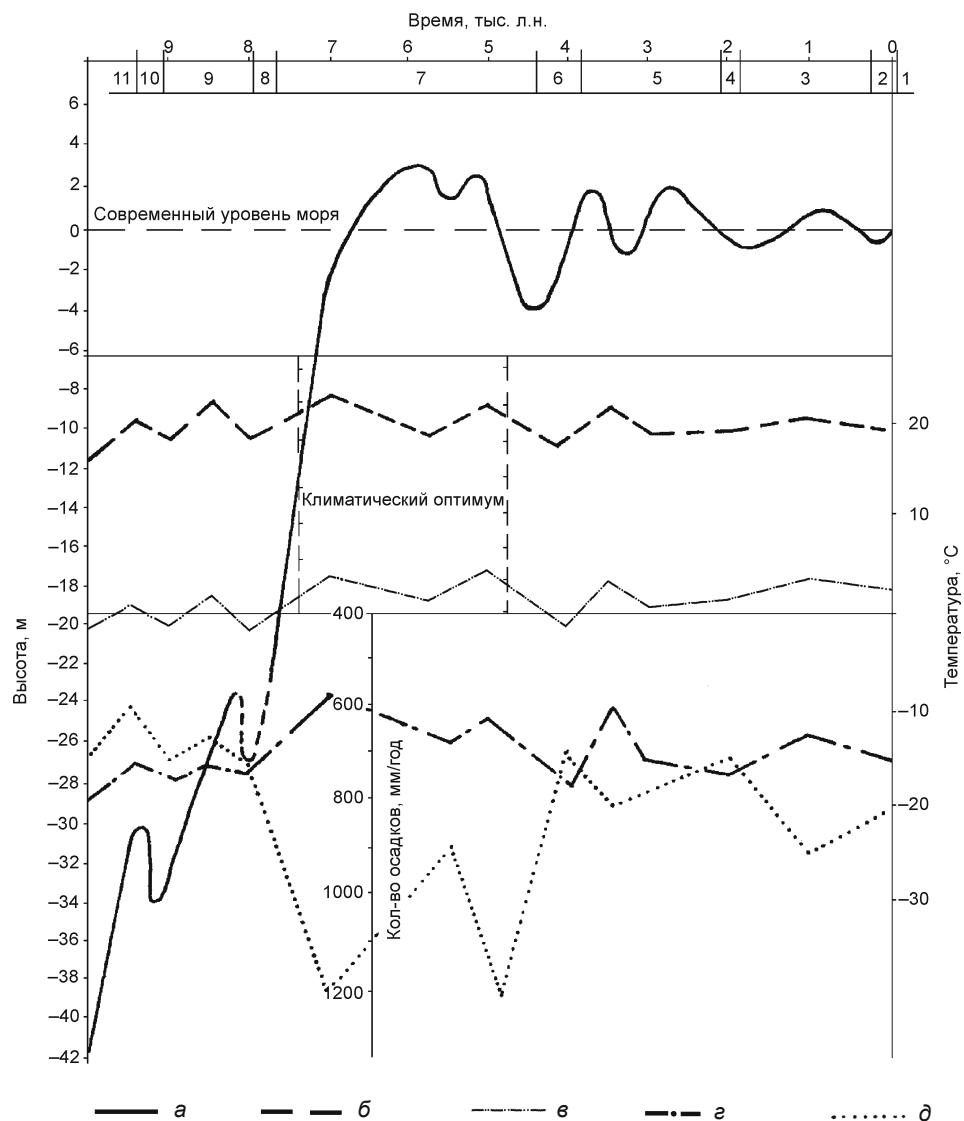


Рис. 1. Изменение климата, растительности и уровня Японского моря в голоцене Приморья (по: [Первые рыболовы..., 1998, гл. 1]).

а – уровень моря; б – средняя температура августа; в – среднегодовая температура; г – средняя температура января; д – среднее кол-во осадков.

1–4 – сосново-дубовые леса с включениями бересеки и ольхи на отметке 2,4 тыс. л.н.; 5 – дубово-широколистственные леса с обильным включением бересеки; 6 – хвойно-широколистственные, дубово-бересековые и бересеково-ольховые леса; 7 – полидоминантные широколистственные леса; 8 – бересеково-ильмовые леса с элементами холодолюбивой растительности; 9 – бересеково-широколистственные леса; 10 – бересеково-ильмовые леса в ассоциации с ольхой и кустарниковой бересекой; 11 – бересеково-ильмовые и бересеково-ольховые леса с элементами лесотундры.

гл. 1], мы можем отметить следующие экологические изменения, происходившие во втором и четвертом интервалах, как наиболее изученных (рис. 1). В прибрежной зоне после теплой атлантической фазы при переходе к суббореальной, 4 700–4 300 л.н., произошло похолодание климата и падение уровня моря на 6–7 м, т.е. до отметки на 3–4 м ниже современного. Регрессия послужила причиной силь-

ных ландшафтных изменений в прибрежной зоне. Исчезли многочисленные лагуны, небольшие заливы, и береговая линия существенно выровнялась. В интервале 2 500–2 200 л.н. также произошло короткое, но резкое и значительное похолодание климата и уровень моря упал до отметки на 1,5 м ниже современного, что привело к исчезновению лагун, образованию морских террас, иссушению болот

и образованию аллювиальных равнин в долинах рек. На прилегающих к этой зоне территориях в течение рассматриваемых временных интервалов происходило усиление континентальных климатических черт: зимы становились более холодными, лето – более сухим и холодным. Количество осадков уменьшалось. Засухи в первую половину лета становились сильнее. Происходил спад агроклиматических ресурсов.

Таким образом, во-первых, экологические изменения в течение второго интервала походили на те, что происходили в четвертом. Во втором интервале они были сильными или катастрофичными, но протекали медленно, в четвертом – не такими значительными, но происходили очень быстро, оставляя населению меньше времени для поиска и выбора адаптивных решений. Во-вторых, в течение обоих интервалов ландшафтные изменения разрушали привычную ресурсную базу морских охотников и рыболовов. Прибрежная зона становилась более привлекательной для земледельцев, поскольку повышенная влажность на побережье слаживала пагубное влияние засух на культивирование растений. При этом неблагоприятные для человека природные изменения в береговой зоне происходили раньше и были ощущимее, чем на прилегающих к ней территориях. В обоих случаях формировались условия, приводившие к вытеснению избыточной части земледельцев из континентальных районов в прибрежные.

Первый и третий временные интервалы характеризуются аналогичными вышеописанным тенденциями экологических изменений, отличия заключаются в интенсивности этих изменений и различии исходных ситуаций.

Изменения культурных традиций и систем жизнеобеспечения населения Приморья

Примерно к 6 000–5 000 л.н., периоду пика атлантической трансгрессии, предшествовавшему первому интервалу, относятся ранние памятники бойсманской культуры как локально-хронологического варианта традиции гребенчатой керамики на морском побережье от зал. Ольги на востоке Приморья до севера Корейского п-ова [Первые рыболовы..., 1998, гл. 8]. На третьем этапе ее развития, приходящемся на максимум благоприятных условий потепления и предшествующем похолоданию первого интервала, происходила интенсификация культурных контактов бойсманцев, которые достигали среднего и нижнего Амура [Морева, 2005]. К этому же этапу относится наиболее ранний из известных примеров морской адаптации, ориентированной на использование лагунных и морских ресурсов, – Бойсмана-1 (рис. 2) [Первые рыболовы..., 1998, гл. 9; Вострецов, 2001].

Примерно в то же время в континентальных районах Восточной Маньчжурии существовали раннеземледельческие культуры, близкие к зайсановской [Вострецов и др., 2003].

Событие 1. В конце атлантического периода в голоцене в интервале 5 400–5 200 л.н. произошло небольшое похолодание климата и падение уровня моря (см. рис. 1). Эти события совпадают с концом третьего этапа эволюции бойсманской гончарной традиции, когда распространение данной культуры минимизировалось [Морева, 2005]. Те же экологические изменения, вероятно, инициировали продвижение ранних земледельцев в западные континентальные районы Приморья. Этот процесс, начавшийся в Северном Китае где-то в начале климатического оптимума голоцена (7 500 л.н.), был длительным [Алкин, 2000]. В Приморье наблюдался его конечный этап – появление и распространение групп населения с новой культурной традицией, которую мы назвали традицией веревочной керамики в рамках зайсановской культуры [Вострецов, 2005]. Мигранты принесли с собой новые технологии обработки камня и керамическую традицию, характер их расселения был иным, они также сформировали новую систему жизнеобеспечения, включавшую земледелие, т.е. новую адаптацию [Там же]. На поселении Кроуновка-1 ранние земледельцы с традицией веревочной керамики жили долго, более 500 лет (в стратиграфии памятника прослеживаются четыре этапа заселения). Они выращивали просо обычное (*Panicum miliaceum*) и периллу (*Perilla* sp.) (определения Е.А. Сергушевой). Кроме того, занимались охотой, рыбной ловлей и собирательством мелких речных улиток, маньчжурских орехов и желудей (последние служили ресурсом углеводов в случае неурожая проса). Но место для поселения было выбрано исходя именно из потребностей земледелия. Земли в средних течениях рек, впадающих в р. Раздольную, по оценкам почвоведа Г.И. Иванова [Андреева и др., 1984], самые плодородные в Приморье и соседних районах Маньчжурии.

Со существование двух групп населения, с земледельческой и рыболовно-охотничьесобирательской адаптациями, обитавших каждая в своей зоне, продолжалось до конца теплого атлантического периода голоцена.

Событие 2. После 5 000 л.н., на рубеже атлантического и суббореального периодов голоцена, началось значительное похолодание климата (см. рис. 1). Пик экологических изменений приходится на интервал 4 700–4 300 л.н. Они привели к повсеместной нехватке доступных ресурсов у бойсманского населения, что требовало адаптации системы жизнеобеспечения и всего социального поведения к новым условиям. Эта задача оказалась бойсманцам не под силу, вероятно,

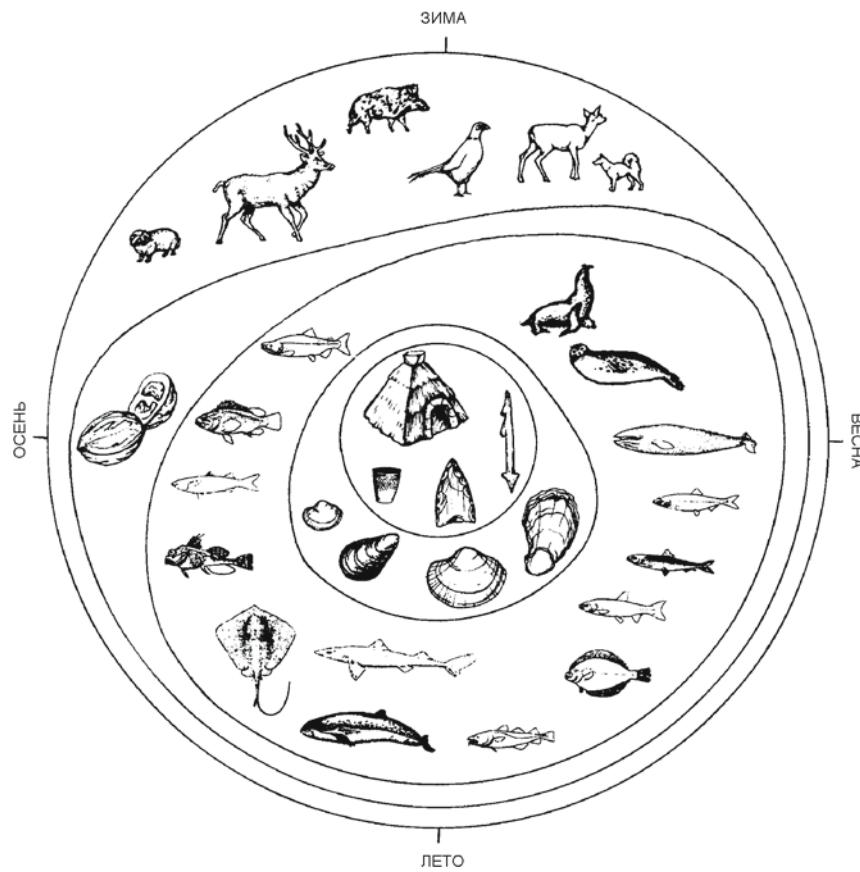


Рис. 2. Годичный цикл жизнеобеспечения поселения Бойсмана-1 ок. 5 500 л.н.
(по:[Первые рыболовы..., 1998, гл. 9]).

из-за быстротечности и значительности природных изменений. Так или иначе, мы наблюдаем затухание бойсманской культурной традиции после окончания атлантической фазы голоцена, ок. 5 000 л.н.

С похолоданием климата в начале переходного периода от атлантика к суббореалу население континентальных районов Приморья, включая долину р. Кроуновки (Кроуновка-1), начинает расселяться в разных направлениях. На побережье зал. Петра Великого ранние земледельцы с традицией веревочной керамики оставили памятники Рыбак-1 [Гарковик, 2003], Бойсмана-2 [Морева и др., 2002], Зайсановка-7, Посьет-1; на южном берегу оз. Ханка – Лузанова сопка-2 [Попов и др., 2003]; на восточном побережье Приморья – Устиновка-8 [Крупянко, Табарев, 2004].

В интервале 4 700–4 500 л.н., когда экологические изменения достигли своего пика, на песчаной косе, отделявшей палеолагуну в устье р. Гладкой от бух. Экспедиции, уже существовало поселение Зайсановка-7. Его обитатели сформировали новую систему жизнеобеспечения, основанную на эксплуатации морских ресурсов (рис. 3). Они ловили

рыбу в течение всего года (26 видов – определения А.В. Елифановой и Л.Н. Беседнова), собирали моллюсков, охотились на наземных и морских млекопитающих, а также перелетных птиц. Углеводная компонента диеты обеспечивалась собирательством желудей, маньчжурских орехов и лещины, которые запасались до следующего урожая в больших ямах. Кроме того, жители поселка собирали виноград, черемуху, бархат. На памятнике обнаружены многочисленные косвенные свидетельства земледелия – ручные плуги (карэ), мотыги, жатвенные ножи, терочки, аналогичные известным по материалам поселений земледельцев того времени в Маньчжурии и Корее [Choe Chong Pil, 1990; Вострецов и др., 2002].

Таким образом, выбор места для поселения и реконструированный годичный хозяйственный цикл свидетельствуют о том, что обитатели неолитического поселка Зайсановка-7 создали ок. 4 500 л.н. на побережье систему жизнеобеспечения, основными стабилизирующими компонентами которой были прибрежное морское рыболовство, собирательство желудей и частично охота.

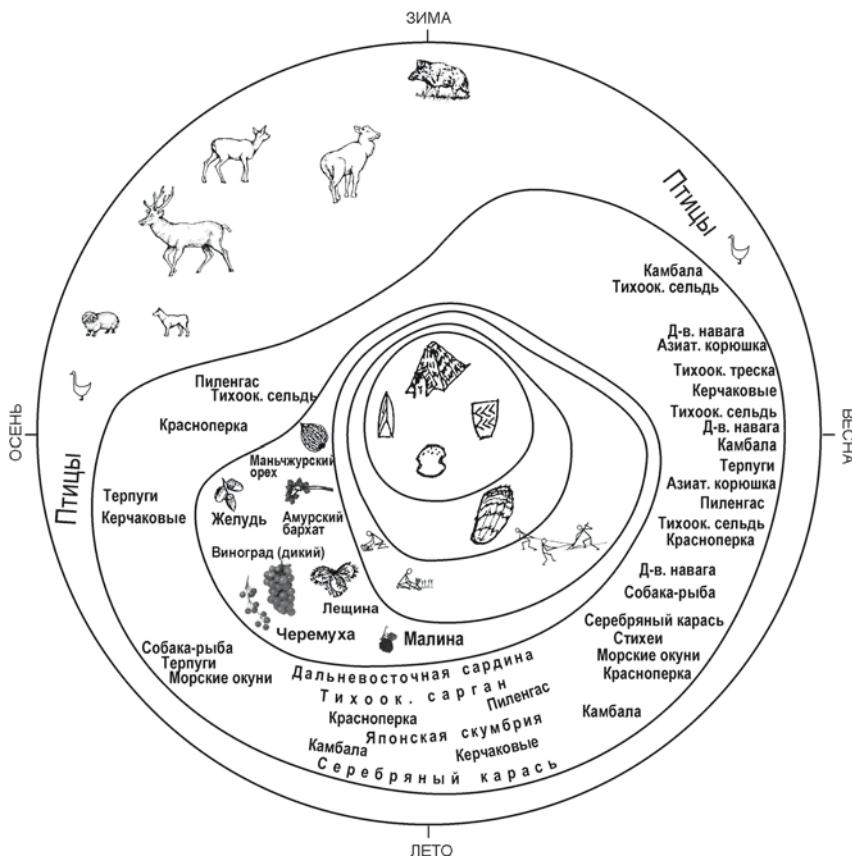


Рис. 3. Годичный цикл жизнеобеспечения поселения Зайсановка-7 ок. 4 500 л.н.

Впоследствии земледельцы, носители зайсановской культурной традиции в различных ее вариантах, расселились по территории всего Приморья [Вострецов, 2005]. Обращаясь к региональным данным, мы видим, что с рубежом атлантик–суббореал коррелирует, по самой распространенной в Японии хронологической шкале, переход от раннего дзёмана к позднему [Aikens, Higuchi, 1982; Rowley-Conwy, 1984]. На соседнем с Приморьем Корейском п-ове на данном рубеже фиксируется переход от раннего неолита к позднему в северной его части [Ким Ёнган, Сон Рянгу, 1991; Со Кук Те, 1986] и к среднему в южной [Им Хёдже, 1988]. При этом отмечаются значительные изменения в системах жизнеобеспечения [Чхве Джонхиль, 2001]. В некоторых районах Северного Китая также обнаружены свидетельства драматических социальных изменений, происходивших после 4 600 л.н. [Ren Shinan, 2001]. В интервале от 5 000 до по меньшей мере 4 300 л.н. культивирование риса из континентальных районов Китая распространилось на юго-восточное побережье [Tialong Jiao, 2004].

Насколько значительными были природные изменения на рубеже атлантик–суббореал, можно судить

по адаптивным реакциям населения других районов мира. Так, на южном и северном побережьях Перу с этим временем связан переход к раннему земледелию [Башилов, 1999].

Событие 3. В суббореальный период, начало которого характеризуется потеплением климата, в континентальных районах Приморья земледельческая адаптация продолжала существовать у более поздних носителей зайсановской культуры, оставивших приханкайскую группу памятников: поселения Новоселище-4 (нижний слой), Кроуновка-1 (раскопки А.П. Окладникова), Реттиховка-геологическая, Мустанг-1, Боголюбовка-1, Анучино-14. Ухудшение агроклиматических условий в результате похолодания климата в интервале 3 600–3 300 л.н. обусловило миграцию части населения континентальных районов на побережье Южного и Юго-Восточного Приморья, о чем свидетельствует восточная группа приханкайских памятников, таких, как Евстафий-4, Сопка Большая [Яншина, 2001, 2003; Вострецов, 2005]. Кроме того, к этому периоду относится появление маргаритовской археологической культуры на побережье Восточного Приморья. Все известные даты маргаритовских памятников (Глазковка-2, Евстафий-Олег-1,

Преображене-1, Заря-3, Монастырка-3) соотносятся с данным интервалом [Яншина, Клюев, 2005]. С этой культурой мы, вслед за ее первооткрывателями [Гарковик, 1967; Андреева, 1970], связываем переход к эпохе бронзы. Вполне вероятно, что в эпоху палеометала сохранились в укромных местах земледельческие группы населения, оставившие приханкайские памятники, датируемые концом данного интервала и последующим временем.

В континентальном и прибрежном Перу с интервалом 3 400–3 200 л.н. [Массон, 1970] или несколько более поздним временем (ок. 3 000 л.н.) связывается распространение маиса и новой культурной традиции.

Итак, с тремя рассмотренными интервалами связаны появление различных групп населения и первая стадия распространения земледелия в Приморье [Вострецов, 2005], которая продолжалась примерно до наступления раннего железного века, т.е. до 2 500 л.н.

Событие 4. С интервалом 2 500–2 200 л.н. связана вторая стадия распространения земледелия в Приморье. Примерно с V в. до н.э. в континентальных районах Приморья, в зоне современной границы КНДР и Китая, существовала кроуновская (туанцзе) археологическая культура (летописные племена воцзи). Кроуновское население представляло собой сельские сообщества без заметной социальной стратификации. Они выращивали просо, ячмень и пшеницу [Янушевич и др., 1990; Вострецов, 1987; Vostretsov, 1999; Вострецов, 2005], используя грядковую систему земледелия, следы которой обнаружены на поселении Кроуновка-1 в 2003 г.

Начиная с VIII в. до н.э. в прибрежной зоне Южного Приморья, включая территорию современной пров. Сев. Хамгён (КНДР), обитали носители янковской археологической культуры. Их система жизнеобеспечения базировалась на широкой эксплуатации морских ресурсов. В то же время на небольшом удалении от побережья или на тех его участках, где влияние моря было не таким выраженным, определенную роль играло культивирование проса и ячменя. Численность и плотность янковского населения достигала максимума в прибрежной зоне [Андреева и др., 1986]. По сравнению с кроуновским, это население имело более сложную социальную организацию (различные размеры и структура жилищ).

В конце IV – начале III в. до н.э. резкое похолодание климата и падение уровня моря подорвали экономику носителей янковской культуры. С этого времени началось постепенное расселение избыточной части земледельцев-кроуновцев в прибрежные районы Южного и Юго-Восточного Приморья. Они ассимилировали часть янковского населения. С миграцией носителей кроуновской культуры связана изменение их систем жизнеобеспечения и рассе-

ления, спад в материальной культуре и уменьшение плотности населения на освоенных землях. Это была цена, которую они заплатили за адаптацию к новым условиям [Vostretsov, 1999]. Примерно к рубежу эр кроуновцы заселили всю прибрежную зону за исключением побережья на территории современного Ханнского р-на, где морские ресурсы оказались более устойчивыми и разнообразными и янковское население продолжало существовать.

Наблюдается определенное совпадение природных изменений, исходных ситуаций и времени экспансии земледельцев на севере (кроуновская культура) и на юге (культура яёй) бассейна Японского моря [Akazawa, 1982; Vostretsov, 1999], результатом которой было распространение “продвинутых” систем земледелия, успешно конкурировавшего с высоко развитыми морскими экономиками. Именно с этого времени земледелие начало доминировать в экономике региона, что впоследствии составило основу экономических и социальных изменений, создавших базу для образования ранних государств.

Обсуждение и выводы

Рассмотрев четыре временных интервала, с которыми мы связываем “поворотные моменты” в культурной эволюции населения Приморья и соседних районов бассейна Японского моря, видим определенное сходство в экологических ситуациях, обусловленных похолоданием климата и падением уровня моря, с одной стороны, и в вызванных ими социокультурных событиях – с другой. Наиболее явно эти последствия наблюдаются во втором и четвертом интервалах и прослеживаются во многих регионах мира, что связано с более значительными экологическими изменениями планетарного характера [Вострецов, 2005]. Все “поворотные моменты” совпадают с появлением новых культурных традиций и адаптаций, а первый, второй и четвертый – еще и с экспансией земледельцев.

В распространении земледелия в Приморье выделяются два этапа. Начало каждого из них было связано с изменением экологической ситуации (ок. 5 300 и 2 300 л.н.). Похолодание климата и падение уровня моря приводили к деградации морских систем жизнеобеспечения и депопуляции прибрежных районов, что создавало условия для проникновения на побережье новых групп населения, иных культурных традиций и систем жизнеобеспечения. Эти группы, адаптированные к земледелию, неизбежно взаимодействовали с теми, кто занимался морским промыслом в приморских районах. Возникает вопрос: почему земледельческие адаптации в конце концов победили и начали доминировать в регионе

со второго этапа? Попытаемся предложить объяснительную модель взаимодействия морских и земледельческих адаптаций на рубежах атлантик–суббореал и суббореал–субатлантико-голоцен, когда происходила смена культурных традиций.

Мы уже показали, что причиной культурных изменений во втором и четвертом “поворотных моментах” были миграционные процессы [Vostretsov, 2004]. Необходимо понять, почему происходили миграции, а не культурные трансформации? На наш взгляд, наиболее перспективно искать объяснения в области сравнения плотности континентального населения с земледельческой адаптацией и прибрежного с морской адаптацией, а также сложности их социальной организации. Мы знаем, что какое-то время эти группы существовали в пределах своих ареалов.

Как известно из этнографических данных, плотность и численность населения прибрежных районов выше, чем родственных им континентальных жителей [Yesner, 1980]. Концентрация археологических памятников на побережье Приморья в несколько раз превышает таковую во внутренних районах. Кроме того, прибрежные обитатели с морской адаптацией часто отличаются и более сложной социальной структурой, и воинственностью, что связано с высокой плотностью населения и конкуренцией за ресурсы [Ibid].

Таким образом, в стабильной ситуации континентальные группы земледельцев вряд ли могли заместить путем простой территориальной оккупации прибрежное население с морской адаптацией, которое явно превосходило их по численности и сложности социальной организации. Для выживания гораздо выгоднее было не вступать в прямые конкурентные отношения и сосуществовать на отдельных территориях, что мы и наблюдаем в конце атлантического периода. Иная ситуация складывалась, когда в результате похолодания и регрессии уровня моря сузжалась ресурсная база. Давление среды испытывали как континентальные, так и прибрежные жители, что заставляло их искать какие-то адаптивные решения, связанные с поиском недостающих или альтернативных ресурсов. Но и тогда континентальное население вряд ли было способно оккупировать прибрежные территории с их обитателями. Оккупация могла состояться только в том случае, если бы эти районы в какой-то степени обезлюдили.

Наиболее универсальная экологическая причина депопуляции – разрушение привычной ресурсной базы. Основным фактором ее разрушения в прибрежной зоне было падение уровня моря в результате похолодания. Известно, что эти экологические события в переходный период от атлантика к суббореалу (4 900–4 300 л.н.) и в начале субатлантика (2 200–2 100 л.н.) голоцен предшествовали культур-

ным изменениям на юге Приморья. Археологические данные (заселение тех же мест, разница в датах, стратиграфия) подтверждают, что континентальные группы переселились в прибрежные районы, когда те уже в основном обезлюдили.

Таким образом, по имеющимся данным можно определить некоторые универсальные характеристики модели проникновения земледелия в береговые зоны:

- земледелие распространяется на новые территории после и в результате каких-либо экологических стрессов, которые разрушают ресурсные базы и системы жизнеобеспечения и приводят к депопуляции;

- его продвижение на освободившиеся территории происходит быстро и имеет волнобразнопульсирующий характер [Первые рыболовы..., 1998, гл. 8];

- появление земледелия связано с приходом нового населения с иной, более устойчивой культурной традицией жизнеобеспечения.

Все эти черты мы наблюдаем как в Приморье, так и в Японии во втором и четвертом интервалах.

Список литературы

Алкин С.В. Две проблемы ранней эволюции неолитических культур Северо-Восточного Китая // Общество и государство в Китае: Мат-лы 13-й науч. конф. – М.: Вост. лит., 2000. – С. 7–14.

Andreева Ж.В. Древнее Приморье (железный век). – М.: Наука, 1970. – 145 с.

Andreева Ж.В., Вострецов Ю.Е., Иванов Г.И. Хозяйственная адаптация населения кроуновской культуры на юге Приморья // История развития почв СССР в голоцене: Тез. докл. Всесоюз. конф. – Пущино, 1984. – С. 237–238.

Andreева Ж.В., Жущиховская И.С., Кононенко Н.А. Янковская культура. – М.: Наука, 1986. – 216 с.

Башилов В.А. Неолитическая революция в Центральных Андах: Две модели палеоэкономического процесса. – М.: Наука, 1999. – 206 с.

Вострецов Ю.Е. Жилища и поселения железного века юга Дальнего Востока СССР (по материалам кроуновской культуры): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Л., 1987. – 20 с.

Вострецов Ю.Е. Природа и человек на юге Приморья в среднем голоцене // Вестн. ДВО РАН. – 2001. – № 4. – С. 92–111.

Вострецов Ю.Е. Взаимодействие морских и земледельческих адаптаций в бассейне Японского моря // Российский Дальний Восток в древности и средневековье: открытия, проблемы, гипотезы. – Владивосток: Дальнаука, 2005. – С. 159–186.

Вострецов Ю.Е., Гельман Е.И., Кумамото М., Мицумото К., Обата Х. Новый керамический комплекс неолитического поселения Кроуновка-1 в Приморье // Проблемы археологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Центральной Азии: Мат-лы Междунар. конф. “Из века в

век”, посвященной 95-летию со дня рождения академика А.П. Окладникова и 50-летию Дальневосточной археологической экспедиции РАН. – Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 2003. – С. 86–93.

Вострецов Ю.Е., Короткий А.М., Беседнов Л.Н., Раков В.А., Епифанова А.В. Изменение систем жизнеобеспечения у населения устья р. Гладкой и залива Посытья в среднем голоцене // Археология и культурная антропология Дальнего Востока. – Владивосток: ДВО РАН, 2002. – С. 3–41.

Гарковик А.В. Новая группа памятников Восточного Приморья (III–II тыс. до н.э.) // Тр. ДВФ СО АН СССР. Сер. ист. – 1967. – Т. 7. – С. 15–17.

Гарковик А.В. Неолитический керамический комплекс многослойного памятника Рыбак-1 на юго-западном побережье Приморья // Проблемы археологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Центральной Азии: Мат-лы Междунар. конф. “Из века в век”, посвященной 95-летию со дня рождения академика А.П. Окладникова и 50-летию Дальневосточной археологической экспедиции РАН. – Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 2003. – С. 94–100.

Им Хёдже. Гребенчатая керамика западного побережья Кореи // Хангук Когохакпо. – 1988. – № 21. – С. 1–18 (на кор. яз.).

Ким Ёнган, Сон Рянгу. Чосон кокохакджёнсо (Полная история Кореи). – Пхеньян: Куахаквеккуасаджён джонханса, 1991. – Т. 1. – 276 с. (на кор. яз.).

Короткий А.М. Колебания уровня моря и ландшафты прибрежной зоны Японского моря (этапы развития и тенденции) // Вестн. ДВО РАН. – 1994. – № 3. – С. 107–123.

Крупянко А.А., Табарев А.В. Древности Сихотэ-Алиня: Археология Кавалеровского района. – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та. – 2004. – 76 с.

Массон В.М. Проблема неолитической революции в свете новых данных археологии // Вопр. истории. – 1970. – № 6. – С. 73–89.

Морева О.Л. Керамика бойсманской культуры (по материалам памятника Бойсмана-2): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Новосибирск, 2005. – 26 с.

Морева О.Л., Попов А.Н., Фукуда М. Керамика с вееровальным орнаментом в неолите Приморья // Археология и культурная антропология Дальнего Востока и Центральной Азии. – Владивосток: ДВО РАН, 2002. – С. 57–68.

Первые рыболовы в заливе Петра Великого: Природа и древний человек в бухте Бойсмана. – Владивосток: ДВО РАН, 1998. – Из содр.: Гл. 1: Географическая среда и культурная динамика в среднем голоцене в заливе Петра Великого (А.М. Короткий, Ю.Е. Вострецов). – С. 9–29; Гл. 8: Место бойсманской культуры в контексте развития неолита в северо-западной части бассейна Японского моря (Ю.Е. Вострецов, А.В. Загорулько). – С. 354–370; Гл. 9: Реконструкция образа жизни, жизнеобеспечения и динамики заселения в б. Бойсмана в неолите (Ю.Е. Вострецов) – С. 371–389.

Попов А.Н., Морева О.Л., Крутых Е.Б., Батаршев С.В. Новые исследования памятника Лузанова сопка-2 в юго-западном Приморье в 2003 г. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Мат-лы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2003 г., посвященной 95-летию со дня

рождения академика А.П. Окладникова. – Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 2003. – Т. 9, ч. 1. – С. 208–213.

Со Кук Те. Чосонвы синсоккисидэ. (Неолит Кореи). – Пхеньян: Сахэкуахакчульханса, 1986. – 156 с. (на кор. яз.).

Чхве Джонпхиль. Новый взгляд на неолит Кореи // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2001. – № 3 (7). – С. 39–50.

Янушевич З.В., Вострецов Ю.Е., Макарова С.В. Палеоботанические находки в Приморье. – Владивосток: ДВО РАН, 1990. – 36 с.

Яншина О.В. Финальный неолит – бронзовый век Приморья: Систематизация археологических памятников: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Владивосток, 2001. – 18 с.

Яншина О.В. К проблеме однородности зайсановской археологической культуры Приморья // Археология и социокультурная антропология Дальнего Востока и сопредельных территорий. – Благовещенск: Изд-во Благовещ. гос. пед. ун-та, 2003. – С. 109–121.

Яншина О.В., Клюев Н.А. Поздний неолит и ранний палеометалл Приморья: Критерии выделения и характеристика археологических комплексов // Российский Дальний Восток в древности и средневековье: открытия, проблемы, гипотезы. – Владивосток: Дальнаука, 2005. – С. 187–233.

Aikens C.M., Higuchi T. Prehistory of Japan. – L.: Academic Press, 1982. – 354 p.

Akazawa T. Cultural change in prehistoric Japan: the receptivity process of rice culture in the Japanese archipelago // Recent Advance in World Archaeology. – L.: Academic Press, 1982. – Vol. 1. – P. 151–211.

Choe Chong Pil. Origins of Agriculture in Korea // Korea Journal. – 1990. – Vol. 30, N 11. – P. 4–14.

Ren Shinan. The Emergence and Development of Neolithic Settlement in Ancient China // Chinese Archaeology. – 2001. – Vol. 1. – P. 7–10.

Rowley-Conwy P. Postglacial foraging and early farming economics in Japan and Korea: a west European perspective // World Archaeology. – 1984. – Vol. 16. – N 1: Coastal archaeology. – P. 28–42.

Tialong Jiao. Maritime Adaptation and Agriculture in the Neolithic of Coastal Southeast China: Implications for Proto-Austronesian Expansions // Third Intern. Congr. Society for East Asian Archaeology (SEAA): Abstracts. – Daejeon: Chunham National University, 2004. – P. 26.

Vostretsov Y.E. Interaction of Maritime and Agricultural adaptation in the Japan sea Basin // The Prehistory of Food, Appetites for Change / Eds. J. Hather and C. Gosden. – L.: Routledge, 1999. – P. 322–332. – (One World Archaeology; Vol. 32).

Vostretsov Y.E. Environment Changes and Migrations: Case Study // East Asia and Japan: Interaction and transformations: Bulletin of Japan Society for the Promotion of Science 21-st Century COE Program (Humanitaries) Kyushu Univ. – 2004. – Vol. 2. – P. 51–61.

Yesner D.R. Maritime Hunter-Gatherers: Ecology and Prehistory // Current Anthropology. – 1980. – Vol. 21, N 6. – P. 727–750.

ЭПОХА ПАЛЕОМЕТАЛЛА

УДК 903.2

Л.А. Бобров¹, Ю.С. Худяков²

¹Новосибирский государственный университет
ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия

E-mail: spsm@mail.ru

²Институт археологии и этнографии СО РАН
пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия

E-mail: khudjakov@ngs.ru

ПАРАДНЫЕ МОНГОЛЬСКИЕ ШЛЕМЫ ЭПОХИ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА*

Введение

Одна из важнейших функций средств индивидуальной защиты со времени их появления в процессе развития военного дела в древности – предохранение головы воина от поражающих ударов наступательным оружием противника. Необходимость защитных наголовий была осознана еще до освоения металлургии и металлообработки в связи с распространением такого грозного ударного оружия, как каменный сверленый боевой топор. Одного удара этим топором по голове было достаточно, чтобы вывести противника из строя. Наиболее древние боевые наголовья и иные средства защиты головы, вероятно, изготавливались из органических материалов [Горелик, 1993, с. 154]. Изобретение и распространение бронзолитейного производства и технологии тонкостенного литья в развитом бронзовом веке открыло широкие возможности для изготовления крупных металлоемких предметов вооружения, в т.ч. и защитного. В Центрально-Азиатском регионе наиболее древние из известных к настоящему времени литых бронзовых шлемов происходят из плиточных могил эпохи поздней бронзы в Монголии [Варёнов, 1994, с. 91; Эрдэнэбаатар, Худяков, 2000, с. 140; Худяков, 2001, с. 60–63]. Бронзовые боевые наголовья со сферическим или коническим куполом и деко-

ративным оформлением применяли для защиты и воины кочевых народов скифского времени. Шлемы из бронзы, относящиеся к раннему железному веку, найдены на Алтае и в Средней Азии [Горелик, 1993, с. 168–170; Худяков, Табалдиев, Солтобаев, 2001, с. 101–104]. Наиболее древние боевые наголовья из железа, обнаруженные в погребениях центрально-азиатских nomadов, датируются сяньбийским временем. В могильнике Лаохэшэн в Маньчжурии были найдены шлемы, составленные из узких железных пластин, соединенных кожаными шнурами, увенчанные полусферическими навершиями [Рец, Юй Су-Хуа, 1999, с. 50; Худяков, Юй Су-Хуа, 2000, с. 41; Бобров, Худяков, 2005, с. 137–139; Горбунов, 2005, с. 214]. В последующий период средних веков железные шлемы различной конструкции использовались воинами многих кочевых государств Центральной Азии: древними тюрками, уйгурами, кыргызами, кимаками, киданями, монголами и др. [Горелик, 1979, тал. 97–99; 1987, с. 168; Худяков, 1980, с. 129; 1991, с. 85; 1997, с. 53]. Большинство таких находок в Южной Сибири и Центральной Азии относится к эпохе позднего средневековья [Горелик, 1979, тал. 99; Бобров, Худяков, 2003, с. 141–144; Худяков, Бобров, 2003; Войтов, Худяков, 2004, с. 102]. Ввиду сравнительной редкости и большой ценности практически все они неоднократно анализировались, атрибутировались и публиковались.

Помимо своей основной, защитной, функции, боевые наголовья, так же как и воинские головные

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 04-06-80248).

уборы, выполняли исключительно важную, социально значимую символическую роль, указывая на принадлежность шлемоносца к воинскому сословию, касте профессиональных воинов или высшей военной аристократии. В позднесредневековой Монголии даже существовал специальный термин, обозначавший воина в шлеме, – «дуулгат».

В древности шлемы, изготовленные из дефицитного цветного металла, очень высоко ценились. Они богато украшались птичьими перьями, пучками конского волоса, рогами и другими деталями, выполнявшими социально значимую, отличительную, символически оберегающую или устрашающую функции. О шлемах выдающихся богатырей и военачальников, так же как и об их доспехах, слагались легенды, им приписывались магические свойства, оберегающие их владельцев от вредоносного воздействия со стороны врагов. По оформлению шлема легендарный герой или реальный военный деятель мог получить отличительное прозвище, под которым вошел в мифологию и историческую память народов, на чьих землях совершил свои исторические деяния. Таковым было прозвище великого полководца древности Александра Македонского Зулкарнайн – Двурогий Искандэр, данное персами, принявшими его шлем, украшенный изображением крыльев греческой богини победы Ники, за устрашающие рога. Отличительные особенности боевых наголовий военачальников не только выделяли их среди массы рядовых воинов, но и служили важными опознавательными знаками, которые позволяли подчиненным видеть своих вождей во время боя благодаря высоким навершиям, сultanам и пломажам на шлемах. Сознание того, что их предводитель, непобедимый и неуязвимый, сражается вместе с ними, внушало уверенность в победе рядовым воинам. В то же время падение шлема вследствие гибели, ранения или пленения знатного шлемоносца, вождя или полководца могло вселить в его соплеменников неуверенность в своих силах, подорвать их веру в успех сражения, вызвать панику и привести к поражению в битве [Ратцель, 1904, с. 209].

В средние века, когда железные шлемы стали необходимой принадлежностью защитной экипировки профессиональных воинов, дружины или рыцарей, подобную символическую функцию выполняли богато украшенные и орнаментированные парадные боевые наголовья знатных воинов и военачальников.

Каждая такая находка представляет собой исключительную ценность, потому что некоторые парадные шлемы принадлежали выдающимся историческим личностям, изготавливались и орнаментировались по индивидуальному заказу. Ввиду своей особой ценности такие боевые наголовья использо-

вались и для дипломатических целей. Богато украшенные, чеканенные золотом и серебром, парадные шлемы и доспехи было принято преподносить в качестве подарков иноземным правителям, чтобы расположить их на свою сторону и добиться необходимого действия или решения. В ведущих российских музеях, в Оружейной палате Московского Кремля и Государственном Эрмитаже хранятся и экспонируются парадные шлемы монгольских и ойратских знатных воинов и военачальников, относящиеся к эпохе позднего средневековья и Новому времени. Они были преподнесены в качестве дипломатических даров халха-монгольскими ханами и джунгарскими контайшами московским царям, захвачены наряду с другими военными трофеями или приобретены состоятельными коллекционерами. Среди этих музейных экспонатов вполне самостоятельный интерес представляют парадные шлемы из собрания Государственного Эрмитажа из экспозиции, посвященной культуре средневековой Монголии*.

Из истории изучения монгольских парадных шлемов из эрмитажного собрания

В прошлом рассматриваемые нами боевые наголовья неоднократно привлекали внимание историков оружия и специалистов-музееведов. По имеющимся сведениям, эти три экспоната первоначально хранились в Царскосельском Арсенале, созданном в 1811 г., откуда были переданы в собрание Императорского Эрмитажа.

Наибольшим вниманием ученых пользовался шлем с изображениями драконов на куполе. В описи коллекций Эрмитажа 1891 г. он обозначен как “монгольский шишак мисюрка, с нащечниками, кольчужным затыльником, из вороненой стали, с золотой насечкой и камнями” и датирован XIII–XIV вв. [Императорский Эрмитаж..., 1891, с. 363]. Однако на рисунке не изображены науши и назатыльник. Возможно, в описание включены данные, относящиеся к другому монгольскому шлему из эрмитажного собрания, у которого были такие детали. В 1894 г. шлем с изображениями драконов был описан П. фон Винклером в книге, посвященной оружию всех стран и народов: “Шишак, вероятно XIV-го столетия, найденный в Великом Сарае”, изготовлен “из вороненой стали и покрыт золотою насечкою, представляющею драконов и разводы”. На приведенном в книге рисунке шлем изображен в одной проекции – спереди. Весьма

* Авторы благодарят М.Г. Крамаровского и Ю.И. Елихину за возможность ознакомиться с этими материалами и использовать их для настоящей публикации.

подробно, во всех деталях, показаны орнаментированное навершие с султаном, покрытие орнаментом накладная полоса, обруч и “коробчатый” козырек. На куполе, с обеих сторон от накладной полосы, изображены картины с драконами в обрамлении облаков, языков пламени и завитков [Винклер, 1894, с. 303, рис. 327]. Впоследствии этот рисунок часто воспроизводился российскими и зарубежными авторами в научных и научно-популярных работах, посвященных искусству средневековой Монголии.

В 1908 г. краткое описание всех трех парадных шлемов было опубликовано известным специалистом по истории оружия Э.Э. Ленцем в каталоге коллекций предметов вооружения из собрания Императорского Эрмитажа, относящихся к средним векам и эпохе Возрождения. Упомянутое выше боевое наголовье охарактеризовано там следующим образом: “Монгольский шлем, склепанный из двух частей на железных пластинах. Вороненая тулья украшена четырьмя картушами с изображением драконов; на прикрепленном венце сохранился только узкий козырек, уши же и затылок утеряны” [Ленц, 1908, с. 155]. В сводной таблице “восточных шлемов” приведена фотография этого экземпляра (вид спереди).

Относительно другого боевого наголовья цилиндрической формы Э.Э. Ленц отметил, что оно было прислано в Санкт-Петербург «в 1845 году из Сибири Варрандом; коническая тулья украшена фигурой божества с саблею в руках, обвитого змеями и окруженного пламенем, каковое изображение относится к одному из тибетских демонов “дукшитов”, защитников веры, поклонение которым перешло в Монголию. Тулья, выкованная из цельного куска, на克莱ана на край прямого венца, отогнутый под прямым углом». Ученый отметил, что для объяснения фигуры божества он воспользовался консультацией С.Ф. Ольденбурга [Там же, с. 154]. В таблице “восточных шлемов” это боевое наголовье показано только спереди.

Третий шлем охарактеризован историком оружия еще более лаконично: “Железный монгольский шлем, склепанный из трех частей, по швам наложены толстые прорезные полосы; вся тулья покрыта широкими разводами набивного серебра в китайском вкусе. Шлем найден в Сибири” [Там же]. В таблице “восточных шлемов” это наголовье также изображено в одной проекции – спереди.

В каталоге собрания оружия Э.Э. Ленцем упомянут еще один, четвертый “монгольский шлем, склепанный из двух половин на подложенной железной полосе; с лицевой стороны шов закрыт медными прорезными полосками с изображением драконов среди тонких растительных разводов. Уши и затылок подвешены на цепочках, козырек узкий” [Там же, с. 155]. К сожалению, данный экземпляр почему-то

не приведен в сводной таблице “восточных шлемов”. Судя по описанию, он отличался от всех трех вышеуказанных экспонатов.

Два парадных монгольских шлема из эрмитажного собрания были использованы М.В. Гореликом для реконструкции защитного вооружения монголов эпохи позднего средневековья. Исследователь датировал их XV–XVIII вв. и высказал предположение, что монгольские шлемы послужили основой для последующего развития маньчжурских боевых наголовий [Горелик, 1979, тал. 99; рис. 5, а, б].

Один из трех парадных шлемов был проанализирован нами, датирован XVI–XVII вв. и включен в сводную классификацию позднесредневековых боевых наголовий: он отнесен к четвертому варианту первого типа. Мы также отметили некоторые моменты в истории его изучения. В сводной таблице этот шлем впервые изображен в профиль, с левой стороны, но без картушей с драконами [Бобров, Худяков, 2003, с. 141–142; табл. 1, 4].

К настоящему времени в научный оборот введены сведения общего характера о монгольских парадных шлемах из эрмитажного собрания. Только один из них классифицирован по формальным признакам и включен в классификацию боевых наголовий центрально-азиатских кочевников позднего средневековья. Между тем каждый монгольский парадный шлем заслуживает описания и всестороннего анализа.

Описание монгольских парадных шлемов

Все анализируемые парадные шлемы представляют собой богато орнаментированные высокохудожественные изделия, вероятно изготовленные по заказу. Однако по своим конструктивным особенностям они могут быть классифицированы в соответствии с разработанной ранее методикой типологической классификации предметов вооружения.

В рассматриваемой коллекции представлены изделия, относящиеся к разным типам и вариантам боевых наголовий. Все три шлема железные. Они весьма существенно различаются по характеру скрепления между собой составных деталей и особенностям декоративного оформления. Один относится к шлемам с клепаной тулей (пластины его купола соединены между собой с помощью накладок и заклепок), два других – с цельнокованой. Все три экспоната имеют овальную в сечении тулью. По форме купола они относятся к разным типам, а по наличию дополнительных деталей каждый может быть выделен в отдельный вариант.

Шлем с клепаной тулей (инв. № 3657) относится к типу сфероконических (рис. 1, 2). В оружиеведчес-



Рис. 1. Парадный монгольский сфероконический шлем.



Рис. 3. Парадный монгольский цилиндроконический шлем.

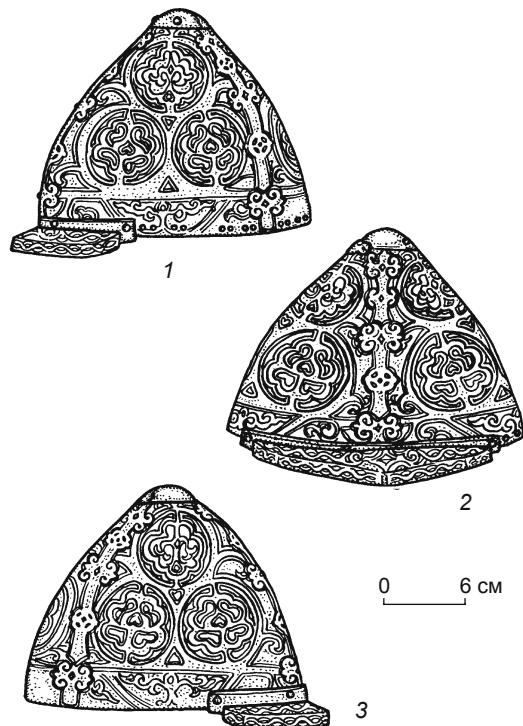


Рис. 2. Прорисовка парадного монгольского сфероконического шлема.
1 – вид с левой стороны, 2 – спереди, 3 – с правой стороны.

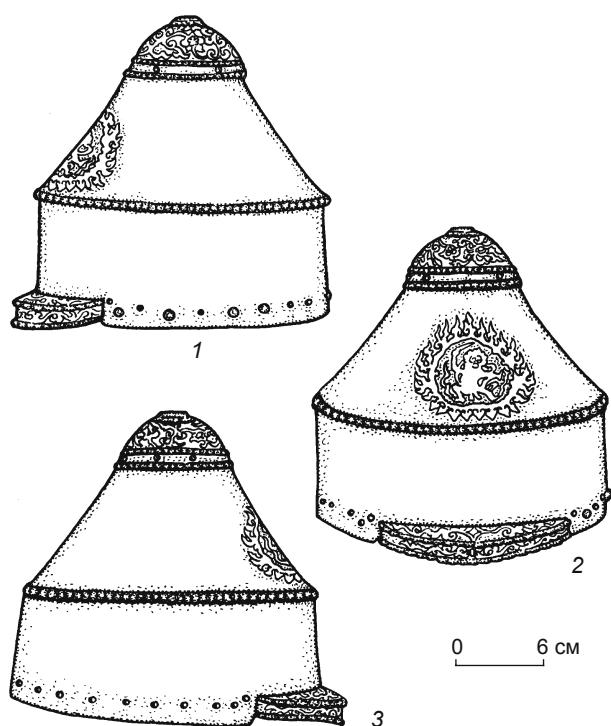


Рис. 4. Прорисовка парадного монгольского цилиндроконического шлема.
1 – вид с левой стороны, 2 – спереди, 3 – с правой стороны.

ких исследованиях таким термином обозначаются шлемы со сферическим куполом и коническим навершием. По наличию у этого экземпляра своеобразного “коробчатого” козырька, на лобной пластины и полусферического навершия его можно выделить

в отдельный вариант сфероконических шлемов – с “коробчатым” козырьком и полусферическим навершием. Согласно сведениям из каталога Э.Э. Ленца, данный экземпляр был привезен из Сибири [1908, с. 154]. Купол шлема составлен из трех треуголь-

ных пластин – секторов, сходящихся к вершине. По соединительным швам узкие накладки с пятью фигурными расширениями в виде прорезных кругов и двусторонних завитков с ромбическим отверстием в центре. Купол увенчан полусферическим навершием с заклепками. Спереди к нижнему краю тульи приклепана узкая налобная пластина, к которой крепится неширокий пятиугольный козырек, состоящий из горизонтальной и отогнутой вниз полос. Высота шлема с навершием 18 см, навершия – 1,5 см; диаметр тульи по нижнему краю 22,5 см; длина козырька 15 см, ширина – 3,5, высота – 0,7 см.

Поверхность тульи орнаментирована, по словам Э.Э. Ленца, “широкими разводами набивного серебра в китайском вкусе” [Там же]. На каждом секторе вычеканено по три несомкнутых круга. Внутри верхнего изображен ромбик с отогнутыми в обе стороны завитками и сердечком под ним; в центре нижних – сердечки в обрамлении четырех изогнутых фигур. Между кругами также сердечки. По краям секторов вогнутые фигуры с приостренными концами. По нижнему краю купола вычеканена широкая полоса растительного орнамента. Поверхность козырька орнаментирована чеканеным узором в виде переплетающихся побегов виноградной лозы. Вдоль нижнего края купола с левой стороны имеется шесть пар сквозных округлых отверстий. Вероятно, с их помощью к шлему крепилась бармица.

Из двух шлемов с цельнокованым куполом один (инв. № 1274) относится к типу цилиндроконических, к варианту с “коробчатым” козырьком и полу-сферическим навершием (рис. 3, 4). Этот экземпляр также был привезен из Сибири [Там же]. Шлем имеет необычную для Центральной Азии конструкцию купола. Тулья состоит из двух элементов: широкой цилиндрической нижней части и цельнокованой конической верхней. В месте их соединения – декоративный ободок из небольших выпуклостей. Еще два таких же ободка, разделенных рядом заклепок, расположены на верхней части купола под полу-сферическим навершием. Последнее украшено чеканенным золотом узором в виде переплетающихся растительных побегов, стилизованных листьев и завитков. Вероятно, прототипом подобного орнамента является изображение извивающихся побегов виноградной лозы. На макушке навершия располагается многолепестковая розетка с отверстием, в которое укреплялась втулка для плюмажа. Спереди на верхней конической части тульи вычеканено золотом изображение буддийского хранителя веры – докшита или, по другой трактовке, дхармапалы с поднятым мечом в правой руке, в окружении извивающихся змей, в кольце огня с многочисленными языками пламени. Приклепанный заклепками “коробчатый” козырек треугольной формы украшен

узорами в виде извивающихся побегов виноградной лозы. По всему нижнему краю тульи расположен ряд округлых отверстий. В некоторых из них с левой стороны сохранились заклепки со сферическими шляпками, напоминающие по форме болты, служившие для крепления пластинчатой бармицы. Высота шлема с навершием 19,5 см, навершия – 4 см; длина козырька 11,5 см, ширина – 2,3 см, высота – 1,3 см.

Третий шлем (инв. № 2748) относится к типу боевых наголовий с коническим куполом (рис. 5–7). В отношении этого экспоната в трудах оружеведов встречается больше всего разнотечений и неточностей. В первой публикации эрмитажных коллекций он назван “монгольским шишаком мисюркой”, изготовленным из вороненой стали, и отнесен к монгольской эпохе [Императорский Эрмитаж..., 1891, с. 363]. Однако упомянутые в описании “нащечники и кольчужный затыльник” на данном экземпляре отсутствуют. Более точно описал его П. фон Винклер [1894, с. 303]. Однако предложенная им датировка шлема монгольским временем и указание в качестве места его нахождения Великого Сарая не могут быть приняты, поскольку форма и декоративное оформление этого боевого наголовья не позволяют датировать его ранее эпохи позднего средневековья, когда первая столица Золотой Орды давно лежала в руинах. В работе Э.Э. Ленца указано, что шлем “склепан из двух частей на железных пластинах” [1908, с. 155]. Однако детальный осмотр данного экспоната показал, что тулья шлема цельнокованая. Вороненый купол разделен на сектора декоративными “накладками”, не несущими функциональной нагрузки. Такой же декоративный характер имеет обруч. Купол шлема венчает полу-сферическое навершие с фестончатым краем. На макушке укреплена цилиндрическая, слегка расширяющаяся к верху втулка, в которой крепился плюмаж. К нижнему краю тульи приклепана заклепками налобная пластина. Ее центральная часть, к которой прикреплен козырек, широкая, а концы – узкие. “Коробчатый” козырек подтреугольной формы. Вдоль нижнего края тульи расположены округлые отверстия для крепления бармицы, в части которых сохранились заклепки. Высота шлема с навершием и втулкой 28 см, втулки – 6 см; диаметр тульи по нижнему краю 19 см; длина налобной пластины 12,8 см, ширина – 3,5 см; длина козырька 13 см, ширина – 1,2, высота – 1,5 см.

Шлем богато декорирован. На поверхности купола в каждом из секторов вычеканены золотом картуши, в центре которых изображен извивающийся дракон с рогатой головой, обращенной вверх, четырьмя лапами с птичьими когтями, гребнем на спине и хвосте; фигура “прорастает” побегами и цветами. Обрамление состоит из языков пламени и завитков.



Рис. 5. Парадный монгольский конический шлем.

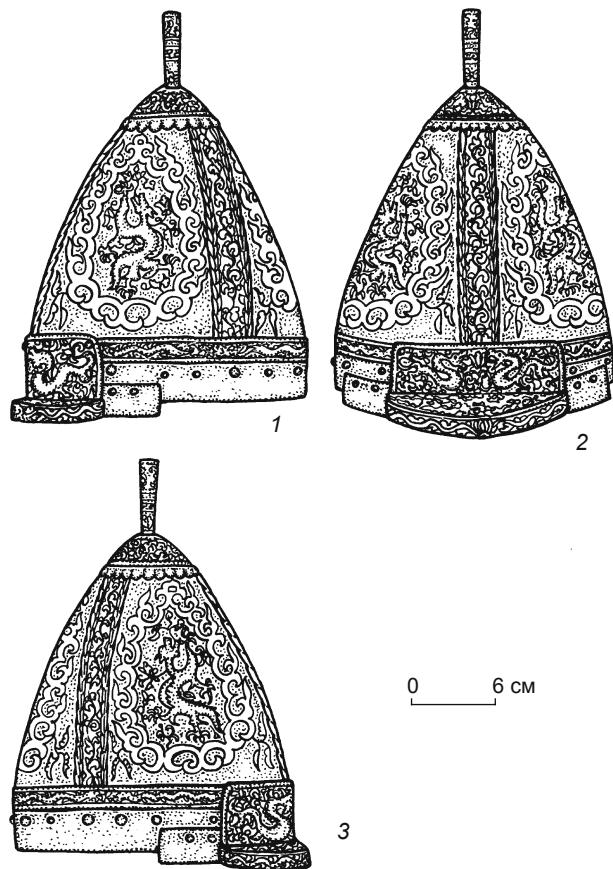


Рис. 6. Прорисовка парадного монгольского конического шлема.
1 – вид с левой стороны, 2 – спереди, 3 – с правой стороны.

В нижней части картушей с обеих сторон огненного кольца показаны растительные побеги с тремя листьями. Вертикальные накладные полосы орнаментированы стилизованным изображением извивающейся виноградной лозы между узкими колосовидными полосками по краям. Полусферическое навершие украшено сплошным ажурным, прорезным узором в виде переплетающихся растительных побегов и завитков. На втулке нанесены три горизонтальных пояска растительного орнамента. В широкой части налобной пластины изображены противостоящие драконы. Они показаны с поднятыми головами, широко открытой пастью, изогнутой шеей, выгнутым туловищем и поднятым хвостом. Изображения драконов покрывают всю поверхность декоративного обруча. На козырьке узор в виде стилизованных побегов извивающейся виноградной лозы с листьями и завитками.

Первоначально данный экземпляр был отнесен нами к одному из вариантов сфероконических шлемов с двухпластинчатым куполом [Бобров, Худяков, 2003, с. 141], поскольку именно таким образом он был охарактеризован в работе самого авторитетного спе-



Рис. 7. Реконструкция ношения парадного монгольского конического шлема. Рисунок Л.А. Боброва.

циалиста по истории оружия начала XX в. Э.Э. Ленца [1908, с. 155]. Однако детальное изучение конструкции шлема дает основания для отнесения его к иному отделу – цельнокованых боевых наголовий, к типу – с коническим куполом и к варианту – с “коробчатым” козырьком, налобной пластиной, полусферическим навершием и втулкой.

Вопросы назначения, датировки и культурной принадлежности шлемов

Все рассматриваемые шлемы, несомненно, могли использоваться для защиты головы воина в боевых условиях. Они изготовлены из вороненого железа высокопрофессиональными мастерами-оружейниками. По своим конструктивным особенностям эти шлемы очень схожи с подобными, но более простыми и не столь богато украшенными боевыми наголовьями монгольских воинов эпохи позднего средневековья и Нового времени. К нижнему краю тульи у всех трех анализируемых экземпляров крепились бармицы. Однако наличие высокохудожественных изображений мифологических персонажей и орнаментации, выполненных золотой и серебряной чеканкой, дает основание предполагать, что не менее важное значение для данных боевых наголовий имела знаковая, или символическая, функция. Своим нарядным, “парадным” внешним видом они должны были подчеркивать высокий социальный статус своего владельца – выдающегося знатного воина, полководца или представителя правящего рода в армии кочевого государства. По степени вычурности своего оформления и наличию символически значимых элементов эти шлемы неодинаковы.

Сфероконический шлем богато орнаментирован серебряной чеканкой. Однако в наборе его орнаментальных сюжетов нет изображений, которые можно считать символически значимыми в средневековой центрально- или восточно-азиатской геральдике. Вероятно, его можно отнести к боевому наголовью знатного воина, богатыря, военачальника.

Цилиндроконический шлем украшен золотой чеканкой с изображением буддийского хранителя веры. Это изображение не просто подчеркивает принадлежность владельца к ламаистской ветви буддизма, но и служит для него своего рода оберегом, внушая уверенность в своей неуязвимости под защитой хранителей праведного вероучения. Для воинов-соплеменников такой шлемоносец, вполне возможно, имел сакральное значение. Вероятнее всего, данный шлем принадлежал одному из монгольских князей или полководцев в период утверждения и распространения ламаизма в Монголии. Цилиндроконическая форма тульи сближает его с

цинскими наголовьями XVII–XVIII вв. Достаточно велика вероятность того, что данный шлем мог быть изготовлен уже после вхождения Монголии в состав Цинской империи.

Самым нарядным выглядит боевое наголовье, украшенное золотой чеканкой с фигурами драконов. Этот образ в восточно-азиатской культурной традиции являлся символом императорской власти. Присутствие изображений драконов на шлеме может свидетельствовать о принадлежности его владельца к числу представителей правящего ханского рода в одном из позднесредневековых монгольских государств. Изображение драконов внутри огненного кольца дает основание предполагать использование ламаистской культовой атрибутики в этом орнаментальном мотиве.

Все три шлема можно отнести к монгольскому комплексу защитного вооружения эпохи позднего средневековья и начала Нового времени. Высказанные ранее предположения о возможности датировки конического шлема с изображениями драконов XIII–XIV вв. и его обнаружения в Великом Сарае не подкреплены какими-либо доказательствами [Императорский Эрмитаж..., 1891, с. 363; Винклер, 1894, с. 303]. Выше было сказано, почему он не мог быть найден на руинах столицы Золотой Орды. По наличию таких конструктивных деталей, как налобная пластина и “коробчатый” козырек, данный экземпляр, безусловно, может быть отнесен к большой серии монгольских позднесредневековых шлемов [Бобров, Худяков, 2003, с. 141]. Некоторые элементы оформления, в т.ч. прорезное полусферическое навершие, сближают его с маньчжурскими боевыми наголовьями XVII в. Подобный маньчжурский шлем был преподнесен в качестве дипломатического дара российскому царю Михаилу Федоровичу в 1637 г. Еще один “шлем, навоженный сусальным золотом” вместе с дорогим куяком из черного бархата с наручами царю Алексею Михайловичу подарил в 1667 г. Цаган Тайджа [Там же, с. 141–142]. Однако цельнокованая тулья не характерна для центрально-азиатских шлемов ранее XVII в. Вероятнее всего, по совокупности конструктивных и декоративных элементов данный экземпляр должен датироваться XVII–XVIII вв.

К этому же времени можно отнести цилиндроконический шлем с изображением буддийского хранителя веры в огненном кольце, поскольку принятие в качестве государственной религии и широкое распространение ламаизма в Монголии связаны с правлением известного ревнителя этой веры Абтцай-хана, по приказу которого были разрушены или повреждены многие средневековые памятники на территории Монголии в XVII в. Сфероконический шлем может быть датирован XV–XVII вв. Шлемы подобной конструкции были широко распространены в кочевом мире евразийских степей в течение периодов раннего и развитого сред-

невековья. Однако сочетание сфероконического купола с налобной пластиной и “коробчатым” козырьком является важным аргументом в пользу отнесения этого экземпляра к позднему средневековью.

Заключение

Изучение коллекции парадных шлемов из собрания Государственного Эрмитажа позволило уточнить их конструктивные особенности и важные детали декоративного оформления. В результате стало возможным полноценное использование этих боевых наголовий в качестве информативного вещественного источника для изучения военного дела монголов и воинской иерархии в армиях монгольских государств в периоды позднего средневековья и Нового времени. Проведенный анализ показал возможность атрибуции и введения в научных оборот подобных находок, точное место и обстоятельства обнаружения которых не указаны в описях предметов, экспонирующихся или хранящихся в запасниках во многих музеях России и сопредельных стран.

Список литературы

Бобров Л.А., Худяков Ю.С. Боевые наголовья кочевников Монголии и Калмыкии второй половины XVI – начала XVIII в. // Древности Алтая: Изв. лаборатории археологии / Горно-Алт. гос. ун-т. – 2003. – № 11. – С. 138–155.

Бобров Л.А., Худяков Ю.С. Военное дело сянъбийских государств Северного Китая IV–VI вв. н.э. // Военное делоnomадов Центральной Азии в сянъбийскую эпоху. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2005. – С. 80–199.

Варёнов А.В. Бронзовые шлемы на границе чжоуского Китая и их “кубанские” аналогии // Древние культуры Южной Сибири и Северо-Восточного Китая. – Новосибирск: Наука, 1994. – С. 86–94.

Винклер П. Оружие: Руководство к истории, описанию и изображению ручного оружия с древнейших времен до начала XIX века. – СПб.: [Тип. И.А. Ефона], 1894. – 330 с.

Войтов В.Е., Худяков Ю.С. Монгольский шлем из собрания Государственного музея искусства народов Востока // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 4. – С. 100–106.

Горбунов В.В. Сянъбийский доспех // Военное дело nomадов Центральной Азии в сянъбийскую эпоху. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2005. – С. 200–223.

Горелик М.В. Средневековый монгольский доспех // Олон улсын монголч эрдэмтний III Их хурал (Третий международный конгресс монголоведов). – Улаанбаатар: Олон улсын монголч эрдэмтний их хурлын байнгийн хороо, 1979. – Бот. 1. – Тал. 90–101.

Горелик М.В. Ранний монгольский доспех (IX – первая половина XIV в.) // Археология, этнография и антропология Монголии. – Новосибирск: Наука, 1987. – С. 163–208.

Горелик М.В. Оружие древнего Востока (IV тысячелетие – IV в. до н.э.). – М.: Наука, 1993. – 249 с.

Императорский Эрмитаж: Указатель отделения средних веков и эпохи Возрождения / Сост. Н. Кондаков. – СПб.: [Тип. Мин-ва путей сообщения], 1891. – 369 с.

Ленц Э.Э. Императорский Эрмитаж: Указатель отделения средних веков и эпохи Возрождения. – СПб.: [Тип. А. Бенке], 1908. – Ч. 1: Собрание оружия. – 375 с., ил.

Ратцель Ф. Народоведение. – СПб.: Просвещение, 1904. – Т. 1. – 764 с.

Рец К.И., Юй Су-Хуя. К вопросу о защитном вооружении хуннов и сянъби // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 1999. – Вып. 2: Горизонты Евразии. – С. 42–55.

Худяков Ю.С. Вооружение енисейских кыргызов VI–XII вв. – Новосибирск: Наука, 1980. – 176 с.

Худяков Ю.С. Вооружение центрально-азиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья. – Новосибирск: Наука, 1991. – 190 с.

Худяков Ю.С. Вооружение кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху развитого средневековья. – Новосибирск: Наука, 1997. – 160 с.

Худяков Ю.С. Древнейшие бронзовые шлемы nomадов Центральной Азии // Донская археология. – 2001. – № 3/4. – С. 60–66.

Худяков Ю.С., Бобров Л.А. Шлемы кочевников Центральной Азии в эпоху позднего средневековья // Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – Кн. 1. – С. 227–236.

Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., Солтобаев О.А. Шлемы, найденные на территории Кыргызстана // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2001. – № 1. – С. 101–106.

Худяков Ю.С., Юй Су-Хуя. Комплекс вооружения сянъби // Древности Алтая: Изв. лаборатории археологии / Горно-Алт. гос. ун-т, – 2000. – № 5. – С. 37–48.

Эрдэнэбаатар Д., Худяков Ю.С. Находки бронзовых шлемов в плиточных могилах Северной Монголии // РА. – 2000. – № 2. – С. 140–148.

УДК 903.27

В.Д. Кубарев

*Институт археологии и этнографии СО РАН
пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия
E-mail: vd@online.nsk.su*

МИФЫ И РИТУАЛЫ, ЗАПЕЧАТЛЕННЫЕ В ПЕТРОГЛИФАХ АЛТАЯ

Введение

Алтай известен своими уникальными археологическими памятниками, но особое место среди них занимают многочисленные наскальные изображения. Расположение петроглифов вдоль древних троп кочевников и у высокогорных перевалов через занесенные снегом хребты Алтая, их концентрация в определенных местах еще раз подтверждают нашу гипотезу о существовании в глубокой древности горных "храмов" под открытым небом. В них доминантным центром часто служили своеобразные звериные "иконостасы", на которых были выбиты самые крупные изображения разнополых животных (рис. 1). Характерная особенность подобных памятников – расположение на возвышенных местах, нанесение рисунков на вертикальных плоскостях отдельных скал, выделяющихся формой и хорошо заметных с большого расстояния [Кубарев, 2001, с. 77]. У их основания имеются вымощенные камнем площадки, круглой и квадратной формы выкладки из валунов или поставленных на ребро сланцевых плит – "каменные ящики". Эти сооружения, несомненно, служили для жертвоприношений и проведения обрядов перед священными, может быть тотемными, изображениями животных. Один из таких редких комплексов, открытый нами еще в 1970-х гг., находится близ с. Кош-Агач, на правом берегу р. Чаган-Бургазы. Он заметен по одиночной горе Жалгыз-Тобе, резко выделяющейся в южной части Чуйской степи. Скальные песчаниковые останцы горы издалека своей треугольной формой напоминают пирамиду. Однако при приближении к горе с южной стороны хорошо заметно, что скалы не так уж однородны; они обра-

зуют подобие амфитеатра, созданного самой природой. Внутри него еще недавно стоял современный зимник, хорошо защищенный от ветра и непогоды в любое время года. Конечно, это удобное во всех отношениях место было выбрано кочевниками еще в древности, о чем свидетельствуют обломки керамической посуды и неолитические каменные орудия, подобранные нами вокруг горы. Наскальные рисунки, одна древнетюркская руническая надпись, несколько стел и древних погребений эпохи бронзы вокруг возвышенности только подтверждают наше предположение. Явное сходство комплекса Жалгыз-Тобе наблюдается с "амфитеатром" и "иконостасом" в Туру-Алты (правый берег р. Барбургазы). Особенность этого уникального горного "храма" под открытым небом в еще больших акустических возможностях. Здесь даже негромкая речь, произносимая на вершине горы, многократно усиливается и хорошо слышна у ее подножия. Логично предположить, что подобное природное явление было подмечено древними людьми и, может быть, использовалось для каких-то обрядов или молений, связанных с широко распространенным в Азии культом гор и отдельных вершин, выделяющихся необычной формой и своим одиночным расположением в полупустынной местности.

В последнее десятилетие на Алтае и в Монголии работала небольшая экспедиция, в составе которой, кроме российских ученых, были монгольские и американские коллеги. В рамках проекта «Алтай» велось планомерное изучение петроглифов, датируемых от неолитической эпохи до этнографического времени. За прошедшие годы были открыты и обследованы несколько крупных памятников наскального искус-



Рис. 1. Наскальная композиция с фигурами оленей.
Туру-Алты. Российский Алтай.

ства. Новые изобразительные материалы позволяют обратиться к такой сложной теме, как реконструкция верований и мифологии древнейших скотоводов Центральной Азии.

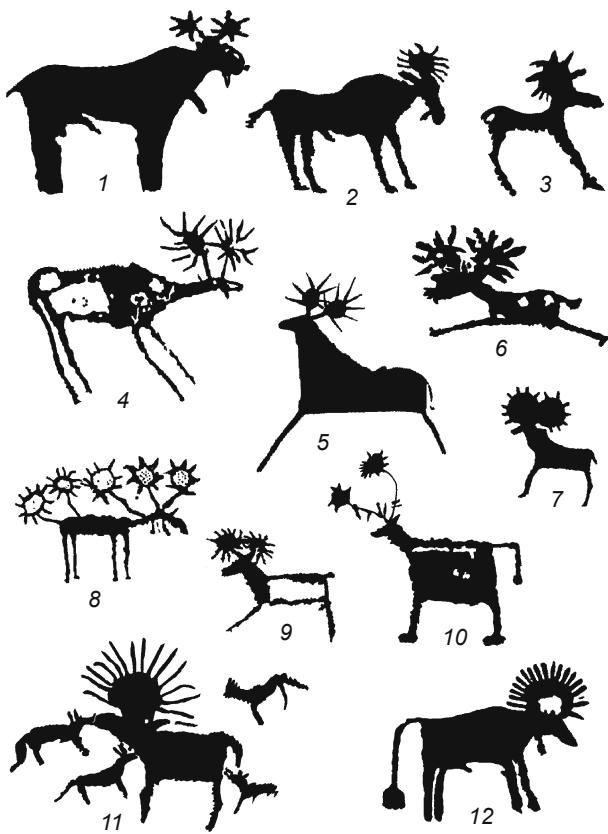


Рис. 2. Изображения солнцерогих животных.
1–6, 8, 10, 12 – Цагаан-Салаа / Бага-Ойгур, 7 – Шивээт-Хаирхан,
11 – Хар-Чулуу (Монгольский Алтай); 9 – Ирбисту (Российский Алтай).

Астральная символика в изобразительном искусстве древних кочевников

В эпоху ранней бронзы на Алтае и в Монголии художники (шаманы или медиаторы?), изображая обычных диких и домашних животных, часто наделяли их сакральными функциями. Для этой цели был выработан несложный прием маркировки священных животных, помещенных рядом с изображениями и непосредственно связанных с астральной символикой и первобытной магией. Такое сочетание, напоминающее собой пиктографические записи, дает возможность в отдельных случаях вполне убедительно интерпретировать повествовательные сюжеты об обрядах и ритуальных действиях, происходивших тысячу лет назад, или даже приблизиться к дешифровке некоторых мифологических представлений древнего населения алтайских гор.

Особенно много сакрализованных наскальных рисунков появляется в эпоху развитой бронзы и в



Рис. 3. Изображения различных животных с астральными знаками на рогах, туловищах и хвостах.
1–3, 11 – Калбак-Таш, 7, 16 – Елангаш (Российский Алтай); 4, 5, 8–10, 12, 14, 18 – Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур, 6, 17 – Шивээт-Хаирхан, 13, 15, 19, 20 – Цагаан-Гол (Монгольский Алтай).

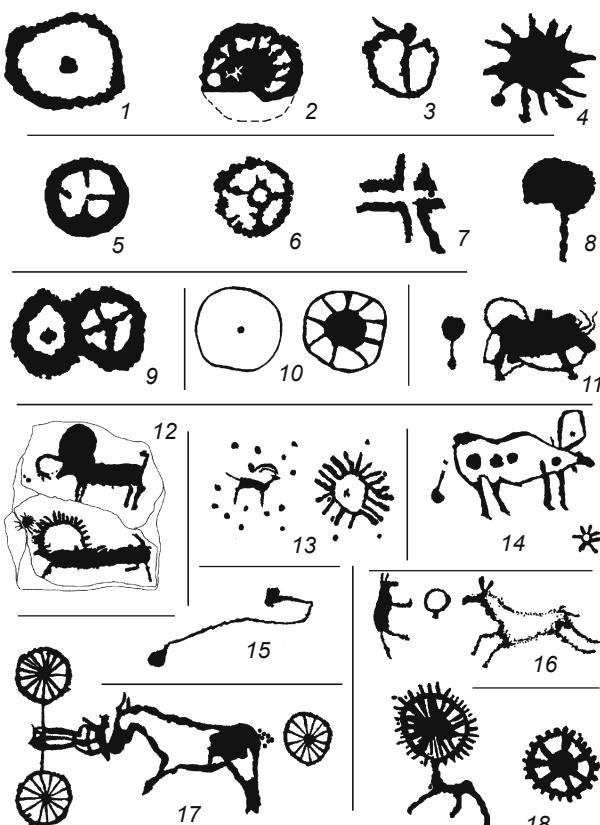


Рис. 4. Астральные знаки и символы различной формы. 1–8, 17 – Цагаан-Салаа/Бага-Ойтур, 9, 12, 13, 18 – Цагаан-Гол, 10, 11, 15, 16 – Хар-Салаа (Монгольский Алтай); 14 – Ирбисту (Российский Алтай).

период древних кочевников. На Алтае и в Монголии это в основном символы в форме дисков, колец и спиралей, включенные в контекст больших композиций с изображениями животных, или диски с лучами на их рогах, туловищах и хвостах (рис. 2–4). Точно такие же изобразительные элементы присутствуют и в мелкой пластике из курганов Уландряка и Юстыда (Чуйская степь), но они сочетаются иначе: символ светила (солнце или луна?) в виде диска зажат между копытами летящего оленя (рис. 5), представлен барельефной спиралью, вписанной в бедро барана (рис. 6), и шаровидным подставом для фигурки небесного коня, служившей украшением металлической женской шпильки для волос (рис. 7). Символическая связь деревянных фигур различных животных с солнцем и небесной сферой еще более усиlena посредством покрытия этих изделий листовым золотом. На наш взгляд, вполне очевидно, что изображение одного и того же мифологического персонажа на различных материалах требовало применения совершенно разных стилистических приемов и технических средств. Если в деревянных изделиях



Рис. 5. Деревянная фигурка оленя – главное украшение сакрального головного убора. Пазырыкская культура. Уландрык IV, кург. 5. Российский Алтай.



Рис. 6. Деревянные наконечники грифны в виде барельефных изображений баранов. Пазырыкская культура. Барбургазы I, кург. 18. Российский Алтай.



Рис. 7. Бронзовая шпилька, украшенная фигуркой коня на шаровидном подставе. Пазырыкская культура. Уландрык IV, кург. 2. Российский Алтай.

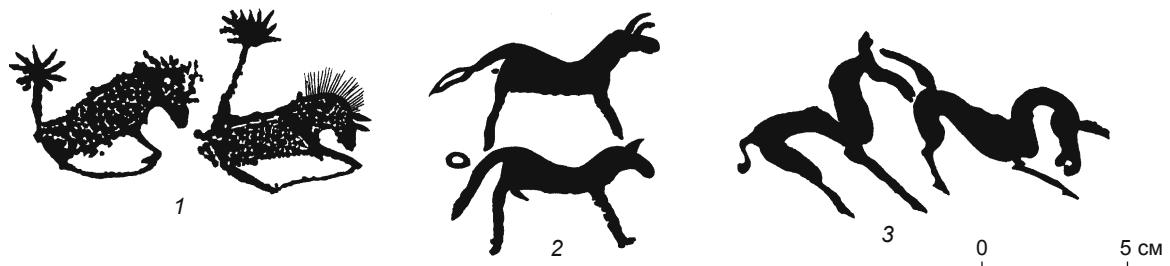


Рис. 8. Изображения парных фигур коней на петроглифах.
1 – Калбак-Таш (Российский Алтай); 2, 3 – Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур (Монгольский Алтай).

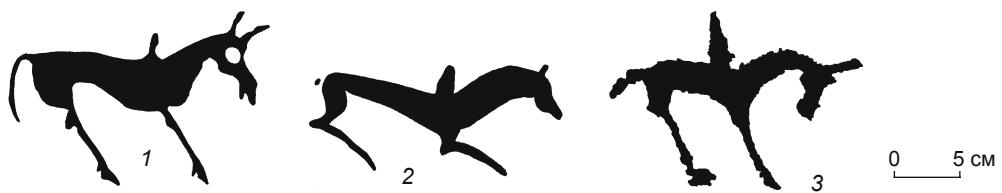


Рис. 9. Изображения крылатых коней на петроглифах.
1, 2 – Елангаш (Российский Алтай); 3 – Шивээт-Хаирхан (Монгольский Алтай).

сакральная сущность зооморфных образов обозначалась разными астральными символами на крупах животных и позолотой, то на каменной плоскости эти символы изображались выбивкой или гравировкой, а возможности для творческого самовыражения у древнего художника были весьма ограничены. Тем не менее, например, изображения “небесных” коней в петроглифах Алтая все-таки встречаются, хотя и нечасто. Можно указать на один рисунок в Калбак-Таше, где на кончиках заданных хвостов двух коней показаны шары с лучами (рис. 8, 1), дающие основание считать изображения сакральными и священными, т.к. принадлежность персонажей к небесной сфере не вызывает сомнений. По петроглифам Елангаша известны два рисунка (рис. 9, 1, 2), где на спинах коней выбит под треугольной формы выступ, который ассоциируется с крылом птицы. Аналогичный рисунок есть в петроглифах горы Шивээт-Хаирхан на Монгольском Алтае (рис. 9, 3). Впрочем, треугольный выступ на спине может быть и незавершенным изображением всадника. Среди нескольких десятков фигурок коней из курганов Чуйской степи только одна (из Уландрыка) имеет прорезную щель для вставных крыльев (рис. 10) [Кубарев, 1987, с. 108].

При сравнении наскальных рисунков с миниатюрными деревянными фигурами из погребений пазырыкской культуры выявлена еще одна закономерность: очень часто кони изображались парами. Иногда они разнополые (ср. рис. 8, 2 и 11), в других случаях выглядят совершенно одинаковыми, без явных признаков пола (ср. рис. 8, 3 и 12). Парность фигур коней обычна также для катандинских и уландрыкских

изображений. В курганах Барбургазы найдена пара реалистичных фигурок лошадей, у одной из которых подчеркнуто выделен фаллос (см. рис. 11). Может быть, в подобных парных изображениях подразумевались жеребец и кобыла? Тогда следует предположить, что, по представлениям древних кочевников, такая пара, сопровождавшая умершего в потусторонний мир, должна была пасть там на “вечном пастбище” и приносить хозяину новых коней. Этот культ разнополых существ или, точнее, культ плодовитости (плодородия), связанный с идеей благополучного продолжения человеческого рода и увеличения поголовья скота, зародившийся в Сибири еще в неолите, сохранился здесь вплоть до этнографического времени [Окладников, 1955, с. 305–306]. Неизменно повторяющиеся пары фигур людей, лосей, оленей, коней и многих других разнополых животных, иногда даже изображенных в позе совокупления, широко распространены в петроглифах Центральной Азии. В других случаях парные фигурки миниатюрных коней, представленные в алтайской серии, – однотипные (см. рис. 12). Подобные изображения следует рассматривать как проявление или пережиток древнего культа близнецов. Так, в индоиранской мифологии близнецы Ашвины – сыновья солнца и кобылицы Ашвини – приносят людям богатство и плодородие. В Ригведе близнецы – то юноши, летящие на колеснице, то чудесные кони [Иванов, 1974, с. 107]. Парные символы, отражающие дуалистическую космогонию и культ близнецов, в разных формах (текстах) знакомы всему древнему миру [Акишев, 1984, табл. VII; Мартынов, 1979, табл. 48; и др.]. Пара волшебных ко-

ней Фэйту и Цзюэти фигурирует в древнекитайских мифах, заимствованных, видимо, из общеиндоевропейского круга представлений о чудесных небесных конях [Юань Кэ, 1965, с. 225, 246]. Культ близнецов у скотоводов прослеживается в казахском героическом эпосе, где сообщается о жертвоприношении коней, рожденных двойней [Кобланды-Батыр, 1975, с. 260]. Мотив близнецов в виде парных головок коней нашел отражение во многих изобразительных памятниках народов Евразии, которые ввиду их многочисленности невозможно здесь даже упомянуть.

В коллекции алтайских фигурок коней есть и одиночные экземпляры, имеющие прямое отношение к культу неба и светил. Кони изображены на шаровидном подставе, символизировавшем лучезарное солнце. Ярко выраженная их связь со светилом еще более усиlena золотом, полностью покрывавшим изображения. Здесь уместно вспомнить эпитеты древних письменных источников: “золотые кони”, “кони цвета утренней зари” (цит. по: [Беленицкий, 1948, с. 163]). В священных гимнах Авесты солнце называется быстроконным. Отсюда становится понятным, почему у оленных камней и керексуров Центральной Азии, также семантически связанных с культом неба и солнца, приносились в жертву кони. Жертвовали солнцу лошадей и массагеты [Геродот, 1972, с. 79]. В алтайских погребениях найдено несколько фигурок коней с гребневидными основаниями, имеющими форму половинки луны. Они венчали головной убор погребенных и были полностью обернуты листовым золотом. То есть и в этих миниатюрных фигурках запечатлено представление древних кочевников Алтая о небесном золотом коне, сияющем подобно солнцу и луне. Такой версии не противоречит и интерпретация гребневидных оснований как изображений головы птицы – еще одного символа небесной сферы. Но более конкретно данная идея воплощена в паре фигурок коней из Барбургазы (см. рис. 11). На их туловищах вырезаны солярно-лунарные знаки, свидетельствующие, что это небесные кони. Аналогичные изображения коней с символами солнца на крупах есть на оглахтинских петроглифах [Вяткина, 1961, рис. 1–3]. О.С. Советова, называя их “отмеченными”, очень подробно характеризует стилистику изображений, уранство и происхождение тагарских “разрисованных” коней [2005, с. 36–45]. В круг описанных космических коней входит и уникальная пара, запечатленная в петроглифах Калбак-Таша, с гривами и хвостами, оформленными в виде солнечных лучей (см. рис. 8, 1).

Саки Семиречья, по мнению А.К. Акишева, отожествляли коня с образом солнца: “Четверка иссыкских коней – это квадрига. В виде колесницы в индо-иранских мифах фигурировало Солнце, весь Космос” [1984, с. 33]. Изображения мифических крылатых ко-



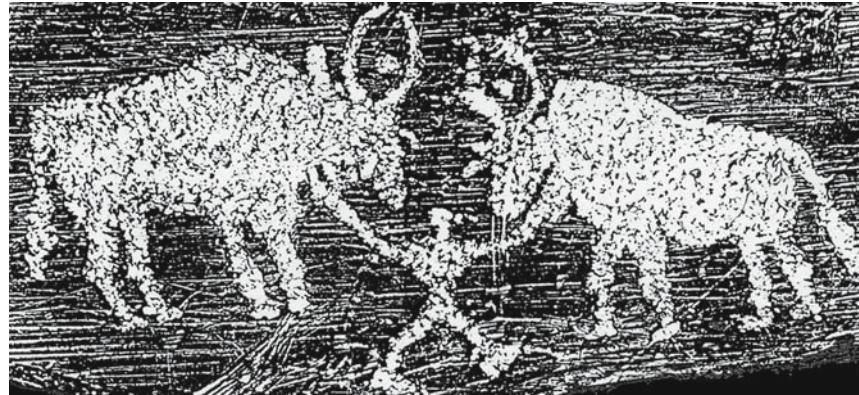
Rис. 10. Деревянные фигурки коней с отверстиями для вставных ушей и рогов в голове и прорезной щелью для вставных крыльев в спине (показано стрелкой). Пазырьская культура. Уландрый IV, кург. 3. Российский Алтай.



Rис. 11. Деревянные парные фигурки коней (разнополые) с астральными знаками на крупе и передней ноге. Пазырьская культура. Барбургазы I, кург. 18. Российский Алтай.



Rис. 12. Деревянные парные однотипные фигурки коней (мотив близнецов). Пазырьская культура. Уландрый IV, кург. 2. Российский Алтай.



*Рис. 13. Сюжет “Укрощение небесных быков”. Копия петроглифа на микалентной бумаге.
Хар-Салаа. Монгольский Алтай.*

ней встречаются в петроглифах Средней Азии [Бернштам, 1949, с. 130] и Минусинской котловины [Членова, 1981, рис. 4–6]. Исследователи единодушны в том, что появлению подобных рисунков в Сибири способствовали легендарные сведения о конях Ферганы и Токаристана, происходящих, по преданию, от слухи кобылиц из царского табуна с необыкновенными крылатыми конями, живущими в пещере высоко в горах [Бичурин, 1950, с. 285].

Сложившийся в эпоху древних кочевников декоративный канон, или т.н. алтайский звериный стиль, особенно характерен для изображений оленей на петроглифах Шивээт-Хаирхана – еще одного уникального памятника наскального искусства Монгольского Алтая. Фигуры оленей здесь самые многочисленные. И это вполне объяснимо, потому что олень во все времена являлся одним из главнейших образов индоиранской и тюрко-монгольской мифологии. Его космическая сущность легко определяется: в петроглифах на рогах отдельных оленей изображен все тот же древнейший солярный символ – диск с лучами (см. рис. 2, 3–9). На других рисунках туловища оленей заполнены геометрическими фигурами – квадратами, треугольниками и овалами с точкой или даже глубокой лункой посередине (см. рис. 3, 6, 7). Подобные знаки также связаны с астральной символикой. В других изобразительных вариантах мифического солнечного оленя этот символ выглядит несколько иначе: в виде косого креста, круга (см. рис. 3, 8, 9), ромба, Ф-образной фигуры, размещенных на голове, между рогами или даже на спине животного.

В Монголии, как и на Алтае, многие изображения животных сопровождаются контурными кругами и выбитыми дисками – знаками солнца и луны. На рисунках они размещены как внутри кольца, образованного рогами быков (рис. 13), так и над ним (см. рис. 3, 11–13, 15). В некоторых случаях рога выбиты в виде сплошных овальных дисков, над ко-

торыми явно целенаправленно нанесен ряд крупных точек, а в одном от такого диска отходят 14 черточек-лучей (см. рис. 2, 11). Солярные знаки можно усмотреть в окончаниях хвостов, выполненных в виде окружности с точкой в центре (см. рис. 3, 19, 20), или шаровидных, иногда явно гипертрофированных размеров (см. рис. 3, 13). Символы солнца и луны просматриваются в декоративном оформлении (округлые, полулуные, крестовидные и звездчатые фигуры) туловищ быков (см. рис. 3, 1–5). Подобные знаки являются своеобразным кодом-ключом, позволяющим определить космическую, возможно лунарно-солярную, семантику отдельных изображений быков.

Формально точное сходство с солярно-лунарными знаками (круг с вписанным крестом или точкой в центре) можно увидеть в колесах одноосной повозки, изображенной на петроглифах Бага-Ойгуря. Аналогичные по форме астральные знаки нередко встречаются на Алтае в виде одиночных рисунков (см. рис. 4, 1, 3, 5, 6), а на местонахождении Цагаан-Гол они один раз воспроизведены в спаренном виде (см. рис. 4, 9). Их вариации, когда в центре одного или обоих кругов выбита глубокая лунка с отходящими от нее лучами, найдены в долинах рек Хар-Салаа и Цагаан-Гол (см. рис. 4, 10, 18); причем в последнем случае один из знаков имеет зооморфный вид: он был выбит вместо головы очень схематичной фигурки какого-то животного. Логично видеть и в таких рисунках символы луны и солнца, но это трудно доказать, хотя бы потому, что аналогичным образом изображались колеса повозок эпохи бронзы (см. рис. 4, 17).

Возможно, к числу астральных знаков относятся чашеобразные углубления на скальной поверхности в долине Цагаан-Гола, органично сочетающиеся с фигуркой козла и традиционным по начертанию графическим символом солнца – кругом с лучами и точкой в центре (см. рис. 4, 13). Подобное изображение солнца, но уже выполненное сплошной точечной



Рис. 14. Изображения быков и астральный знак в виде креста. Перевал в долину Цагаан-Гола. Монгольский Алтай.

выбивкой, найдено на том же местонахождении на отдельном камне (см. рис. 4, 4).

К числу редко встречающихся магических знаков на Монгольском Алтае относятся крест (см. рис. 4, 7; 14) и овальный диск с отходящей вниз короткой полосой. Последний в петроглифах Бага-Ойгуря пока известен в единственном числе (см. рис. 4, 8), однако в Хар-Ямаа нами ранее были открыты и затем опубликованы Д. Цэвээндоржем символы совершенно такой же формы [1999, с. 131]. Аналогичные знаки, но в уменьшенном виде украшают две полусферы над головой барана и рогами быка на рисунках Бага-Ойгуря (рис. 15). Понятно, что эти два рисунка должны быть включены в группу маркированных солярными символами изображений священных животных. Рассмотренный знак, возможно, по смыслу перекликается с другим – окружным диском, соединенным чертой с диском меньшего диаметра (см. рис. 4, 11). Нахождение этого символа позади фигуры быка опять же информирует о сакральной избранности животного, его посвящении высшим солнечным богам. Надо назвать еще два необычных по форме знака, обнаруженные нами в долине Хар-Салаа. Один из них представляет собой пару выбитых чашеобразных углублений, соединенных извилистой линией, другой – окружность с коротким подтреугольным выступом в нижней части (см. рис. 4, 15, 16). Если второй знак находится между двумя изображениями лошадей и может быть определен как символ солнца и небесной стихии, то первый не сопровождается другими рисунками, позволяющими раскрыть его семантику. Но по аналогии с “очковидными” знаками, широко распространенными в петроглифах Каратау, Тамгаль, Джунгарии, и

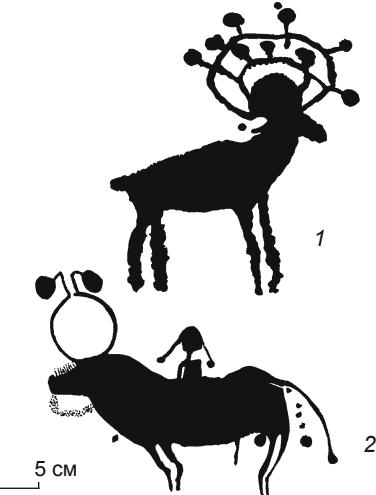


Рис. 15. Изображения барана и быка с астральными знаками на рогах. Бага-Ойгур (Монгольский Алтай).

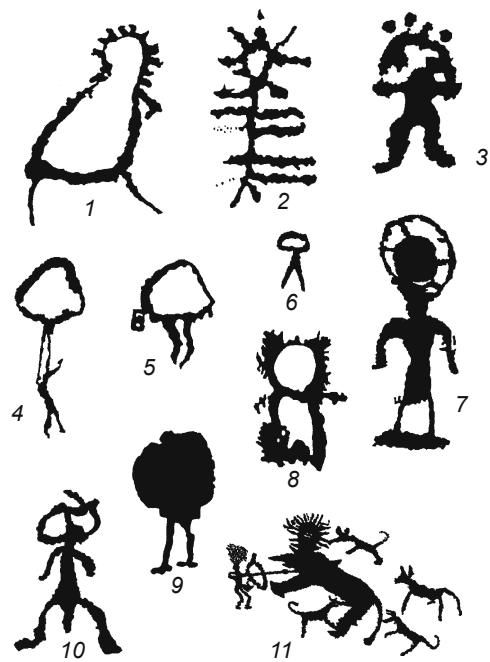


Рис. 16. Антропоморфные солярные существа с головами или головными уборами (?) различной формы. 1–8, 11 – Цагаан-Салаа/Бага-Ойгур, 9, 10 – Цагаан-Гол (Монгольский Алтай).

он может считаться одним из важнейших астральных символов эпохи ранней бронзы. Смысл подобных знаков и их сочетаний был раскрыт при изучении наскальных рисунков Саймалы-Таша [Мартынов, Марьев, Абетеков, 1992, рис. 128–132].

В отличие от многочисленных фигур животных, помеченных астральными знаками, антропоморфные изображения солнечных божеств на Алтае встречаются крайне редко (рис. 16). Они очень схематичны

и даже, можно сказать, примитивны. Главным признаком, отличающим их от изображений обычных людей, является контурная или силуэтная голова (головной убор?) преувеличенных размеров. Иногда вокруг нее показан нимб из лучей или серии точек. Какого пола фантастические существа не совсем ясно, но по крайней мере две фигуры определенно мужские, судя по наличию у них фаллоса (рис. 16, 4, 10). Совершенно в иной манере изображено “шагающее” солнце на миниатюрном одиночном наскальном рисунке в долине Цагаан-Гола. Под окружным диском древний художник показал две ноги, но не человека, а птицы (рис. 16, 9). Так что перед нами предстает новый для петроглифов Алтая, теперь уже орнитоморфный образ лунного или солнечного божества.

Идентичные графические солярно-лунарные символы, а также сцены с солнцерогими животными, “шагающим” солнечным божеством известны на других памятниках наскального искусства Алтая [Окладников и др., 1979, табл. 7, 4; 29, 1 и др.; Kubarev, Jacobson, 1996, fig. 132, 284, 467, 508, 616 и др.], в петроглифах Монголии [Окладников, 1980, с. 68; Цэвэндорж и др., 2004, рис. 55, 211, 314 и др.], Казахстана [Марьяшев, Горячев, 1998, рис. 2, 11, 17, 63] и Средней Азии [Мартынов, Марьяшев, Абетков, 1992, рис. 12, 20, 49–54, 67 и др.]. Подобные солярные знаки есть на наскальных рисунках Тувы. Они точно так же располагаются рядом с изображениями животных и нередко в сочетании с личинами-масками, датируемыми эпохой бронзы [Дэвлет, 1998, табл. 11, 32; 14, 37; 15, 20]. Колеса повозок и колесниц, лошади и другие животные в петроглифах бронзового века в Северном Китае также маркированы солярными знаками [Гай Шанлинь, 1989, рис. 231, 253, 259, 304 и др.]. Необходимо вспомнить и многочисленные “солнцеголовые” зоантропоморфные изображения в полихромных росписях и гравюрах каракольской культуры Алтая. Найденные в закрытых погребальных комплексах, они помогли уточнить время создания и семантику некоторых персонажей петроглифов Тамгалы и Саймалы-Таша [Мартынов, Марьяшев, Абетков, 1992, с. 28] и явились своеобразным культурно-хронологическим репером, позволившим относительно точно датировать похожие сюжеты в наскальном искусстве Алтая [Кубарев, 1992, 1993].

Семантика сюжетов и реконструкция мифологических представлений

Уникальной иллюстрацией к астральному мифу о происхождении солнца, луны и звезд является изображение фантастического оленя в петроглифах Цагаан-

Салаа на Монгольском Алтае (см. рис. 2, 8). На его рогах, над спиной и на хвосте в один ряд изображены пять “золотых” светил, у каждого из них по семь – девять лучей. Множественность светил (возможно, ассоциируемых с солнцем и луной) в данном сюжете заставляет вспомнить алтайский миф о самых ярких звездах Уч-мыгыкак – “Трех маралухах” (созвездие Орион), вознесшихся на небо от преследовавшего их охотника. С солярным циклом монгольских мифов также связан и небесный стрелок Эрхий-мерген, “сбивший выстрелом лишние светила” [Неклюдов, 1992, с. 172]. Достоверный, по нашему мнению, фрагмент космогонического мифа воспроизведен и на петроглифах Ирбисту – древнего изобразительного комплекса, открытого недавно в Кош-Агачском р-не Республики Алтай [Кубарев и др., 2002]. Эта наскальная миниатюра включает изображение быка и солярный знак в виде чашеобразного углубления, обрамленного семью лучами (см. рис. 4, 14). На туловище быка выбиты три округлых пятна, которые можно интерпретировать как рисунок созвездия Орион – известный астральный символ многих народов Евразии [Потанин, 1883; Неклюдов, 1992; Ерошкин, 2002; и др.]*. Зооморфные изображения с подобной знаковой записью есть и на других алтайских петроглифах (Ороктой (Карбан) на Катуни [Окладникова, 1984, табл. 25, 5], правый берег р. Чаганки [Лабецкий, 2000, рис. 1]). Они, как и рисунок в Ирбисту, датируются эпохой ранней бронзы.

Еще более наглядной иллюстрацией, подтверждающей мифологический характер отдельных изображений животных, служит небольшой, но очень легко, на наш взгляд, дешифруемый сюжет петроглифа в долине р. Цагаан-Гол. На противоположных гранях одного камня выбито по одной фигурке козла или барана (см. рис. 4, 12). На северной грани рога показаны в виде сплошного круглого диска (луна?), а на южной – в виде дуги с короткими лучами, доходящей до спины животного (восходящее солнце?). Для большей убедительности и безошибочного восприятия солярного образа древний художник дополнитель но выбрал перед рогами животного маленький диск с 13 лучами – еще один символ солнца.

О мифологической нагрузке отдельных изображений в петроглифах Монгольского Алтая можно судить по одной очень любопытной сцене, обнаруженной нами в среднем течении р. Хар-Салаа. Не анализируя ее в целом, обратим внимание на крупную фигуру быка с лировидными рогами, которые плавно переходят в анфасную фигурку женщины (рис. 17). Необычный и оригинальный изобразительный прием, впервые отмеченный в петроглифах Алтая, воз-

* Более подробно о мифологическом мотиве космической охоты см.: [Березкин, 2005].

можно, демонстрирует непосредственную связь небесного быка с женским божеством. Такая новая контаминация заставляет вспомнить статью В.В. Иванова, который писал, что на священных “быках есть (видимый или невидимый) знак их принадлежности божеству” [1991]. И невольно задаешься вопросом, не это ли божество изображено на рассматриваемом рисунке? Археологические следы культа священного быка обнаружены во многих древних скотоводческих культурах, а бык как воплощение бога на земле был известен уже в древнеиранской мифологической традиции III–II тыс. до н.э. Вероятно, в это время или несколько позднее и появились в петроглифах Алтая изображения отмеченных магическими знаками божественных быков.

В плане семантической реконструкции интересна еще одна композиция (Хар-Салаа VI), где бык буквально поднял на рога человека. Последний изображен с широко раскинутыми ногами и поднятыми вверх руками (рис. 18), в одной он держит пастушескую палку или посох. Фигура мужская (показан фаллос), в отличие от выше рассмотренной, также показанной на рогах быка. Значит, надо предложить и иную интерпретацию сюжета. Для этого необходимо, как и в первом случае, привлечь данные мировой мифологии. Так, в архаичном древнеиранском мифе описано сражение и убийство первобытка культурным героем Ахриманом, в греческой мифологии – критского минотавра Тесеем. “Подобные мифы могли быть связаны с обрядом ритуального состязания с быком и принесения в жертву священного быка” [Там же]. Наверное, и в рассматриваемой сцене запечатлен кульминационный момент аналогичного ритуального действия. Хотя от Древней Греции до Алтая далеко, подобное сопоставление вполне приемлемо, т.к. изображения мифических быков – самые ранние на петроглифах Хар-Салаа. Они относятся к тому времени, когда в область алтайских гор и степей мигрировали со своими стадами первые индо-иранцы. Прототахарами называл К. Йеттмар людей европеоидного облика, мумии которых были найдены в могильнике Гумугоу (Северо-Западный Синьцзян). Он полагал, что они мигрировали в этот регион ок. 1500 г. до н.э., и сравнивал хорошо сохранившиеся в погребениях головные уборы (войлочные колпаки с плюмажем из птичьих перьев) с перьевыми наголовьями “солнцеголовых” существ в росписях и гравюрах каракольской культуры Алтая [Jettmar, 1998, abb. 6, 7; Кубарев, 1988, рис. 18].

Сюжет coitus, или т.н. сцена священного брака, очень часто встречается в петроглифах Монгольского Алтая. Например, в Хар-Салаа VII в небольшой композиции с изображениями диких козлов и оленей центральным и значимым элементом представляется сцена соития (рис. 19). Легко определяется пол со-

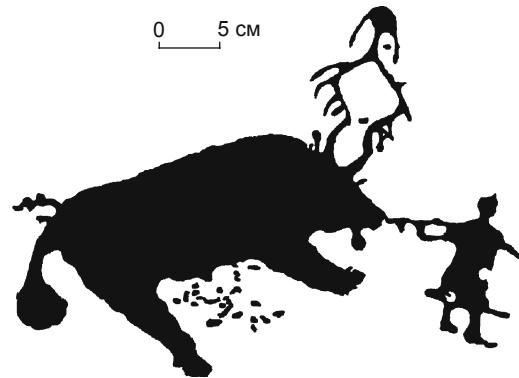


Рис. 17. Изображение быка, рога которого стилизованы под фигуру женщины. Хар-Салаа. Монгольский Алтай.

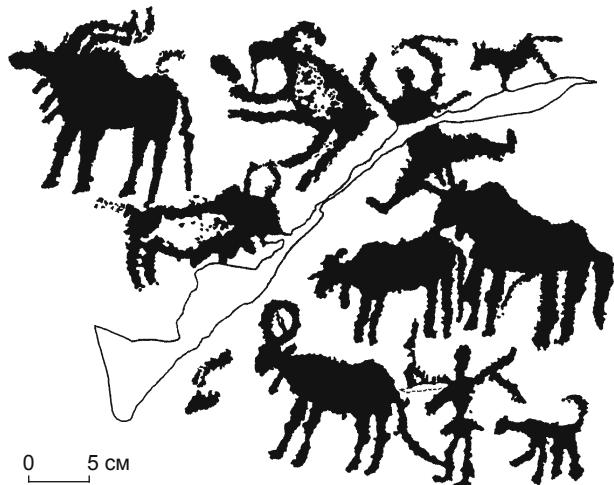


Рис. 18. Сюжет “Борьба с быком”. Хар-Салаа. Монгольский Алтай.

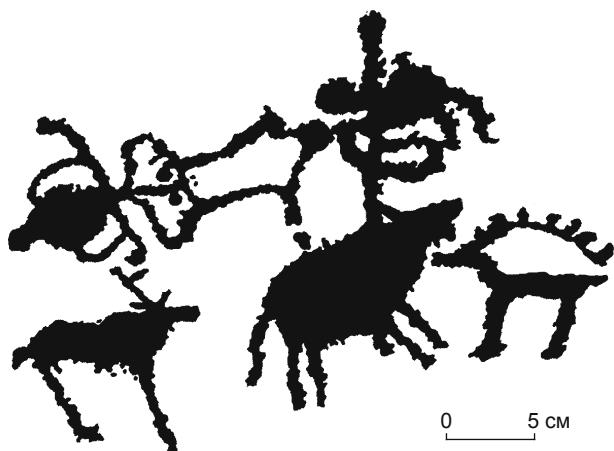


Рис. 19. Сцена “священного брака”. Хар-Салаа. Монгольский Алтай.

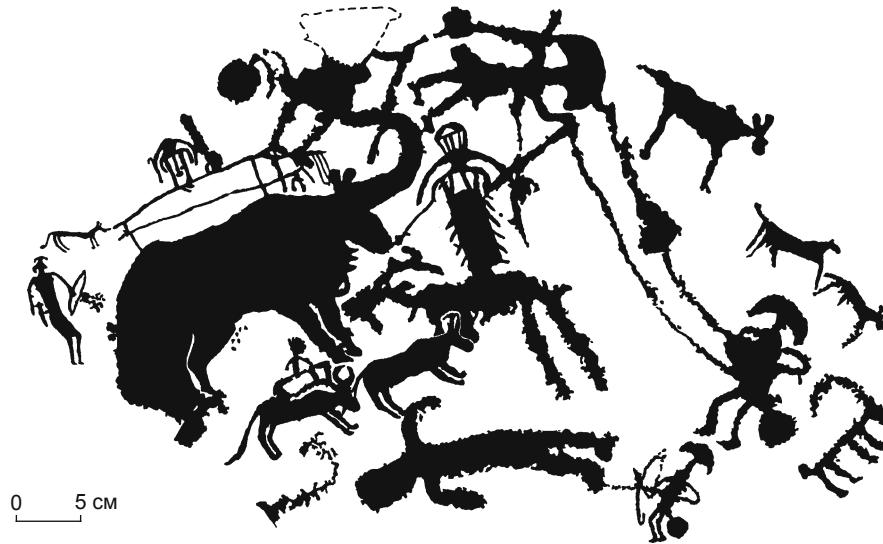


Рис. 20. Разносюжетная композиция: “богиня” с быком, поединок воинов, поверженный великан и т.д. Хар-Салаа. Монгольский Алтай.

вокупляющихся. У мужской контурной фигуры с согнутыми в коленях ногами просматриваются фаллос и тестискулы; у силуэтной фигуры женщины – округлый живот (признак беременности?), руки поддерживают широко раздвинутые ноги. В сцене присутствует еще один персонаж – лучник, стреляющий в козу. На прорисовке видно, что голова совокупляющегося мужчины соединяется с луком, а рука направлена к спине козы. Таким несложным приемом осуществляется непосредственная связь всех участников ритуальной или мифологической сцены, в которой синтезированы культ плодородия (плодовитости) и “благопожелание” успешной охоты. Любопытно, что эти “записи”, или пиктограммы, возможно передающие архаические представления об интимных отношениях охотников с хозяйкой леса или гор с целью обеспечения богатого промысла, сохранились у народов Сибири до этнографического времени [Потапов, 1991, с. 181–182]. Другая аналогичная сцена coitus расположена недалеко от рассмотренной композиции. Здесь фигуры людей слишком схематичны, но и в них легко определить мужчину (по наличию фаллоса) и женщину (широко раздвинутые ноги), которая, вероятно, держит за ногу козла. В петроглифах Центральной Азии в сценах coitus изображения животных, как правило козлов и быков, служивших символами плодовитости и плодородия, часто сопровождают именно женские фигуры. Древние кочевники искренне верили, что плодовитость животных магическим образом может быть передана женщине в таинственный момент зачатия.

В плане семантической дешифровки очень интересна другая, насыщенная рисунками, композиция.

В ней два воина с копьями противостоят друг другу, но главную роль играют массивный бык и женщина (рис. 20). В том, что это женщина, сомнений нет: показаны косы, длиннополая одежда и высокий головной убор митровидной формы. В одной руке она держит повод, идущий к морде быка, в другой – какой-то предмет в виде палки или посоха, противоположный его конец зажат в руке мужчины. Впрочем, этот предмет может иметь прямое отношение и к мужской фигуре, т.к. аналогичное “орудие” есть и у другого мужчины, изображение которого сохранилось только наполовину. Ноги женщины скрыты под полами одежды и непосредственно примыкают к крупной силуэтной фигуре козла. На спине быка отдельными линиями выгравирован выюк прямоугольной формы, а на нем женщина с длинными косами. Позади быка изображен вооруженный кинжалом и луком человек в серповидном головном уборе. В самом низу сцены, а точнее, на переднем плане лежит безоружный гигант, в которого стреляет из лука человек в серповидном головном уборе. Композиция уникальна тем, что в ней могут быть прослежены изобразительные фрагменты по крайней мере четырех мифов, в самых общих чертах передающих тексты индоевропейской мифологии. Первой и самой главной темой является сакральная связь богини с небесным быком, второй сюжет – ритуальное состязание с быком и принесение его в жертву, третий и четвертый фрагменты посвящены поединку культурных героев и мифу о великанах. Кстати, лежащий великан, изображенный в самом низу композиции, мог быть и божественным героем, из тела которого был сотворен мир. “Эти возвретия уходят корнями в глубокую древность.

У огромного числа народов имеются мифы, согласно которым мироздание образовалось из тела изначального великана, героя или божества. В орфических гимнах древних греков описывалось сотворение мира из тела Зевса. У персов в такой роли выступал Ормузд, у финнов – Илматар, у тибетцев – богиня-мать Клумо, у древних китайцев – титан Пань-гу” [Евсюков, Комиссаров, 1985, с. 91].

Особенно впечатляют многофигурные композиции в Хар-Салаа VIII, где главными и значимыми являются фигуры быков, вокруг которых по мифологическому сценарию и разворачиваются все события. Одни из них выполнены в т.н. декоративном стиле, другие – в контурной и силуэтной технике. Нередко это парные фигуры, иногда противостоящие, расположенные друг за другом или один над другим. Несколько изображений быков отличаются относительно большими размерами (от 120 до 200 см в длину), что также подчеркивает исключительность, избранность этих животных по отношению к другим. На первый взгляд ничего сверхъестественного или мифического в рисунках нет. Так, например, одна из сцен (рис. 21) представляется достаточно банальной и бытовой: женщина ведет на поводу двух быков к небольшому жилищу (прямоугольная фигура с квадратным выступом в верхней части), внутри которого легко различаются две маленькие фигурки людей (дети?). Но форма рогов, образующих почти идеальный круг, дополнительные, нефункциональные элементы декора в виде серии кружков на груди быков и орнамент из перекрещенных линий на туловище одного из них – все это имеет прямое отношение к идеограммам, связанным с графическими символами неба. Они-то и дают основание для отнесения сюжета к мифологическому повествованию, позволяя считать изображенных быков сакральными и священными животными. «В древнем Двуречье, в Средней Азии 3–2-го тыс. до н.э., в древнеиранской и древнеиндийской традициях Бык – прежде всего об-

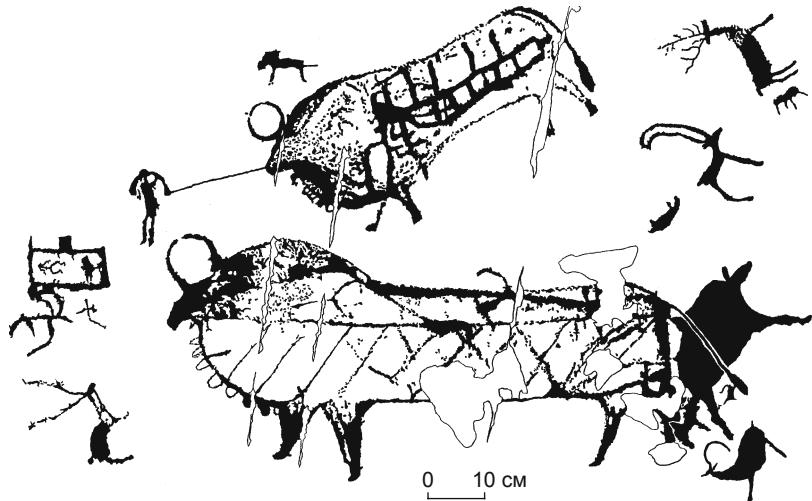


Рис. 21. Сюжет “Женщина и небесные быки”. Хар-Салаа. Монгольский Алтай.

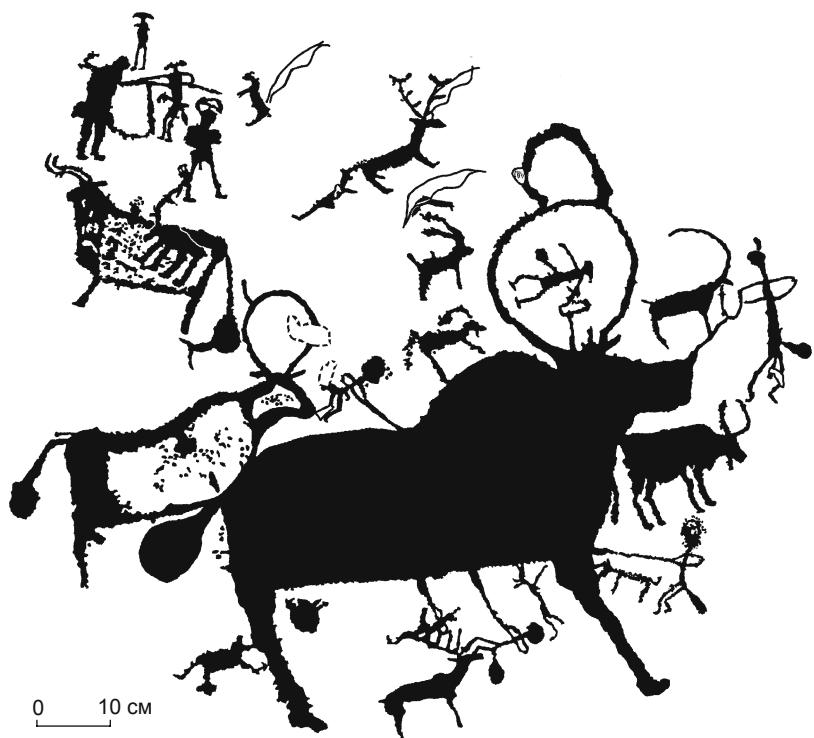


Рис. 22. Разносюжетная композиция: “богиня” с быком, убийство-жертвоприношение небесного быка и поединок героя с великаном. Хар-Салаа. Монгольский Алтай.

раз лунного божества. В иранской мифологии месяц называется “имеющим семя Бык”, в Шумере и Аккаде бог луны Син...» [Иванов, 1991].

В другой композиции, выполненной на горизонтальной плоскости скального останца, находится самая крупная в Хар-Салаа фигура быка (рис. 22). К его большим луноподобным рогам сверху при-



Рис. 23. Вид с востока на местонахождение петроглифов Хар-Чулуу. На переднем плане изображения солнцерогих быков, на заднем – священная гора Шивээт-Хаирхан.
Монгольский Алтай.



Рис. 24. Сюжет “Космическая охота хищников на солнцерогих лосей”. Цагаан-Гол. Монгольский Алтай.

мыкает контурный круг, несомненно имеющий отношение к солярно-лунарным символам, позволяющим “приблизить” фигуру быка к небесной сфере. К морде быка протянут повод, который удерживает женщину (?) в высоком головном уборе. Содержание сцены, иконография персонажей напоминают ранее рассмотренную и аналогичную по оформлению композицию, где представлено не менее четырех мифологических сюжетов. В данной сцене их три: борьба с великаном (левая верхняя часть), связь женского божества с небесным (лунным) быком, состязание с быком и принесение его в жертву. В последнем сю-

жете принимают участие четыре “хвостатых” воина с копьями, направленными в грудь, живот, спину быка, и один (фигура расположена внутри кольцевидных рогов), стреляющий из лука в его голову.

В этой статье приведены далеко не все сюжеты монгольских петроглифов, которые могут быть соотнесены с конкретными мифологическими текстами, но и те, что рассмотрены, удивительно близки к алтайским. Эти памятники наскального искусства сближает композиционное построение, одинаковые персонажи и мифологическое содержание сцен. В Елангаше, Ирбисту и Калбак-Таше есть десятки выразительных многофигурных композиций, главную роль в которых играют небесные быки, синкретичные волшебные олени, женские божества, воины, вооруженные копьями и палицами. В одних сюжетах мужчины сопровождают (охраняют?) быков, женщин и детей, в других – сражаются между собой или даже вступают в бой с великантами [Кубарев, 1987; Kubarev, Jacobson, 1996, fig. 132, 150, 284, 449, 451–459 ets.]. Таким образом, монгольско-алтайские петроглифы эпохи бронзы, несомненно, близки в культурно-хронологическом аспекте и являются полноценным историческим источником, позволяющим достоверно реконструировать религиозно-мифологические представления древнейших скотоводов и охотников Центральной Азии.

Однако некоторые композиции в петроглифах Монгольского Алтая, возможно, иллюстрируют древние ритуалы или обряды, связанные с ежегодными жертвоприношениями богам, духам или

хозяевам гор и лесов. Сакральным местом, где в древности совершались такие обряды, могли быть живописные скалы, называемые местными жителями Хар-Чулуу – букв. Черные Камни (рис. 23). Общее число рисунков (сцены и отдельные изображения), включая и неизвестные ранее петроглифы, по нашим подсчетам, составляет по меньшей мере 250. Они в основном располагаются на обращенных к югу плоскостях скал и отдельных камней (рис. 24). На самом верху гряды, на горизонтальной плоскости гигантской глыбы, очевидно оставшейся во время продвижения ледника вниз по долине Цагаан-Гола, первые рисунки были нанесены уже в эпоху бронзы. Это изображение кинжала, крупная фигура оленя и чашеобразное углубление. Значительно позже поверх них были выбиты фигуры козлов и охотника. Если попытаться расшифровать содержание первого, более древнего пластика рисунков, то перед нами предстанет лаконичная пиктограмма. Ее можно “прочитать” примерно в такой последовательности: 1) олень – жертвенное животное; 2) кинжал – орудие для выполнения обряда; 3) чашеобразное углубление – “сосуд” для крови жертвенного животного. Такая трактовка возможного использования чашеобразных углублений, часто расположенных на горизонтальных плоскостях, не нова. Еще А.П. Окладников предполагал подобное назначение серии лунок на петроглифах Монголии [1983, с. 33]. Он считал, что “нужно было магическими способами обеспечить обильную добычу, заставить зверя пойти добровольно навстречу желаниям и воле охотника, стать его жертвой, накормить своей жертвенной плотью и кровью голодных, алчущих пищи людей. Не менее важно было заглянуть в завтрашний день, грозивший муками голода и даже голодной смертью, обеспечить плодородие зверей... и воспроизвести, увеличить с помощью священных ритуалов не только число зверей, но и силы самой общины людей, противостоящей силам природы и враждебным человеческим группам” [Окладников, 1980, с. 97].

Заключение

Древние святилища с наскальными изображениями, известные и недавно открытые в Центральной Азии, функционировали в течение многих тысячелетий и принадлежали охотникам и скотоводам. Преобладание сцен охоты, изображений главных промысловых животных и вооруженных людей, по-видимому, свидетельствует о регулярных обрядах и магических ритуалах, за которыми усматривается определенное мировоззрение. Оно наделяло солнце и космос способностью репродуцировать

умерших людей и убитых зверей. Например, ритуальное действие, отображенное в композициях на священном “алтаре”, расположенном у восточного подножия горы Шивээт-Хайрхан, прямо указывает на то, что древний человек всегда проявлял заботу об утраченных сородичах и убитых животных, пытаясь быть активным участником обряда “воскрешения-рождения” тех и других. Это укромное и таинственное святилище также было местом поклонения солнцу и мольбы злым и добрым духам, от действий которых, как считали древние, зависело благополучие всей общины, семьи и отдельного человека.

Одни ученые видят в петроглифах неисчерпаемый источник информации о мифологических представлениях древних племен, другие полагают, что в них нашли отражение только реальные исторические события или сведения об охоте и хозяйственном укладе. Компромиссное решение данной проблемы видится в лаконичном, но весьма емком заключении А.П. Окладникова: “Для столь далекого времени не может быть речи о чисто бытовом искусстве или чисто мифологическом творчестве. И то, и другое, несомненно, находилось во взаимосвязи, в определенном синтетическом комплексе” [1980, с. 76].

Список литературы

- Акишев А.** Искусство и мифология саков. – Алма-Ата: Наука Каз.ССР, 1984. – 176 с.
- Беленицкий А.М.** Хуттальская лошадь в легенде и историческом предании // СЭ. – 1948. – № 4. – С. 151–167.
- Березкин Ю.Е.** Космическая охота: варианты сибирско-североамериканского мифа // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2005. – № 2. – 141–150.
- Бернштам А.Н.** Араванские наскальные изображения и даванская (ферганская) столица Эрши // СЭ. – 1949. – № 4. – С. 112–143.
- Бичурин Н.Я. (Иакинф).** Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – Т. 2. – 335 с.
- Вяткина К.В.** Наскальные изображения Минусинской котловины // Сб. МАЭ. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. – Т. 20. – С. 188–237.
- Гай Шанлинь.** Уланчабу яньхуа (Петроглифы степи Уланчаб). – Пекин: Вэньь, 1989. – 355 с. (на кит. яз.).
- Геродот.** История / Пер. Г.А. Стратановского. – Л.: Наука, 1972. – 480 с.
- Дэвлет М.А.** Петроглифы на дне саянского моря (гора Алды-Мозага). – М.: Памятники исторической мысли, 1998. – 288 с.
- Евсюков В., Комиссаров С.** Колесницы на земле и в небесах // Атеистические чтения. – М.: Политиздат, 1985. – Вып. 14. – С. 78–94.
- Ерошкин Д.В.** Созвездие Ориона в традиционной культуре народов Южной Сибири: (Опыт сравнительно-

го анализа) // Древности Алтая / Горно-Алт. гос. ун-т. – 2002. – № 9. – С. 58–62.

Иванов В.В. Опыт истолкования древнеиндийских ритуальных мифологических терминов, образованных от asva – конь // Проблемы истории языков и культуры народов Индии. – М.: Наука, 1974. – С. 96–122.

Иванов В.В. Бык // Мифы народов мира. – М.: Сов. энцикл., 1991. – Т. 1. – С. 203.

Кобланды-Батыр: Казахский героический эпос. – М.: Наука, 1975. – 447 с.

Кубарев В.Д. Антропоморфные хвостатые существа алтайских гор // Антропоморфные изображения. – Новосибирск: Наука, 1987. – С. 150–169.

Кубарев В.Д. Древние росписи Каракола. – Новосибирск: Наука, 1988. – 172 с.

Кубарев В.Д. Каракольские сюжеты в новых петроглифах Алтая // Проблемы сохранения, использования и изучения памятников археологии. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. пед. ин-т, 1992. – С. 47–48.

Кубарев В.Д. Датировка петроглифов по находкам из погребальных памятников Алтая // Современные проблемы изучения петроглифов. – Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1993. – С. 104–112.

Кубарев В.Д. Анализ петроглифов и комментарии // Jacobson E., Kubarev V.D., Tseevendorj D. Mongolie du Nord-Ouest: Tsagaan Salaa/Baga Oigor. – Р.: De Boccard, 2001. – Р. 60–83. – (Répertoire des Pétroglyphes d'Asie Centrale; Т. V. 6).

Кубарев Г.В., Якобсон Э., Цэвээндорж Д., Кубарев В.Д. Петроглифы Ирбисту // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: ИАЭт СО РАН, 2002. – Т. 8. – С. 361–365.

Лабецкий П.П. Опыт исследования культуры Алтая в свете творчества Н.К. Рериха (на примере астромифологического фрагмента памятника наскального искусства Горного Алтая) // Рериховские чтения 1997 г.: Мат-лы конф. – Новосибирск: Сиб. Рериховское об-во, 2000. – С. 427–441.

Мартынов А.И. Лесостепная тагарская культура. – Новосибирск: Наука, 1979. – 208 с.

Мартынов А.И., Марьяшев А.Н., Абетеков А.К. Наскальные изображения Саймалы-Таша. – Алма-Ата: Казах. гос. пед. ун-т, 1992. – 110 с.

Марьяшев А.Н., Горячев А.А. Наскальные изображения Семиречья. – Алматы: 21 век, 1998. – 206 с.

Неклюдов С.Ю. Монгольских народов мифология // Мифы народов мира. – М.: Сов. энцикл., 1992. – Т. 2. – С. 170–174.

Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – 373 с.

Окладников А.П. Петроглифы Центральной Азии. – Л.: Наука, 1980. – 271 с.

Окладников А.П. Древнейшие петроглифы Аршан-Хада // Пластика и рисунки древних культур. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 27–33.

Окладников А.П., Окладникова Е.А., Запорожская В.Д., Скорынина Э.А. Петроглифы долины реки Елангаш. – Новосибирск: Наука, 1979. – 137 с.

Окладникова Е.А. Петроглифы Средней Катуни. – Новосибирск: Наука, 1984. – 110 с.

Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. – СПб.: [Тип. Киршбаума], 1883. – Вып. 4. – 1025 с.

Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. – Л.: Наука, 1991. – 321 с.

Советова О.С. Петроглифы тагарской эпохи на Енисее: (Сюжеты и образы). – Новосибирск: ИАЭт СО РАН, 2005. – 140 с.

Цэвээндорж Д. Монголын эртний урлагийн тухуу (История древнего искусства Монголии). – Улаанбаатар: Gamma, 1999. – 317 с. (на монг. яз.).

Цэвээндорж Д., Цэрэндагва Я., Гунчинсурэн Б., Гарамжав Д. Жавхлант хайрханы (Петроглифы Жавхлант Хайрхан). – Улаанбаатар: Археологийн хурээлэн, 2004. – 313 с. (на монг. яз.).

Членова Н.Л. Тагарские лошади // Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье. – М.: Наука, 1981. – С. 80–94.

Юань Кэ. Мифы древнего Китая. – М.: Наука, 1965. – 496 с.

Jettmar K. Trockenmumien in Sinkiang und die Geschichte der Tocharer // Antike Welt. – 1998. – № 2. – Р. 135–142.

Kubarev V.D., Jacobson E. Sibérie du sud 3: Kalbak-Tash I (République de L'Altai). – Р.: De Boccard, 1996. – 45 p., 15 pl. – (Répertoire des pétroglyphes d'Asie Centrale; Т. V. 3).

Материал поступил в редакцию 06.03.06 г.

УДК 903.5

Э.Б. Вадецкая¹, Л.С. Гавриленко²¹*Институт истории материальной культуры РАН**Дворцовая наб., 18, Санкт-Петербург, 191806, Россия**E-mail: vadetskaya@mail.ru*²*Государственный Эрмитаж**Дворцовая наб., 34, Санкт-Петербург, 191000, Россия**E-mail: LSEWA1@hermitage.ru*

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РОСПИСЬ ГИПСОВЫХ МАСОК ЕНИСЕЙСКИХ МУМИЙ

Введение

Данная работа является логическим продолжением статьи “Енисейские мумии (археологические источники и их анатомическая экспертиза)”, опубликованной в этом же журнале в 2003 г. [Вадецкая, Протасов, 2003, с. 36–47]. В ней пойдет речь о материалах позднейшего тагарского (тесинского) кургана Новые Мочаги, поскольку в других аналогичных курганах гипсовых масок практически не сохранилось.

Курган расположен в 12 км к З от г. Саяногорска около д. Калы (Хакасия). В 1983 г. он был раскопан начальником отряда Среднеенисейской экспедиции ЛОИА АН СССР Н.Ю. Кузьминым. Погребальная камера (размеры: 11×12 м) в отличие от десятков других погребений того же времени устроена не в яме, а на поверхности земли. Она сложена из дерна и окружена оградой. Внутренние стенки конструкции обложены берестой, деревянными плахами и обрамлены вертикально поставленными бревнами. В центре находился сруб размерами 7,5×7,5 м, высотой не менее 50 см. В нем, видимо на полатях, было размещено свыше 80 мумий, которые упали и лежали беспорядочно, но плотно друг на друге, без каких-либо земляных прослоек. Сохранились преимущественно целые скелеты, но 23 мумии представлены либо черепами и разрозненными костями, либо частями костяков в сочленении. Между дерновыми стенками и срубом обнаружены останки еще не менее 30 чел., в основном одни черепа, лежавшие по одному или кучками. Сруб был нарушен грабителями, поэтому

о происхождении останков за его пределами можно сделать два предположения: либо в срубе хоронили целые мумии, а за срубом их части, либо, что вероятнее, черепа вместе с немногочисленными костями были выброшены из сруба грабителями.

Физические условия, возникшие при сожжении камеры, способствовали сохранности глины, костей, некоторой другой органики. Под скелетами и на них местами сохранился слой из травяной массы бурого цвета толщиной до 1,5 см. Им же покрыты некоторые длинные кости рук и ног. Черепа трепанированы и тоже заполнены травой. Снаружи они вместе с шейными позвонками были обмазаны глиной, а сверху глины покрыты тонким слоем гипса. В нескольких глиняных глазницах сохранились голубовато-зеленые стеклянные бусины, имитирующие зрачки. На некоторых глиняных и гипсовых лицах имелись следы росписи, выполненной красной и черной краской (см.: Кузьмин Н.Ю. Отчет о работах Саяногорского отряда Среднеенисейской экспедиции на территории Означенской оросительной системы в 1983 г. – Архив ИИМК РАН, ф. 35, оп. 1. 1983, д. 146, с. 2–17, а также: [Кузьмин, 1985, с. 216–217].

Тонкие и потрескавшиеся гипсовые маски при расчистке распались на кусочки. Поэтому примерно с 50 глиняных черепов фрагменты гипсовых масок были сняты, а на двух черепах – закреплены вместе с глиной. Почти весь антропологический материал Н.Ю. Кузьмин передал в отдел антропологии МАЭ, однако 20 черепов, на которых лучше всего сохра-



Рис. 1. Череп скелета 13 с кусочком гипса поверх глиняной глазницы. Фото Н.Ю. Кузьмина (фотоархив ИИМК РАН, д. 3087, № 537).



Рис. 2. Череп скелета 2 с кусочками гипсовой маски на глазах и поверх рта. Фото Н.Ю. Кузьмина (фотоархив ИИМК РАН, д. 3087, № 536).

нилась глина, вместе с собранными фрагментами масок остались в ИИМК РАН.

Н.Ю. Кузьмин, основываясь на первичных впечатлениях, полученных в процессе раскопок мумий, опубликовал свою интерпретацию погребального обряда [1985а, с. 48; 1991, с. 153; Кузьмин, Варламов, 1988, с. 146–155]. Но сами черепа и маски он даже не распаковал. Только спустя 13 лет после окончания раскопок перед отъездом в Германию Н.Ю. Кузьмин сообщил о тех и других и предложил начать их изучение. К этому времени относительно хорошо сохранились лишь четыре черепа с глиняной облицовкой; они опубликованы [Вадецкая, 1999, рис. 85, 2; 2004, с. 302, рис. 1, 3, 4, 6; Вадецкая, Протасов, 2003, рис. 3–6]. Остальные черепа оказались раздавленными; глина частично покрывала восьми череп-

пов. Первоначальный вид еще трех моделированных глиной черепов с кусочками гипсовых масок запечатлен на трех полевых фотографиях, но сейчас черепа не идентифицируются даже по наиболее удачным фотографиям двух из них (рис. 1, 2), поэтому при работе с ними невозможно использовать имеющиеся антропологические определения [Медникова, 2001, с. 214–220, рис. 2–4], а также уточнить принадлежность обломков масок к конкретным черепам. Но в ходе анатомической и химической экспертизы фрагменты черепов с глиной дали больше информации, чем целые черепа. Первая проводилась с целью определения физического состояния тел в период превращения их в мумии. Вторая была призвана изучить состав глиняного теста*.

Установлено, что глиной моделированы черепа скелетированных трупов, т.е. после естественного разложения тканей, но при частичном сохранении высохших остатков тканей в наружных отделах каналов черепа, в глазницах, позвонках и т.д. Определена последовательность реконструкции головы по черепу: заполнение лобной части черепа травой, а рта, носа и глазниц – глиной, обмазка глиной снаружи всего черепа, включая шейные позвонки [Вадецкая, Протасов, 2003, с. 41–46]. В растительной массе, заполнявшей мозговую полость черепа, определен тростник [Там же, рис. 13; Вадецкая, 2004, с. 307] либо смесь из веточек ивы, бересклета и разнотравия со злаками.

Выяснилось, что в глиняное тесто в качестве связывающего компонента в небольших количествах добавляли траву, шерсть, а также известняк. Последнюю вводили чаще всего в виде отдельных кусков для разрушения органики, сохранившейся в труднодоступных частях черепа. Для закрытых от внешнего воздействия частей, как правило, использовали глину без связывающего компонента [Медникова, 2002, с. 256; Вадецкая, 2004, с. 307]. Реконструкция пяти черепов производилась, видимо, из глины одного месторождения. Она бежевого цвета, с серым или розовым оттенком. Шестая маска сделана из красно-коричневой глины, основным естественным красителем которой является гематит [Егорьев, 2002, с. 236]. Эта глина отличается не только по цвету, но и по составу [Медникова, 2002, с. 256] и, очевидно, извлечена из другого месторождения.

Параллельно с изучением глин, покрывающих черепа, проводились химические анализы гипсовых масок [Вадецкая, 2004, с. 307]. Результаты их всестороннего исследования обсуждаются в данной

* Медицинская экспертиза проведена патологом-анатомом В.А. Протасовым, химические анализы глины выполнены Е.Ю. Медниковой, гипса и красок – Л.С. Гавриленко, ботанические определения сделаны М.И. Колесовой.

статье. Отпечатки на тыльной стороне масок позволяют определить внешний вид лица мумии, на которое наносили маску. Два вида мумии (без маски и в маске) отражают два ритуала, за которыми скрываются представления населения о живом и мертвом покойнике, т.е. о физической смерти и ее фактическом признании.

Источники и методы исследования

Остатки гипсовых облицовок вместе с глиной лучше всего сохранились на двух черепах. Изображения обоих черепов опубликованы. Гипсовые облицовки называются масками, хотя гипс и глина покрывают череп со всех сторон и шею.

Череп (№ 34) женщины 25–35 лет был моделирован глиной толщиной 1,0–1,5 см, а затем покрыт слоем гипса толщиной 2–4 см. Глаза и губы на гипсовой маске сомкнуты. На щеках еле заметны узоры в виде зигзагов с трилистниками и кружками на противоположных концах. Между глазами, выше переносицы, – фрагмент красной фигуры [Вадецкая, 1999, рис. 85, 2; 2004, рис. 1, 4; Вадецкая, Протасов, 2003, рис. 6; Медникова, 2001, с. 219, рис. 4, б].

На черепе (№ 46) мужчины ок. 35 лет толщина слоя глины составляла 1,5 см. На глине сохранились красная полоса шириной 1,5 см, пересекающая лицо в районе губ, а в височной области – часть черного круга. Поверх глины наложен гипс; его остатки имеются в области правого глаза, виска и верхней части щек. Гипсовое лицо окрашено красной охрой, которая обнаружена и на стороне слоя гипса, прилегающей к глине, т.е. этой краской могла быть окрашена как поверхность глины, так и органический материал (кожа или ткань), со временем разложившийся и утраченный. В нескольких местах поврежденный слой охры перекрыт тонким слоем киновари; на виске на охре черной краской из древесного угля нарисован круг. Таким образом, красочный слой маски был обновлен, роспись на маске и голове мумии в целом совпадает [Медникова, 2001, с. 219, рис. 2; Вадецкая, Протасов, 2003, рис. 4; Вадецкая, 2004, рис. 1, б].

Остатки глины и гипса имеются еще на трех разрушенных черепах. Кусочки красной гипсовой маски закрывают глаз, часть щеки и губы на правой половине моделированного глиной черепа (№ 45) мужчины. В области челюсти под гипсом на глине просматривается красная краска [Медникова, 2001, с. 219; Вадецкая, Протасов, 2003, рис. 8, 2]. Кусочки такой же маски имеются в области глаза, щеки и губ на левой половине моделированного глиной черепа (№ 33) мужчины 40–49 лет. В прорези глаза на глине видна красная краска [Медникова, 2001, с. 219, рис. 2]. Гипс, раскрашенный красной краской, сохранился на

глиняной глазнице черепа (№ 47) женщины (?) 15–19 лет [Там же, с. 219]. Таким образом, на пяти черепах была красная маска. Четыре черепа определены как мужские, пятый принадлежал предположительно юной женщине. Одна белая маска с красной росписью соответствовала черепу женщины. Под тремя красными масками глиняная обмазка мужских мумий была выкрашена также в красный цвет. Еще с 50 черепов фрагменты гипса были сняты при раскопках. Они преимущественно мелкие, хрупкие, толщиной 1–5 мм. Из них были склеены обломки 47 масок, в основном глаза с частями щек, губы и куски шей. Очень мало фрагментов облицовок лба, носа и ушей. Только 12 гипсовых облицовок-масок удалось восстановить наполовину или чуть более.

В лаборатории физико-химических исследований материалов отдела научно-технической экспертизы Государственного Эрмитажа исследованы материалы 15 масок (две из них были на черепах), в т.ч. более 100 отдельных фрагментов. Чтобы реконструировать технологию изготовления масок и определить их особенности, были изучены структура фрагментов и состав использованных материалов, способы нанесения отделочных и красочных слоев, примененные пигменты, органические добавки. Особо анализировались оборотная поверхность масок и имеющиеся на ней отпечатки; это помогло получить представление не только о технологических процессах, но и о некоторых характерных ритуальных действиях по отношению к умершим. Выявленные следы реставрации, которая заключалась в нанесении новых отделочных и красочных слоев, позволили сделать вывод о длительности ритуала прощения с покойным.

Исследования проводились с применением разнообразных методов – микроскопического, микрохимического, инфракрасной Фурье-спектроскопии и Фурье-микроспектроскопии (ст.н.с. И.А. Григорьева), рентгенофлюoresцентного спектрального анализа (ст.н.с. С.В. Хаврин). Таксономическая принадлежность растительных частиц (древесина, луб, сердцевина) определена микроскопическим методом по анатомическим признакам строения клеточных элементов и фрагментов тканей, в т.ч. фрагментов эпидермиса (кожицы) побегов и листьев (в.н.с. М.И. Колосова). Их результаты дали возможность составить очень подробную характеристику каждой маски (подготовлена для сводного каталога тагарских и таштыкских масок). В настоящей статье публикуются данные двух масок*.

Маска № 50 (15,5×14,5 см). Лоб, нос и часть левой щеки отсутствуют. Толщина стенок 1–5 мм, в области губ – 5–12 мм. Материал белого цвета, плотный, твер-

* Рисунки этих масок выполнены Л.А. Соколовой. Ею же склеены части всех других масок.

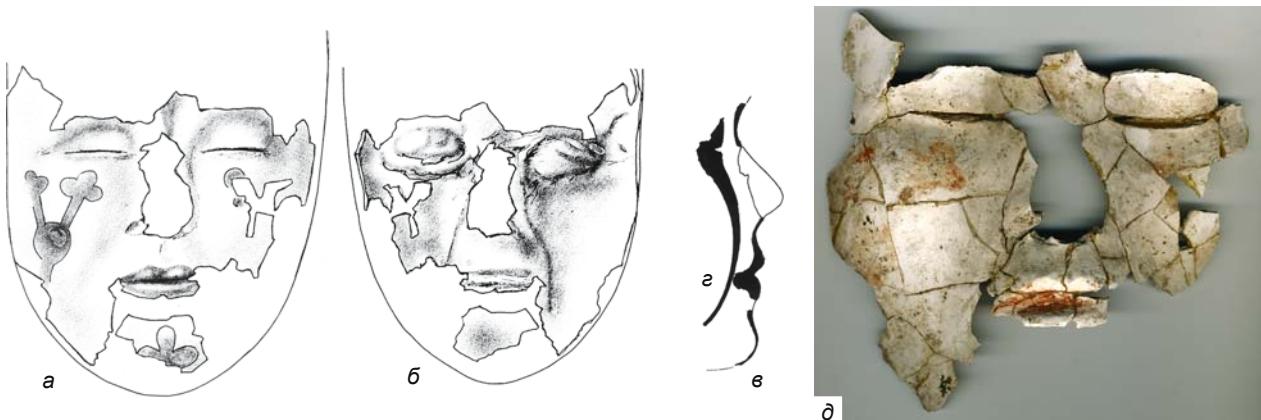


Рис. 3. Мaska № 50. Графическое изображение (а–с) и фото с лицевой стороны (д).
а – с лицевой; б – с оборотной стороной; в – профиль с внешней стороны; г – профиль с оборотной стороны.

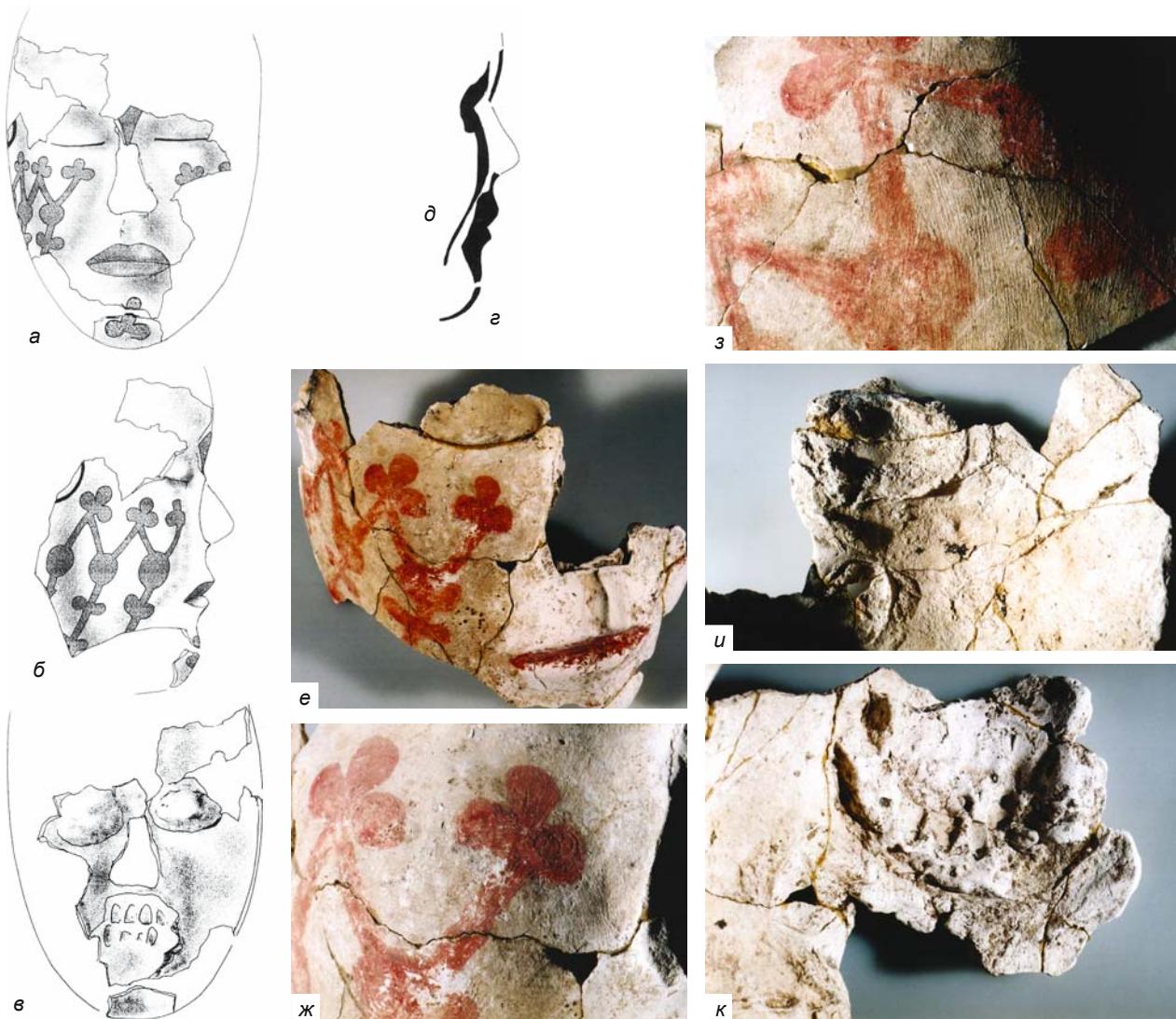


Рис. 4. Мaska № 43. Графическое изображение (а–д) и фото (е–к).

а – с лицевой; б – с правой; в – с оборотной стороной; г – профиль с внешней стороны; д – профиль с оборотной стороны; е – правая половина; ж – узор, намеченный острым предметом и раскрашенный киноварью; з – следы кисти на отделочном слое; и – отпечатки двух (прямоугольного и поверх него овального) кусочков ткани против глаза, а также сшитых кусочков ткани на оборотной стороне маски; к – отпечатки зубов поверх гипсовой накладки.

дый, хрупкий. Нижний слой толщиной ок. 1 мм, основной – от 1 до 3 мм, отделочный – менее 1 мм. Губы окрашены красной охрой; на щеках нарисован узор – сплошной кружок с двумя трилистниками на длинном черенке; на подбородке изображен трилистник, выше переносицы – треугольник. На фрагменте шеи – черная горизонтальная полоса. На обратной стороне видны отпечатки травянистых растений и грубых рельефных швов, а напротив глаз – гипсовые накладки толщиной 5 мм с отпечатками кусочка ткани, напротив рта – накладка с отпечатками зубов (рис. 3). Основные компоненты теста – гипс со следами карбоната кальция (1 %), глинистых соединений, обогащенных соединениями железа (8,7 %), и песок (1,8 %).

Маска № 43 (19×14,5 см). Лоб, нос и края щек, а также многие мелкие фрагменты отсутствуют (рис. 4, *a, b*). Толщина стенок 1,5–3 мм, на отдельных участках – до 5 мм (рис. 4, *г, д*). Материал кремового цвета, пористый, сравнительно твердый. Поверх одного неровного слоя гипса нанесен отделочный слой толщиной 0,5 мм. Поверхность гладкая, выровнена жесткой кистью, оставившей следы (рис. 4, *з*). Видны узоры; они нанесены острым предметом по не полностью высохшему отделочному слою (рис. 4, *ж*) и раскрашены киноварью: между глаз – треугольник, на подбородке – трилистник, на щеках – параллельные, диагонально расположенные трилистники, соединенные черенками с кружками (см. рис. 4, *б, е*). На губах отмечен утолщенный слой киновари. Прорези глаз и круглая линия на виске обозначены черной краской, изготовленной из измельченного древесного угля. На обратной стороне местами сохранились остатки глины, на уровне рта – отпечатки зубов (рис. 4, *в, к*), на месте глаз – прямоугольной основы с фактурой ткани, около них – отпечатки швов, соединявших кусочки ткани, которыми была обшита глиняная голова (рис. 4, *и*). На месте носа очерчен участок трапециевидной формы. Таким образом, на месте глаз и рта (с наружной стороны) слой гипса был утолщен иложен на ткань; он заполнил имевшиеся углубления. Основной компонент теста – гипс, содержащий в своем составе карбонат кальция (до 2,5 %), глинистые соединения, обогащенные железоокисными соединениями (3,5 %) и песок (1,5 %). Инфракрасный спектр подтверждает присутствие в составе теста карбоната кальция и железоокисных соединений.

Основные детали реконструкции внешнего вида лица мумии

На обратной стороне всех масок видны отпечатки швов, кожи, реже переплетений ткани, против глаз и рта имеются слипшиеся с маской гипсовые выпуклости с отпечатками наложенных поверх кусочков

ткани. Против глаз, как правило, отмечаются следы переплетений ткани. Такие оттиски между губами встречаются реже, возможно, потому, что они затерты отпечатками зубов. Остановимся на этом подробнее.

На тыльной стороне фрагментов всех масок обнаружены отпечатки кожи животных, складок грубого материала и рельефных швов, которые могли образоваться при сшивании через край кусочков кожи или грубой ткани. Многие фрагменты демонстрируют отпечатки стеблей травянистых растений или остатков растений, а также фактуры тканей. Таким образом, можно сделать вывод, что основой для гипсовых масок служили черепа, предварительно покрытые глиной, а затем обшищие кусочки сшитой кожи или ткани. Обшивку делали из лоскутов, сшитых через край. Швы на ткани тонкие, аккуратные, на коже – грубые, рельефные (см. рис. 4, *и*; 5, *а*).

На обратной стороне всех масок на месте глаз, как отмечалось, имеются гипсовые выступы толщиной от 3,5 (маски № 35а; 36б; 43а; 50; 50а; и др.) до 10 мм (маска № 36а)*. На них видны отпечатки прямоугольных или овальных кусочков ткани размерами от 3×2 и 3×3 до 4×4 см, обметанных по краям ниткой (см. рис. 4, *и*; 5, *б*; 6, *б*; 7, *б, в*). Значит, глазницы мумии закрывали кусочком ткани и замазывали гипсом. Между губами на обратной стороне масок отмечены полоски гипса размерами от 4×0,5 до 6×2 см и толщиной 5–10 мм. На них имеются отпечатки зубов (см. рис. 4, *к*; 7, *г*), а на маске № 37 – кусочек самого зуба. Можно предположить, что обшия кожей голова мумии была с открытыми глазами, у нее была частично видна часть зубов. Расположение отпечатков на строго определенных местах (у глаз, рта) отражает приемы наложения гипса. Так, утолщенный слой гипса на месте глаз, по форме близкий к прямоугольнику, и узкая удлиненная полоска гипса между губами или утолщенный до 9 мм слой гипса (всегда с отпечатками зубов) против рта свидетельствуют о том, что перед наложением маски порция гипса вдавливалась и заполняла полости глиняных глазниц и открытый рот. Судя по отпечаткам переплетений полосок ткани (прямоугольной или овальной формы), обметанных по краям нитками, практически на всех глиняных накладках, у мумии глаза и рот предварительно закрывали кусочками ткани. Некоторые швы достаточно толстые – вероятно, кусочки ткани не только накладывали на глаза, но и иногда пришивали к коже или ткани (швом через край), обтягивающей череп поверх глины. После этого накладывали и вдавливали порцию гипса, на который уже наносили собственно маску.

* Часто под одним номером значились две маски (маска с отдельного черепа и маска со скелетом); им присваивались дополнительные буквенные обозначения.



Рис. 5. Маска № 42.

а – отпечатки растений, кожи и грубых швов, соединяющих кожаные кусочки обшивки головы мумии;
б – отпечатки ткани против глаза.



Рис. 6. Маска № 38.

а – прорезь окрашенного охрой глаза, под которым видна красная краска; *б* – отпечатки основы прямоугольной формы и грубых швов против глаза.

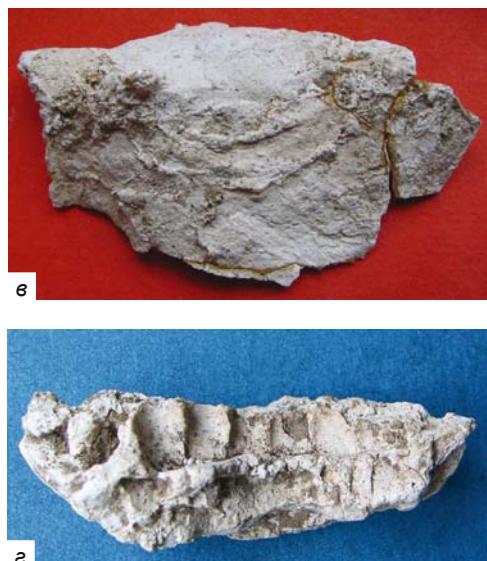


Рис. 7. Маска № 39.

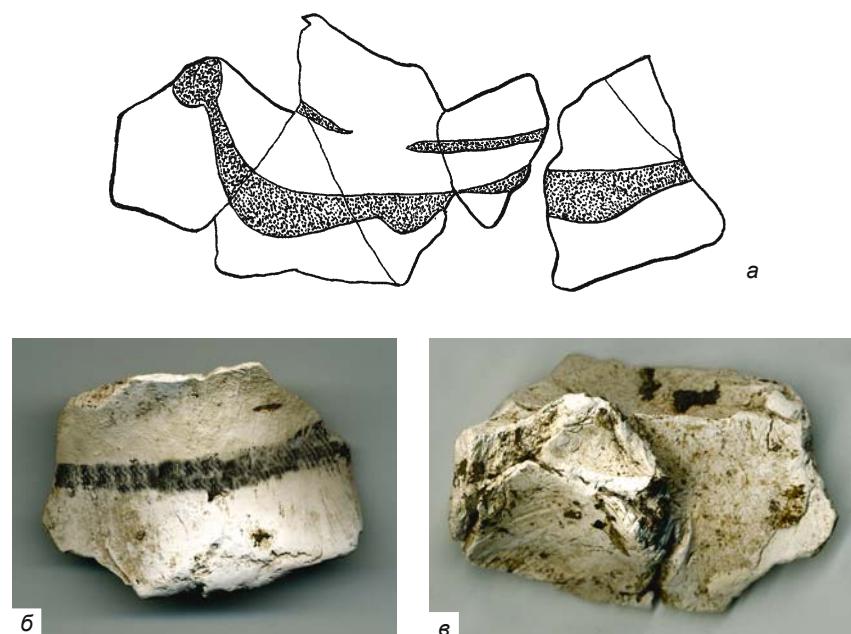
а – глаза с кусочками щек и губы; *б* – отпечатки двух кусочков ткани и гипсовая накладка против левого глаза;
в – отпечатки двух кусочков ткани против правого глаза; *г* – отпечатки зубов на гипсовой накладке с оборотной стороны губ.

Кожаное лицо мумии, видимо, раскрашивалось. Под микроскопом заметны следы красной краски не только на внешней, но и на внутренней стороне масок № 32, 38 и череп № 46), а на тыльной стороне масок видны отпечатки кожаной поверхности головы мумии. На черепах № 33, 45, 46 красная краска просматривается на глине под гипсовыми масками. Конечно, краска могла стекать по краям маски при ее раскрашивании (см. рис. 6, а), однако на черепе № 46 красная охра есть как на глине, под маской, так и на внутренней поверхности маски. Видимо, при разложении окрашенной кожи краска либо осела на глине, либо окрасила внутреннюю поверхность маски.

По внешнему виду обшитое кожей глиняное лицо мумии с открытыми глазами, в которые вставлены зрачки-бусинки, с чуть приоткрытым ртом, в котором видны зубы, ассоциируется с живым, точнее ожившим, человеком (см. рис. 1, 2) [Вадецкая, Протасов, 2003, рис. 3; Вадецкая, 2004, рис. 1, 3]. Внешний вид мумии с гипсовым лицом, изображенным с закрытыми глазами и сомкнутыми губами, соответствует мертвому человеку (см. рис. 3, 4) [Вадецкая, Протасов, 2003, рис. 6; Вадецкая, 2004, рис. 1, 4]. И те, и другие отражают разные этапы перехода мертвого в другой мир и связаны с разными ритуалами. Между изготовлением головы мумии и маски проходило определенное время, за которое головы мумий иногда успевали разрушиться. Об этом говорят косвенные свидетельства. Так, помимо отпечатков кожи и ткани на обратной стороне фрагментов гипса имеются прилипшие кусочки глины или волокна растений (см. рис. 5, а; 8, а). Возможно, они проникли



*Рис. 8. Мaska № 49.
а – отпечатки кожи и частицы глины на обратной стороне; б – фрагмент стенки с тонким гладким отделочным слоем; в – следы реставрации отделочного слоя двумя новыми и фрагмент с дважды окрашенной поверхностью верхнего слоя; г – обновленная роспись на маске.*



*Рис. 9. Мaska № 50а.
а – красная роспись на лбу (прорисовка); б – фрагмент шеи с черной полосой; в – накладка гипса на обратной стороне подбородка.*

сюда из кожаной обшивки и даже из черепной коробки, из мест, где кости черепа по каким-то причинам оказались поврежденными. Левая глазница мумии была разрушена, вероятно, когда делали маску № 35а, поэтому ее, закрыв кусочком ткани, замазали гипсом толщиной 5 см, потом покрыли еще одним кусочком ткани и обмазкой толщиной в 3 мм. Правая глазница была в сохранности и покрыта кусочком ткани, практически без обмазки. Таким же образом были закрыты глаза мумии под маской № 39 (см. рис. 7, б, в). Возможно, будучи поврежденной, глазница под маской № 44 была закрыта не одним, а двумя кусочками ткани (3×2 и 3,5×2,3 см). Гипсом, кусочки которого налеплены на оборотной стороне маски № 50а в области подбородка или шеи (рис. 9, в), видимо, замазывали трещину в нижней челюсти.

Состав теста и способы изготовления масок

Природный состав гипса определен для 13 масок. Для 8 из них установлены специальные добавки, вводившиеся при размешивании гипса с водой (см. таблицу).

Природный гипс содержал примеси глины, песка и известняка. Гипсовый камень с примесями ок. 10 % считается наиболее пригодным для производства вяжущих веществ и используется для получения технического, формовочного и медицинского гипса. Сырец, содержащее ок. 25 % примесей, относится к более низкому сорту. Примеси в гипсе, используемом в качестве строительного материала, не должны превышать 35 %. Согласно результатам анализов, изучаемые маски были изготовлены из довольно чистого гипса; общее содержание примесей в нем не превышает 10 %. Материал, из которого сделаны маски, преимущественно белого цвета, плотный, твердый, хрупкий. Некоторые маски отличаются белизной и повышенной твердостью, особенно отделочные слои. В составе теста обнаружены добавленные при его замешивании в качестве наполнителя шерсть и измельченный растительный материал, в т.ч. остатки травянистых растений (определен фрагмент эпителия стебля травянистого растения), но в незначительном количестве. Кроме этого, в тесте многих масок присутствует как наполнитель в небольшом количестве измельченный древесный уголь. В процессе изготовления гипсовой маски, предполагающем нанесение гипсового раствора на основу, его равномерное распределение по поверхности и выравнивание, важно учитывать скорость схватывания, т.к. она определяет время, в течение которого ма-

териал пригоден к использованию, и в конечном итоге качество изделия*.

Древние мастера, вероятно, владели некоторыми технологическими приемами массового производства масок. Например, составляли оптимальную пропорцию воды и гипса, позволявшую максимально увеличить время, необходимое для наложения и выравнивания гипса, но без ущерба для прочности, добавляли вещества, придававшие готовому изделию повышенную твердость, в частности, животный клей (желатины), молоко, сыворотку или минеральные квасцы. Присутствие органических соединений в гипсовом материале подтверждается данными, полученными методом инфракрасной спектроскопии.

Общая толщина масок 4–5 или 6–7 мм, редко до 8 мм, толщина в области шеи и носа до 10 мм. Гипс наносили на основу в два или три приема, затем покрывали тонким (толщиной менее 1 мм) отделочным слоем. Толщина первого нижнего слоя 1–2 мм, в редких случаях более, основного – от 1 до 3–5 мм; в

* Скорость схватывания обожженного гипса зависит от соотношения продуктов, образующихся при нагревании гипса, естественных загрязняющих примесей и размера частиц. Схватывание обожженного гипса – это экзотермическая реакция, сопровождающаяся небольшим увеличением объема на последних стадиях. Однако время схватывания и степень расширения можно в значительной степени изменять, вводя соответствующие добавки-электролиты. Известно, что гипс, смешанный с раствором животного клея, а также с другими органическими коллоидами, затвердевает гораздо медленнее обыкновенного. Подобными замедлителями схватывания являются бура, различные соли уксусной кислоты. Квасцы, другие сульфаты, а также хлориды щелочных металлов сокращают время схватывания гипса. Для ускорения твердения добавляют известь или известняк, являющиеся катализаторами этого процесса. Однако и бура, и квасцы придают изделиям из гипса повышенную твердость, т.е. как ускорители, так и замедлители весьма заметно уменьшают величину расширения гипса при схватывании. Учитывать данное свойство особенно важно при изготовлении предметов, которые должны быть строго определенного размера. В этом случае жженый порошкообразный гипс размешивают с раствором буры или квасцов и смазывают таким раствором поверхность уже готового изделия, если хотят произвести поверхностное укрепление. Таким образом, комбинируя соотношение ускорителей и замедлителей, можно подобрать оптимальную скорость схватывания и получить прочное изделие. На время схватывания, степень расширения, прочность и пористость влияет и соотношение обожженного гипса и воды. Так, при соотношении 100:60 время схватывания составляет ок. 7 мин, а при соотношении 100:80 оно увеличивается до 10,5 мин, но прочность на сжатие уменьшается. Обожженный и измельченный гипс приобретает особую крепость, если его вымочить в течение одних суток в растворе квасцов, а затем высушить на воздухе и подвергнуть вторичному обжигу.

Содержание естественных примесей гипса и добавок в тесте, %

№ маски	Карбонат кальция	Железо в глине	Песок	Добавки
42	3,0	9,6	2,4	Измельченный уголь
50	1,0	8,7	1,8	–
49	2,0	6,1	0,5	Органические соединения
32	Немного в отделочном слое	4,3	0,7	–
43	2,5	3,5	1,5	–
33а	2,0	2,4	4,1	Уголь, шерсть, трава
33б	Следы	2,4	2,0	Растения, шерсть уголь
46а	»	1,5	3,2	Растения, шерсть
41б	–	–	–	Трава, уголь, волос
35а	2,0	Следы	Следы	Волос
Без номера	Немного	–	–	Органические соединения, уголь

утолщенных местах имеется дополнительный третий слой. Нижние слои перед нанесением последующих, как правило, хорошо просушивали, о чем свидетельствуют четкие границы между ними. При недостаточной просушке слоев границы едва различимы. Верхний отделочный слой, служащий грунтом, подготовлен для росписи. Характерно, что у многих масок он чистейшего белого цвета, с гладкой поверхностью, из плотного и твердого материала. Часто отделочный слой гораздо белее цвета самой маски. При этом он очень тонкий, ровный по толщине, вполне вероятно, что его наносили не вручную, поверхность маски обливали сравнительно жидким тестом, которое распределялось очень ровно по поверхности и при высыхании не требовало дополнительной обработки (см. рис. 8, б). Поверхность других масок тоже гладкая, но выровнена жесткой кистью, от которой остались следы (см. рис. 4, з). Материал отделочного слоя состоит почти полностью из чистого гипса, примеси незначительные, но содержание карбоната кальция в нем несколько выше, чем в основных слоях маски, что также подтверждается инфракрасными спектрами. Делать вывод о преднамеренном добавлении извести в данном случае было бы не корректно, хотя необходимо отметить, что даже небольшое количество извести способно придать гипсу повышенную твердость, пластичность, устойчивость по отношению к воде и снизить пористость.

Прорези глаз маски делали по непросохшему гипсу; они глубокие, с гладкими краями.

Роспись масок

Гипсовые маски, как отмечено Н.Ю. Кузьминым, были белые, серые и желтые, раскрашенные красной и черной краской. Глиняные лица некоторых мумий,

по его мнению, разрисованы теми же красками и только глаза и губы покрыты гипсом [Кузьмин, 1985а, с. 217; Кузьмин, Варламов, 1988, с. 149].

В действительности имеются лишь гипсовые белые маски, раскрашенные красной и черной краской, и красные, те и другие примерно в равных количествах. Ни желтых, ни серых нет; несколько масок слегка закоптилось при пожаре в склепе.

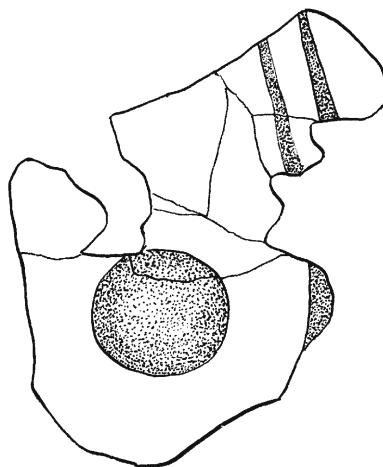
Следы краски на глине под гипсовыми масками, видимо, были на кожаных обшивках. Во всех случаях передняя часть головы мумии закрывалась гипсовой маской, но от нее сохранились, как правило, глаза с кусочками щек и губы. Как указывалось, участки кожаной обшивки, где были глаза и рот, предварительно закрывали кусочком ткани и замазывали, поэтому на глазах и губах всегда больше гипса, чем на других местах маски, здесь их стенки толще.

Некоторые белые маски имеют кремовый оттенок, что объясняется высоким содержанием в глине железоокисных примесей и слабой очисткой гипса от них при изготовлении отделочного слоя маски. По не полностью высохшему отделочному слою белых масок прочерчивали острым предметом узор, который окрашивали. У красных масок разукрашена в красный цвет вся поверхность (см. рис. 7, а; 10). В качестве пигментов служили в основном охра красных цветов разных оттенков (красная, красно-коричневая и оранжевая), киноварь, серо-голубая краска земляного происхождения и угольная черная из древесного угля. Использовались смеси киновари и охры.

На фрагментах красных масок черной краской окрашены верхние края глазных прорезей. На одной маске в области виска виден черный полукруг. На белых масках сплошь красным выкрашены только губы, в остальных местах нарисованы красные узоры, сохранившиеся частично. Роспись из стандартных фигур покрывает четко определенные места – щеки, лоб (чуть выше переносицы), подбородок и шею



Rис. 10. Мaska № 36б. Фрагменты лба, глаза с кусочками щек и губ.



Rис. 11. Мaska № 41. Подбородок и часть щеки с красной росписью.

(см. рис. 4, а, б). Щеки густо разрисованы трилистниками на одном-двух длинных черенках, которые опираются на кружки. Посередине некоторых черенков изображено по паре листочеков (см. рис. 4, б). В нижней части щек черенки заканчиваются либо точкой, либо узким треугольником (маска № 45а). Такой же узкий треугольник нарисован между глаз, а на подбородке чаще трилистник, лишь на маске № 41 – кружок (рис. 11). Иногда на черенках вместо трилистников изображали сплошные кружки. Черной краской окрашены глубокие прорези глаз и нари-

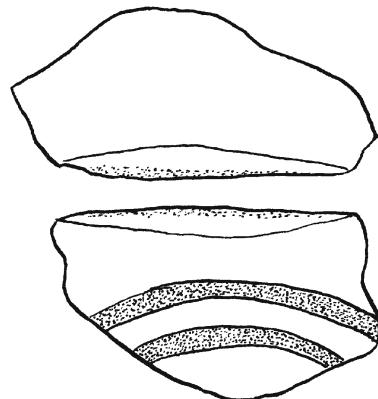


Рис. 12. Мaska № 51. Глаз с красной росписью под нижним веком.

сована горизонтальная полоса шириной до 5 мм на щеке (см. рис. 9, б). Вероятно, в области виска был нарисован черный круг или полукруг, но фрагменты височной и лобной частей маски малочисленны. На маске № 50а поперек лба показаны две параллельные линии, одна из них с одной стороны окаймлена треугольными утолщениями и заканчивается кружком (см. рис. 9, а). Две красные параллельные линии под глазом имеются на маске № 51 (рис. 12) и на щеке маски № 41 (см. рис. 11).

Расписные маски принадлежали, вероятно, женщинам, а сплошь выкрашенные красной краской – мужчинам. Первое предположение подтверждается наличием аналогичных масок на двух женских черепах. Один из них (№ 34) из данного кургана, другой – из могилы того же времени на могильнике Каменка [Пшеницына, 1975, с. 46–47, рис. 2]. В пользу второго предположения свидетельствуют три вышеописанных мужских черепа с остатками красных масок (№ 33, 45, 46) из рассматриваемого кургана. Правда, четвертый череп (№ 47) с гипсом, окрашенным красной краской поверх глазниц, предположительно принадлежал женщине 15–19 лет [Медникова, 2001, с. 219].

Характер росписи не зависел от краски. Например, на четырех масках одинаковая роспись выполнена охрой, а на трех – киноварью. В некоторых случаях роспись сначала выполнялась охрой, а позже обновлялась киноварью. Поэтому следы охры или киновари могут быть хронологическим признаком масок.

Ни композиция узора на масках, ни главный ее мотив (трилистник) не встречаются в местных орнаментах на тагарских изделиях. Если трактовать как схематичное изображение трилистника три точки на бордюрах сосудов из грунтовых тагарско-таштыкских могильников (Каменка III, Тепсей VII), а также на одном сосуде из тесинского кургана Тепсей XVI

[Вадецкая, 1999, рис. 65, 84], то происхождение этого символа не местное.

Изучение раскрашенной поверхности показало, что каждая четвертая маска перекрашивалась. Как правило, слой из красной охры был перекрыт новой краской, изготовленной из киновари. Иногда маску не только перекрашивали, но и серьезно реставрировали.

Так, на маске № 49 имеется три тончайших отделочных слоя, разделенных четкими границами (см. рис. 8, в). Каждый слой с очень гладкой поверхностью. Окрашен только верхний слой, причем дважды: сначала красной охрой, а потом киноварью (см. рис. 8, г), которая заполнила поврежденные места и трещины в верхнем слое, окрасив боковые поверхности фрагментов маски. Если считать, что отделочные слои были нанесены в разное время, то тогда маска реставрировалась не менее 3 раз.

На маске № 38 под прорезью окрашенного охрой глаза видна красная краска (см. рис. 6, а). Судя по фрагментам, на которых имеется новый отделочный слой с окрашенными боковыми поверхностями, он тоже подвергался перекрашиванию. Эта маска реставрировалась не менее 2 раз. Число подобных примеров можно увеличить.

Таким образом, следы реставрации, связанный с обновлением только одного красочного слоя или нанесением новых отделочных слоев с окрашиванием и последующим перекрашиванием, показывают, что между изготовлением маски на мумии и захоронением последней (в маске) проходило достаточно много времени.

Заключение

Изучение масок из кургана Новые Мочаги помогает составить более полное представление о мумиях и масках, найденных ранее. Грубая кожа на глиняном лице была обнаружена на мумии в кургане у с. Береш. Кожаное лицо с прорезями для глаз и пришитым носом было закрыто гипсовой маской [Вадецкая, 1999, рис. 82, 2]. Глазные прорези в кожаной обшивке головы были сделаны, чтобы мумия могла видеть. Плохая сохранность гипса не позволила исследовать внутреннюю поверхность маски на берешской мумии, но на внутренней стороне фрагментов масок, снятых с глиняных черепов из других курганов (Кызыл-Куль, Тесь, Тас-Хыл), против глазных прорезей имеются гипсовые утолщения, а против губ – отпечатки зубов [Вадецкая, 2004, с. 299]. Значит, эти маски лепили на мумии с кожаной головой, у которой были открыты глаза и рот. Внешняя поверхность указанных масок была либо белая (Тас-Хыл), либо ярко-красная (Кызыл-

Куль). На красных масках, как отметил А.В. Адрианов, изображены черные полосы или кружки [Вадецкая, 2004, с. 299]. Видимо, речь шла о полосах в виде полукруга на висках, как на маске черепа № 46 из кургана Новые Мочаги, т.к. на фрагментах других частей масок из трех курганов (Кызыл-Куль, Новые Мочаги, Лисий) следы черной краски, а не сажи, не выявлены.

Поздние тагарские курганы разделяют на условно датируемые II–I вв. до н.э. и I–IV вв. н.э. и в целом относят к хунно-сарматскому времени. Каждый из них заменяет собой целое кладбище, поэтому содержит одну большую могилу с десятками погребенных. Курганы сооружены на большом расстоянии друг от друга или возвышаются одиноко в степи. Еще С.А. Теплоухов отмечал, что могилы содержат вторичные захоронения “мертвых или костей, оставшихся от первичного погребения”, которые сжигали в самой камере [1929, с. 48–49]. Могилы отражают эволюцию погребального обряда преимущественно в двух направлениях: бронзовые изделия (в т.ч. миниатюрные) заменялись железными и совершенствовались способы изготовления мумий. Навыки реконструкции черепа с помощью глины формировались постепенно. Сначала для реконструкции черепа использовали траву и бересту, затем бересту и глину, позже – глину и кожу. Изменения коснулись, видимо, и выбора материала для масок. Указанная эволюция способа изготовления голов мумий (без глины, с глиной, но без гипсовых масок и с гипсовыми масками) отражена в материалах кургана у д. Сабинка [Вадецкая, 2004, с. 307]. Технические инновации происходили при сохранении религиозных или социальных причин, заставлявших хоронить вместе большую группу людей, умерших в разное время. Поэтому результаты анализа мумий из кургана Новые Мочаги относятся не только ко всем позднейшим (тесинским) курганам, но и более ранним. Во всех них собраны и сожжены покойники, подвергнутые нескольким похоронным процедурам (временное захоронение, “оживление” после эксгумации путем создания имитации тела, затем признание окончательной смерти путем закрытия лица маской и окончательная кремация в камере). Между актами проходило определенное время; каждый акт сопровождался соответствующими обрядами. В целом похоронная процедура была не только сложной, но и очень длительной из-за необходимости накопления мумий и периодической их реставрации. Кроме того, первые анализы растительных материалов, использовавшихся при изготовлении мумий, подтвердили высказанное ранее (на основании изучения глиняного теста) соображение о том, что умерших свозили для общего захоронения из разных мест [Там же,

с. 302]. Возможно, что каждое поколение населения тагарских поселков принимало участие в этих обрядах и сооружении кургана, как правило, 1–2 раза в своей жизни.

Список литературы

- Вадецкая Э.Б.** Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. – СПб.: Петербург. востоковедение, 1999. – 438 с.
- Вадецкая Э.Б.** Сибирские погребальные маски (предварительные итоги и задачи исследования) // Археол. вести. – 2004. – № 11. – С. 298–323.
- Вадецкая Э.Б., Протасов В.А.** Енисейские мумии (археологические источники и их анатомическая экспертиза) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 4. – С. 36–47.
- Егорьев А.Н.** К технологии изготовления тесинских глиняных масок // Степи Евразии в древности и средневековье. – СПб.: Гос. Эрмитаж, 2002. – С. 232–236.
- Кузьмин Н.Ю.** Раскопки тесинского погребально-го комплекса на юге Хакасии // АО 1983 года. – 1985а. – С. 216–217.
- Кузьмин Н.Ю.** К реконструкции погребального обряда населения Минусинской котловины в скифское время (по материалам Среднеенисейской экспедиции) // Археологи-ческие исследования в зонах мелиорации. Итоги и перспек-тивы, их интенсификация. – Л.: Наука, 1985б. – С. 47–48.
- Кузьмин Н.Ю.** Ограбление или обряд? // Реконструк-ция древних верований: источники, метод, цель. – СПб.: Гос. музей истории религии, 1991. – С. 146–155.
- Кузьмин Н.Ю., Варламов О.Б.** Особенности погре-бального обряда племен Минусинской котловины на рубеже нашей эры: опыт реконструкции // Методиче-ские проблемы археологии Сибири. – Новосибирск: Наука, 1988. – С. 146–155.
- Медникова М.Б.** Трепанации у древних народов Евра-зии. – М.: Науч. мир, 2001. – 303 с.
- Медникова Е.Ю.** О применении связующего для изго-тования глиняных масок // Степи Евразии в древности и средневековье. – СПб.: Гос. Эрмитаж, 2002. – С. 255–257.
- Пшеницына М.Н.** Глиняная голова – предшественник таштыкской гипсовой маски // КСИА. – 1975. – № 142. – С. 44–48.
- Теплоухов С.А.** Опыт классификации древних ме-таллических культур Минусинского края // Материалы по этнографии России. – Л.: Русский музей, 1929. – Т. 4, вып. 2. – С. 41–61.

Материал поступил в редакцию 15.12.05 г.

УДК 903

Е.Е. Антипина¹, А. Моралес²¹*Институт археологии РАН**ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 117036, Россия**E-mail: antipina@ai.ras.ru*²*Лаборатория археозоологии Независимого Мадридского университета
Мадрид, E-28049, Испания, Universidad Autonoma de Madrid, Cantoblanco, E-28049 Madrid, España
E-mail: arturo.morales@uam.es*

АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ УСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВА: КОСТИ ЖИВОТНЫХ ИЗ ДВУХ ПОСЕЛЕНИЙ ГОРНЯКОВ И МЕТАЛЛУРГОВ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ОКРАИН ЕВРОПЫ

Введение

Археозоология имеет огромное значение для реконструкции систем жизнеобеспечения и палеоэкологической ситуации на древних поселениях, но ей редко отводится существенная роль в исследовании технологического развития человеческого общества. Причин такого положения много, но все они сводятся к тому, что состав фауны, которая обычно соседствует с человеком, по существу, остается неизмененным во времени. И различия в фаунистических данных, по которым можно изучать влияние новых технологий на то или иное направление в производстве пищи, оказываются не столь ясными, как информация, подкрепленная другими археологическими материалами [Lyman, 1994; Антипина, 2004а].

Система жизнеобеспечения в эпоху бронзы включала три отрасли – земледелие, скотоводство и металлургию. Первые две на протяжении нескольких тысячелетий почти не претерпели кардинальных технологических усовершенствований. Металлургия же стала первым в человеческой истории примером того, как производящая отрасль, напрямую не связанная с обеспечением населения пищей, радикально преобразовывала природу не только вещей, но и явлений [Hauptmann, 1991; Chernykh, 1992]. Появление и развитие металлургии в Западной Европе по времени соответствуют, как отмечали специалисты, формированию на этой территории сложной социальной

структурь. Однако хронологическое совпадение этих процессов в регионе обычно интерпретировалось в терминах причинно-следственных связей и с течением времени предположение о том, что металлургия ведет к усилению (или даже появлению) социальной стратификации, стало неоспоримым (см.: [The Origins..., 1995]). В этом представлении можно выделить ряд важных для дальнейшего обсуждения положений, которые могут быть сформулированы следующим образом:

контроль над важным сырьевым ресурсом является источником власти и выделения элитной группы среди населения;

добыча руды и производство металла связаны с торгово-обменными отношениями;

специализация труда и социальное разделение в пределах общества эпохи бронзы были следствием зарождения и развития металлургии.

Многие специалисты критиковали такую упрощенную версию технологического детерминизма, утверждая, что результат восприятия новой технологии зависит от изначальных экономических и социальных условий [Renfrew, 1978; McGlade J., McGlade J.M., 1989]. Иначе говоря, одно и то же изобретение не всегда приводит к одинаковым культурным преобразованиям; предшествующий хозяйственный опыт может отрицательно повлиять на инновационный процесс. Естественно, что для понимания судьбы новых технологий в социуме мы должны обратиться к ин-

формации об исходной системе жизнеобеспечения, в частности к археоцелесообразным материалам.

В эпоху бронзы для противоположных частей Европы (Пиренейский полуостров и восточно-европейская степь) были характерны две совершенно разные ситуации, связанные с появлением и развитием металлургии.

Модель процесса развития металлургии, предложенная В. Люллом [Lull, 1983] первоначально для культуры Аргар – самой выразительной из иберийских культур бронзового века, – получила, несмотря на серьезные возражения [Gilman, 1981; Chapman, 1984], широкое одобрение и стала гла-венствующей в изучении древних сообществ Пиренейского полуострова. Описание модели В. Люлла включает общие положения, разработанные для других территорий Европы эпохи бронзы, которые указаны выше, а также утверждения, касающиеся только данного региона:

культурная экспансия на полуострове происходила от прибрежной зоны юго-востока Испании к внутренним районам и была вызвана потребностью в новых источниках металла;

экономическая система на полуострове складывалась на основе деятельности специализированных сообществ, функционально дополнявших друг друга (добыча руды, производство пищи и т.д.);

интенсивная металлургическая деятельность на юге полуострова привела к кризису, повлекшему за собой истощение полезных ископаемых и вырубку лесов.

Все эти утверждения взаимосвязаны. Для нас важны прежде всего те из них, которые в той или иной мере базируются на результатах археоцелесообразных исследований. Один из авторов данной статьи продемонстрировал, что фаунистические данные, которые В. Люлл привлекал для доказательства экологического кризиса, вызванного интенсивным сведением леса на юго-востоке полуострова в эпоху поздней бронзы, были не только предварительными, но и некорректными [Morales, 1990]. А. И. Монтеро [Montero, 1993] в своем детальном анализе металлургии культуры Аргар обосновал местный характер данного производства и показал отсутствие какой-либо его связи не только с появлением и консолидацией элиты в Юго-Восточной Испании, но и с возникновением там экологического кризиса.

По сравнению с суждениями В. Люлла большая часть других выдвинутых положений об особенностях развития металлургии в восточно-европейской степи выглядит более обоснованной. Археологические материалы с восточной окраины Европы предоставляют свидетельства корреляции между появлением горно-металлургического производства и изменением образа жизни – изначально кочевые скотоводы становились оседлыми поселенцами [Chernykh, 1992; Černych et al., 1998]. Эти события были отмечены не только значительным увеличением количества постоянных поселений на протяжении эпохи бронзы, но и формированием на последнем ее хронологическом этапе поразительно гомогенной культурной общности – срубной, распространенной от левобережья р. Днепр на западе до р. Урал – на востоке. Носители срубной культуры не оставили явных свидетельств социальной дифференциации; их экономика оставалась связанной с разведением скота и металлургией (обсуждение фаунистических данных по срубной культуре см.: [Morales, Antipina, 2000, 2003; Антипина, Моралес, 2005]). Таким образом, постулируемый для Западной Европы социальный “эффект металлургии” не всегда приводил к аналогичному результату на других территориях.

Металл и руда были широко распространены на поселениях срубной культуры, расположенных в восточно-европейской степи. На большинстве из них зафиксированы также следы металлургии [Chernykh et al., 2002]. Но два поселения выделяются огромными масштабами своей производственной деятельности:

поселок Горный, находившийся на территории Каргалинского меднорудного центра в степях Южного Приуралья в непосредственной близи от границы Европы и Азии. Считается, что именно отсюда поступала медная руда для практически всего Волго-Уральского ареала срубной общности. Памятник, таким образом, выступает как значимая рудодобывающая единица, само же производство металла здесь соответствовало, по-видимому, запросам местного хозяйства [Черных, 2000; Кузьминых, 2004];

Мосоловское поселение, расположенное много западнее Каргалов в лесостепной зоне в среднем течении Дона. Здесь археологами были выявлены признаки специализированной металлообработки [Прияхин, 1996].

Среди представленных выше утверждений о влиянии металлургии на развитие экономики и социальной структуры только два поддаются археоцелесообразному анализу. Это положения о непременном разделении труда, вызванном появлением металлургии, и о связи между металлургической специализацией и торгово-обменной деятельностью. В данной статье мы попытались найти ответ на вопрос: могут ли обнаруженные на поселениях срубной культуры и культуры Аргар какие-либо следы специализации, связанные с металлургией, отражаться на характере скотоводства и использовании животных в утилитарных и неутилитарных целях? Если это так, и эти следы могут быть зафиксированы на археоцелесообразных материалах, то мы хотели бы обсудить и некоторые положения, возникающие при изучении этих фактов.

Материал и методы

Рассмотрим прежде всего ряд проверяемых предложений, которые станут направляющими в дальнейшем анализе. Если развитие горно-металлургического производства обусловливало образование специализированных поселений, то на них можно ожидать появления соответствующих археозоологических “сигналов”, отражающих три направления в использовании животных:

1. Потребление пищи. Если считать поселения горняков и металлургов сообществами, деятельность которых подчинена получению несъедобных продуктов – руды и металла, то большинство съедобных продуктов должно было появляться здесь благодаря торговле или обмену. На этих поселениях набор продуктов питания, вероятно, был менее разнообразным, чем на поселениях, где производились такие продукты. Недостаточное разнообразие могло компенсироваться увеличением объемов поставок в поселения горняков тех категорий продуктов, производство которых наименее трудоемко или которые обычны в регионе. В таких поселениях в результате ввоза импортных пищевых продуктов, часто из отдаленных мест, могли появиться остатки представителей видов, отсутствовавших в фауне и флоре региона, а также кости домашних животных, значительно отличающихся по экстерьеру.

Ряд данных свидетельствует о чрезвычайно большом потреблении мяса горняками и металлургами срубной общности [Козловская, 2002а]. Это можно объяснить потребностью людей, занятых тяжелым трудом, в мясе как в высококалорийном продукте, а также особым социальным статусом горняков, который был закреплен за ними в обществе [Черных, 2000]. Этнографические источники показывают, что социальный статус человека может маркироваться потреблением мясной пищи. Даже в “эгалитарных” обществах объемы потребления мяса мужчинами и женщинами различались [Козловская, 2002б]. Археозоологические материалы позволяют оценить потребление мяса, изучая не только видовую структуру остеологической коллекции, но и скелетные спектры, половозрастной состав и следы забоя скота.

2. Производство костяных инструментов и обработка кости. В эпоху бронзы, несмотря на появление металла, среди орудий труда значительную долю составляли кости животных (на поселениях культуры Аргар только 15 % металлических изделий классифицированы как инструменты [Montero, 2002], на Горном – до 22 % [Кузьминых, 2004]). Если роль костяных орудий в горном деле была велика, то можно предположить, что наборы и количество костяных инструментов с поселений горняков и металлургов существенно отличались от таковых с обычных селищ. Так, на поселении горняков должны были пре-

обладать инструменты типа долота. При выплавке металла трубчатые кости могли использоваться и в виде переходников, связывающих систему мехов по подаче воздуха в печи, и в виде инструментов типа совков для засыпки топлива и даже просто как топливо. В результате на поселениях должно было накапливаться много остатков костей, раздробленных стандартным способом.

Масштабы использования костей могут быть выяснены посредством анализа костяных инструментов, следов обработки и подсчета обожженных костей на контекстуально-определенных участках поселения и т.д.

3. Ритуальное использование животных. Жизнь горняков и металлургов, по-видимому, должна была характеризоваться очень высоким уровнем ритуализации. Конкретные причины этого не всегда ясны, хотя очевидно, что горное дело сопряжено с огромной опасностью для жизни. В металлургии дело обстоит иначе, но сам процесс превращения руды в металл мог казаться магическим. Поэтому обнаружение на таких поселениях многочисленных следов обрядового использования животных и их костей, включая ритуальный забой скота, представляется естественным [Walter, 1937].

Ритуальная практика на поселениях может быть прослежена по наборам скелетных спектров или специфическим следам разрубов и другим отметкам на вполне определенных элементах скелета, захоронениям животных и амулетам, связанным с животными. При этом должен учитываться археологический контекст находок.

В данной статье рассматриваются археозоологические материалы лишь двух поселений, которые археологи считают яркими примерами специализации, связанной с горным делом и металлургией. И этот выбор не случаен; он сделан после оценки качества доступной археологической и археобиологической информации и возможностей ее сравнения. Остеологические коллекции с поселений Пеньялоса (Юго-Восточная Испания) и Горный (Каргаль, Южное Приуралье), несмотря на их различия (они будут прокомментированы ниже), были изучены нами практически по идентичным методикам. Получив таким образом исходные данные, мы смогли оценить их информационный потенциал, а также те мелкие детали, которые никогда не появляются в фаунистических отчетах, но часто дают полезные указания для исследования [Breton, Morales, 2000; Антипина, 2004б].

Пеньялоса

Поселение Пеньялоса ($38^{\circ}10'$ с.ш., $3^{\circ}47'$ в.д.) находится на южном склоне восточного хребта Сьерра

Морено (Андалусия), который характеризуется богатством полиметаллических обнажений и следами металлургической деятельности, датированными II тыс. до н.э. [Proyecto Peñalosa..., 2000]. Поселение расположено вдоль сланцевого мыса на правом берегу теперь уже запруженной дамбой реки в виде трех террас с жилыми постройками и фортификационными сооружениями на самом верху.

Наиболее ранние слои Пеньялосы датированы поздним неолитом, но основная фаза заселения приходится на эпоху поздней бронзы. Имеются свидетельства двух спорадических эпизодов появления здесь жителей в римское время и средневековые. Большая часть радиоуглеродных дат относится ко времени культуры Аргар и лежит в диапазоне 1 500–1 300 тыс. лет до н.э. [Ibid].

Раскопками был вскрыт участок площадью ок. 1 200 м² при мощности культурного слоя 50–100 см. На протяжении всех лет раскопок нижняя терраса поселения была затоплена, средняя лишь иногда оказывалась под водой, а верхняя терраса и фортификационные сооружения никогда не подвергались затоплению. Как и ожидалось, эти обстоятельства повлияли на естественную сохранность фаунистических остатков.

Пеньялоса – сложно устроенное поселение. Его раскопки, включавшие флотацию отложений, принесли большое количество остатков культурных и диких растений, костей животных и археологических материалов, изучение которых позволило реконструировать различные отрасли экономики, в т.ч. земледелие. На всех участках поселения зафиксированы индивидуальные погребения людей прямо внутри жилищ, отражающие специфику погребальной практики уже наиболее поздних периодов эпохи бронзы.

Судя по структуре памятника, функциональному назначению построек и специфическим находкам, металлургическая деятельность на поселении происходила повсюду, т.е. выплавка металла была доминирующей отраслью [Moreno et al., 2003]. Обнаруженные здесь археометаллургические образцы отражают все стадии металлургического процесса – от извлечения минералов до изготовления изделий. Впрочем, на самом поселении медьсодержащие минералы представлены лишь в виде небольших фрагментов. Именно такие, но уже видоизмененные фрагменты были найдены прямо в печи, где достигалась высокая температура. Однако авторами раскопок было выдвинуто утверждение о существовании на Пеньялосе – в высокоразвитом металлургическом центре [Ibid] – социальной стратификации, основанной на владении и использовании металла. Но аргументами при этом стали материалы из погребальных комплексов, обнаруженных на поселении. Мужские погре-

бения различались по количеству кинжалов, мечей и украшений из драгоценных металлов [Cámaras, 2001]. Более того, как указывают Ф. Контрeras и Х. Камара [Contreras, Cámaras 2002], погребения, наиболее богатые металлом, соотносились с участками поселения, где были выявлены также скопления минералов, костей исключительно крупных животных (быков и лошадей) и богато орнаментированной керамики. И исследователи пришли к выводу, что металл на поселении маркирует социальный статус обитателя, несмотря на то, что следы плавки зарегистрированы практически во всех постройках, и он в большом количестве использовался для утилитарных целей. В жилищах обнаружены топоры, иглы, шила, а также “кости, отрубленные металлическим орудием, используемым при разделке туш животных, что косвенно регистрирует и само орудие” [Moreno et al., 2003].

Значение Пеньялосы в межрегиональной торговле металлом было установлено только по наличию на поселении слитков, которые, по мнению ряда специалистов, были предназначены для накопления и обращения [Ibid]. Однако их размеры, судя по фотографиям, заставляют сомневаться в таком предназначении слитков. Результаты фаунистического анализа остеологической коллекции из Пеньялосы были опубликованы [Breton, Morales, 2000] (предварительное сообщение появилось в 1992 г. [Contreras et al., 1992]). Для того, чтобы сравнить их с материалами Горного, мы предприняли повторную ревизию испанской коллекции. Она включала разделение ранее неопределенных до видового уровня костей на остатки крупных и средних млекопитающих, а также пересчет показателей обилия видов, вычисление и, главное, детальный пространственный анализ остатков.

Горный

Горный – поселение горняков и металлургов срубной общности (52°15' с.ш., 54°46' в.д.), расположенное на вершине одного из холмов в центре Каргалинского меднорудного поля. Самые богатые из каргалинских руд залегают в различных по протяженности жилах и линзах приблизительно под 10–12-метровым слоем песчаника. Поэтому их добычу сопровождало появление сложной многоэтажной системы подземных галерей, а также “лунного” пейзажа с кратерами разных размеров на поверхности [Chernykh, 2002].

Археологическими раскопками на Горном было охвачено ок. 1 208 м², что составляет только 3 % его территории. В культурных слоях мощностью 2–2,5 м обнаружен богатейший археологический материал эпохи поздней бронзы. Он включал также 2,5 млн

костей животных, это, вероятно, наибольшая фаунистическая коллекция, изученная в мире к настоящему времени [Черных, 2004].

Прослеживаются две стадии заселения Горного. На первой, наиболее ранней, стадии (фаза А) это было место сезонного проживания горняков в небольших жилищах (жилища-ямы, или норы), способных вместить три-четыре человека. На второй стадии (фаза В), когда горняки стали вести оседлый образ жизни на холме, интенсифицировав свою трудовую деятельность, на месте старых жилищ-нор появился котлован для постоянного жилищно-производственного комплекса, включавшего жилье, а также рудный и плавильный дворы. Радиоуглеродное датирование дало возможность определить хронологические рамки существования Горного – между 1690–1390 гг. до н.э., но не позволило разграничить отдельные хронологические горизонты, соответствующие второй стадии заселения [Chernykh, 2002].

Все материалы Горного, включая керамику, металл, шлак, костяные изделия, остеологические остатки и т.д., получены в результате тщательной ручной переборки, промывки и просеивания ряда проб из отложений. Они отражают гигантский масштаб рудодобывающей деятельности в течение всего периода заселения холма. Реконструируется однотипное использование животных на протяжении всего времени функционирования поселения [Антипина, 1999, 2004б]; следы земледелия не обнаружены [Лебедева, 2004]. Это позволяет сделать вывод, что экономика поселения была основана на обменно-торговой системе [Chernykh, 2002; Антипина и др., 2002]. Обитатели Горного в качестве главного продукта обмена предлагали руду, а соседние скотоводческие племена – скот, их основной источник богатства.

Такая модель жизнеобеспечения подтверждается наличием существенных запасов медной руды на рудном дворе и в ритуальной траншее прямо на поселении. Были также подсчитаны объемы добывавшейся руды на Каргалах в позднем бронзовом веке и выяснена ее широкая циркуляция по Волго-Уральской степи [Chernykh, 2002]. И, наконец, установлены специфическая возрастная структура крупного рогатого скота на Горном, а по размерам животных – гетерогенность его популяции [Антипина 1999, 2004б].

Остеологические коллекции из Пеньялосы и Горного значительно различаются по количеству костей, но они сопоставимы с учетом следующей информации:

1. Площадь раскопанной территории (ок. 1 200 м²) почти идентична на обоих поселениях, хотя культурные слои Горного имеют большую глубину.

2. Одновременно на этих поселениях обитало близкое по численности население: ок. 100–150 чел. –

на Горном [Chernykh, 2002] и приблизительно 200–300 чел. – на Пеньялосе [Proyecto Peñalosa..., 2000].

3. Оба поселения являлись постоянными местообитаниями со сходной хронологией заселения (1700–1400 гг. до н.э. – на Горном, 1500–1300 гг. до н.э. – на Пеньялосе). Более того, они расположены в регионах с горно-холмистым ландшафтом, богатых минеральными рудами. Континентальный климат здесь характеризуется жарким, сухим летом и холодной зимой (хотя на Каргалах зимние температуры с обычными для января –20 °C более экстремальны, чем на Пеньялосе).

4. Оба поселения раскопаны по сходным методикам и, что не менее важно, фаунистические коллекции изучались нами в ходе одинаковых аналитических процедур. Обе остеологические коллекции исходно являются кухонными остатками.

5. Изучение обоих поселений уже закончено [Ibid, 2000; Черных, 2004]. Сегодня имеются не только ясность в определении археологического контекста и пространственной структуры поселений, но и детальные данные по пыльце, зернам, металлу, человеческим останкам и пр., которые обеспечивают надежную основу для интерпретации фаунистической информации.

Общие методические процедуры по идентификации и подсчетам видовой и половозрастной структур костных остатков, их промерам и т.д. мы дополнили анализами, основанными на новых методах регистрации патологий скота, следов разделки туш, а также фиксацией естественной сохранности костей и их раздробления.

Регистрация естественной сохранности костей выполнялась по методике, комбинирующей классические приемы описания результатов воздействия погодных и тафономических факторов на кости [Behrensmeier, 1978] и пятибалльную оценку естественной сохранности и фрагментарности костей, применяемую нами [Антипина, 1999].

Индекс раздробленности (ИР) высчитывается по количеству остатков (как определимых, так и неопределенных до вида костей), которые умещаются в предназначеннной для измерения емкости объемом 1 дм³ [Там же]. Этот показатель определялся для многих поселений от неолита до средневековья, и границы его значений, установленные на материалах и хорошей естественной сохранности, позволяют сравнивать раздробленность костей на поселениях вне зависимости от хронологического контекста памятника.

Построение скелетных спектров и оценка обилия видов производились по числу определимых до вида костей. Во внимание обязательно принималась также информация о контексте залегания и характере пространственного распределения костей на поселении. Однотипные территории залегания костей были определены как основные модули; фаунистические

данные по ним интерпретировались в целом. Для Пеньялосы были выделены четыре таких основных выборки по террасам и укреплению, для Горного – также четыре выборки в соответствии с хронологическими и стратиграфическими фазами.

По главным домашним и диким таксонам скелетные спектры были построены в виде обобщенных профилей, чтобы сопоставить элементы скелета, характеризующиеся присутствием или отсутствием на них мягких тканей (“мясные” и “немясные” части туш). Для этого число скелетных остатков было нормировано в соответствии с общепринятыми методиками [Grayson, 1984; Lyman, 1994]. Подчеркнем, что эти обобщенные скелетные профили могут интерпретироваться только с привлечением данных о естественной сохранности костей, следах человеческого воздействия на них и с другой информацией. Проведено также сравнение со стандартным скелетным профилем, характеризующим “усредненного” представителя наземных млекопитающих. Построение такого стандартного профиля позволило выявить в археоантропологических коллекциях пять отличающихся от него вариантов (рис. 1):

1 – кухонная модель. Остеологический спектр (профиль) характеризуется доминированием “мясных” элементов скелета – позвонков, ребер, костей передних и задних конечностей выше лодыжек. Как правило, он повторяет стандартный профиль полно-

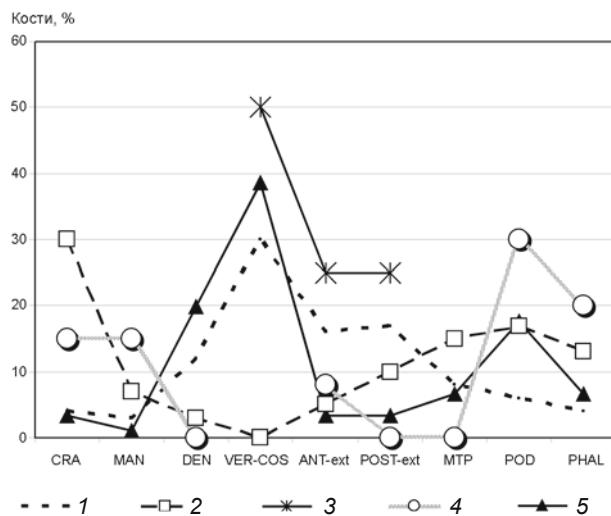


Рис. 1. Модели скелетных спектров, описываемые в тексте (1–4), и стандартного скелетного профиля наземного млекопитающего (5).

Модели: 1 – кухонная; 2 – охотничья; 3 – торговая; 4 – ритуальная.

Здесь и далее: CRA – череп; MAN – нижняя челюсть; DEN – зубы; VER-COS – позвонки и ребра; ANT-ext – лопатка, плечевая, лучевая и локтевая кости; POST-ext – тазовая, бедренная и большая берцовая кости; MTP – метаподиальные кости; POD – мелкие кости запястья и предплечья; PHAL – фаланги.

го скелета наземного млекопитающего. Иногда такая картина сопровождается уменьшением “немясных” отделов. Модель отражает особенности костных кухонных остатков, прежде всего разделку и потребление мяса животных прямо на поселении. Археоантропологические коллекции наиболее часто соответствуют именно этой модели. Однако для объяснения тех или иных отклонений, которые могут быть связаны с изъятием из кухонных остатков определенных костей (например, как сырья для костяных орудий), необходимо привлекать дополнительные данные.

2 – охотничья модель. Скелетные спектры по диким видам демонстрируют две версии:

а) для животных, от которых получают главным образом мясо; этот спектр по существу является копией кухонной модели;

б) для животных, от которых используются лишь определенные части и, как правило, не мясо, а например мех; в спектре будет увеличена доля “немясных” отделов скелета (например, рога/черепа и метаподии) с одновременным уменьшением удельного веса “мясных” элементов.

3 – торговая модель. По сути это редуцированная версия кухонной модели, из которой изъяты “немясные” отделы скелета. Такие особенности спектра могут отражать поступление на поселение туш животных с заранее отделенными “нетоварными” частями – без шкур и хвостовых позвонков, головы и дистальных конечностей с копытами. Несомненно, для подтверждения версии о получении мяса извне нужно проводить детальный анализ следов разделки туш. Торговая модель, отражающая поставки на поселение живого скота, может быть настолько похожей на кухонную, что для их дифференциации необходимо привлекать данные о половозрастной структуре и морфологических особенностях съеденных особей.

4 – ритуальная модель. Главным признаком этого спектра на любом поселении является завышенная доля в археоантропологическом материале прежде всего таких скелетных элементов, как черепа, нижние челюсти, рога, лопатки, астрагалы (иногда фаланги), принадлежавших довольно ограниченному количеству таксонов. При этом даже отдельные сегменты профиля, соответствующего кухонной модели, могут отражать ритуальный аспект. Эта модель подтверждается описанием ритуальных захоронений костей в этнографических источниках и однозначно интерпретируемыми ритуальными комплексами из археологических памятников (см.: [Святыни..., 2000]). Все виды домашних животных могут быть включены в ритуальную практику, а среди диких видов – как правило, самые опасные (например, кабан, плотоядные животные). Естественно, что для фиксации такой модели крайне важны контекст и следы разделки туш животных [Morales, 1989; Morales A., Morales D.C., 1996].

5 – многоцелевая модель. Эта модель определяется, когда остеологический профиль вида не соответствует ни одной из предыдущих моделей и его нельзя объяснить специфической сохранностью костей или другими известными причинами (см., напр.: [Brain, 1981]). Для рассматриваемых нами коллекций из Пеньялосы и Горного эта модель оказалась неактуальной.

Результаты анализа

По фаунистическому составу (табл. 1), индексу раздробленности (табл. 2) и другим характеристикам, несмотря на различия в количественном отношении,

между обеими коллекциями обнаруживается ряд достоверных различий и совпадений:

1. Доля идентифицированных до видового уровня остеологических остатков на Пеньялосе почти втрое больше, чем на Горном (см. табл. 1). В значительной степени это обусловлено специфической раздробленностью костей и отражено в ИР, который постоянно существенно выше на Горном, чем на Пеньялосе. Значения ИР превышают показатели, соответствующие обычной кухонной раздробленности: на древних поселениях и в России, и в Испании она обычно ниже 50 [Антипина, 1999]. Естественная сохранность костей, обнаруженных на Пеньялосе, плохая: как правило, 2–3, редко – 4 балла [Breton, Morales, 2000]. Поэтому

Таблица 1. Таксономическая структура фаунистических остатков на Пеньялосе и Горном

ТАКСОН	Пеньялоса		Горный	
	шт.	%	шт.	%
Крупный рогатый скот <i>Bos taurus</i>	354	24,2	291 260	80,6
Лошадь <i>Equus caballus</i>	246	16,8	7 565	2,1
Домашний осел <i>Equus asinus</i>	–	–	3	0,001
Мелкий рогатый скот <i>Ovis/Capra</i>	377	25,8	60 932	16,9
Домашняя свинья <i>Sus domesticus</i>	99	6,8	1 004	0,3
Собака <i>Canis familiaris</i>	38	2,6	158	0,04
<i>Итого по домашним видам</i>	1 114	76,1	360 922	99,8
Бобр <i>Castor fiber</i>	–	–	106	0,03
Заяц <i>Lepus europaeus</i>	–	–	76	0,02
Кролик <i>Oryctolagus cuniculus</i>	98	6,7	–	–
Медведь <i>Ursus arctos</i>	–	–	39	0,01
Волк <i>Canis lupus</i>	–	–	2	0,001
Лиса <i>Vulpes vulpes</i>	–	–	257	0,1
Выдра <i>Lutra lutra</i>	–	–	4	0,001
Барсук <i>Meles meles</i>	–	–	1	0,0003
Хорек <i>Mustela sp.</i>	–	–	5	0,001
Дикий кабан <i>Sus scrofa</i>	9	0,6	12	0,00
Лось <i>Alces alces</i>	–	–	47	0,01
Благородный олень <i>Cervus elaphus</i>	230 (113)*	15,7	–	–
Косуля <i>Capreolus capreolus</i>	10	0,7	25	0,01
Дикий козел <i>Capra pyrenaica</i>	3	0,2	–	–
<i>Итого по диким видам</i>	350	23,9	574	0,2
<i>Всего определимых до видового уровня</i>	1 464	36,5	361 496	14,0
Крупные млекопитающие Mammalia indet.-large	1 450	–	2 091 192	–
Средние млекопитающие Mammalia indet.-middle	500	–	129 419	–
Млекопитающие Mammalia indet.	582	–	–	–
Птицы Aves indet.	13	–	4	–
Рыбы Pisces indet.	–	–	2	–
<i>Всего неопределимых</i>	2 545	63,5	2 220 617	86,0
<i>Всего</i>	4 009	100	2 582 113	100

* В скобках указано число фрагментов рогов.

му наиболее правильно считать высокие значения ИР на Пеньялосе следствием “посмертного” разрушения костей под воздействием погодных, тафономических, но не антропических факторов. Обилие на костях следов влияния погодных факторов и погрызов собаками подтверждает такое объяснение. На Горном, напротив, кости превосходной естественной сохранности (оценка 5 баллов), что указывает скорее на человеческий фактор как причину высоких значений ИР. Об этом свидетельствуют и признаки стереотипного раздробления длинных трубчатых костей, и полное отсутствие погрызов собаками (описание процесса раздробления см.: [Morales, Antípina 2003; Антипина 2004б]).

2. Видовая структура и скелетные спектры предстают более гомогенными на Горном (табл. 3), где, конечно же, огромные размеры выборок компенсируют случайные отклонения. На Пеньялосе же, по-видимому, именно случайные факторы обусловливают расхождение таксономических спектров, по крайней мере, для самых малых выборок (см. табл. 3, 4).

3. Несмотря на малое видовое разнообразие диких животных на Пеньялосе (5 видов против 11 на Горном), доля их костей здесь значительно выше (ок. 24 %), чем на Горном, где этот фаунистический сектор едва различим (0,2 % от числа определимых до вида остатков; см. табл. 1). Даже если из выборки костей диких млекопитающих на Пеньялосе удалить остатки рогов оленя, эта группа по-прежнему оста-

нется заметной (16 %), что свидетельствует о значимости роли охоты в экономике поселения. Однако ни одной кости хищного животного на Пеньялосе идентифицировано не было (на Горном больше чем 53 % от числа костей диких животных составляют остатки хищных; см. табл. 1).

4. Возрастные показатели, установленные по состоянию эпифизов крупного рогатого скота, свидетельствуют, что на обоих поселениях забивали прежде всего животных, уже достигших 1,5 лет. Однако, судя по стертости зубов, среди этих животных на Горном доминировали молодые, полувзрослые и взрослые особи от 1,5 до 4 лет, а на Пеньялосе – старше 6 лет (рис. 2). Другими словами, обитатели Горного использовали скот для получения мяса, тогда как у жителей Пеньялосы была, вероятно, более разносторонняя стратегия прижизненной эксплуатации домашних животных.

Систематический забой молодых и полувзрослых животных на Горном мог бы служить доказательством специализированного мясного направления скотоводства, однако как минимум две группы дополнительных данных противоречат такой гипотезе [Антипина 1999, 2004б]. Во-первых, на Горном зафиксированы признаки регулярного забоя беременных коров и кобыл; во-вторых, доля остатков наиболее старых животных, которые обычно интерпретируются как маточное стадо, составляет менее 10 %. Никакие скотоводы ни при какой стратегии

Таблица 2. Объем и ИР костных остатков по стратиграфическим единицам Пеньялосы и Горного

Выборка	Определимые кости (OK), шт.	Неопределенные кости (НК), шт.	Всего, шт.	Объем OK, дм ³	Объем НК, дм ³	Объем всех, дм ³	ИР		
							для OK	для НК	для всех
<i>Пеньялоса</i>									
Нижняя терраса (UH-I, II, III, IV)	91	114	205	0,4	1,1	1,5	227,5	103,6	136,7
Средняя терраса (UH V, VI)	431	1 163	1 594	12	10,0	22	35,9	116,3	72,5
Верхняя терраса (UH-VIIa, VIIb, VIII, IX)	596	1 068	1 664	13,6	12	25,6	43,8	89,0	65,0
<i>Итого</i>	1 118	2 345	3 463	26	23,1	49,1	43,0	101,5	70,5
Укрепление (UH-X)	346	200	546	10	2	12,0	34,6	100,0	45,5
<i>Всего</i>	1 464	2 545	4 009	36	25,1	61,1	40,7	101,4	65,6
<i>Горный</i>									
A	9 430	57 934	67 364	94	576	670	100,3	100,6	100,5
B1	75 296	462 530	537 826	787	4 838	5 625	95,7	95,6	95,6
B2	23 285	143 035	166 320	218	1 340	1 558	106,8	106,7	106,8
B3	251 075	1 542 312	1 793 387	2 864	17 595	20 459	87,7	87,7	87,7
B 1–3	2 410	14 806	17 216	30	182	212	80,3	81,4	81,2
<i>Всего</i>	361 496	2 220 617	2 582 113	3 427	21 053	24 480	105,5	105,5	105,5

Таблица 3. Соотношение остатков домашних животных на Пеньялосе и Горном

Выборка	Всего определимых костей, шт.	В том числе					
		костей домашних видов, %	из них*				
			коров	лошадей	овец/коз	свиней	собак
<i>Пеньялоса</i>							
Нижняя терраса	84	80,0	25	7,1	42,9	22,6	2,4
Средняя »	299	69,4	47,5	13,4	30,4	7,0	1,7
Верхняя »	455	78,2	39,8	4,0	42,9	10,1	3,2
<i>Итого</i>	838	74,9	41,1	7,6	38,4	10,3	2,6
Укрепление	276	79,8	3,6	66,0	19,9	4,7	5,8
<i>Всего</i>	1 114	76,1	31,8	22,1	33,8	8,9	3,4
<i>Горный</i>							
A	9 422	99,9	81,6	2,5	15,4	0,2	0,3
B1	75 154	99,8	78,9	1,4	19,3	0,4	0,04
B2	23 266	99,8	79,7	1,5	18,5	0,3	0,04
B3	250 740	99,8	81,3	2,2	16,2	0,3	0,04
<i>Всего</i>	358 582	99,8	80,7	2,1	16,9	0,3	0,05

* Доля от общего числа костей домашних животных, %.

Таблица 4. Распределение костей млекопитающих по основным стратиграфическим единицам на Пеньялосе

Вид	Слой										\sum_A , шт*	\sum_B , шт**	\sum_B , %	
	I	II	III	IV	V	VI	VIIa	VIIb	VIII	IX				
Лошадь	1	—	—	5	30	10	10	6	—	2	182	246	64	5,0
Корова	11	1	1	8	46	96	58	122	1	—	10	354	354	27,6
Овца /коза	3	6	9	18	29	62	27	149	3	16	55	377	377	29,4
Свинья	9	—	—	10	14	7	6	40	—	—	13	99	99	7,7
Собака	1	—	—	1	3	2	2	13	—	—	16	38	38	3,0
Олень	1	2	2	8	76	44	10	64	—	4	19	230	230	17,9
Косуля	—	—	—	—	1	—	—	9	—	—	—	10	10	0,8
Кабан	—	—	—	2	—	1	—	6	—	—	—	9	9	0,7
Дикий козел	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3	0,2
Кролик	3		1	2	5	5	12	14	1	4	51	98	98	7,6
Определимые кости	29	9	13	54	204	227	125	426	5	26	346	1 464	1 282	100
Неопределимые кости	12	7	25	70	450	710	200	858	—	—	200	2 532	2 532	—
<i>Всего</i>	41	16	38	124	654	937	325	1 284	5	26	546	3 996	3 814	—

* \sum_A – общее число определимых до вида костей.

** \sum_B – то же, исключая кости лошади из укрепления (слой X).

жизнеобеспечения не могли позволить себе действия, которые подрывали бы и уничтожали само скотоводство. Но обе особенности остеологических материалов хорошо согласуются с версией о ввозимых животных, и гипотеза о том, что жители Горного не занимались скотоводством, вновь получает поддержку.

5. Скелетные спектры крупного рогатого скота и на Пеньялосе, и на Горном характеризуются увеличенным вкладом проксимальных элементов передних и задних конечностей, по сравнению со стандартным скелетным профилем наземного млекопитающего, что, как правило, наблюдается в кухонной модели (см. рис. 1; 3, A). Но если скелетный профиль из Горного,

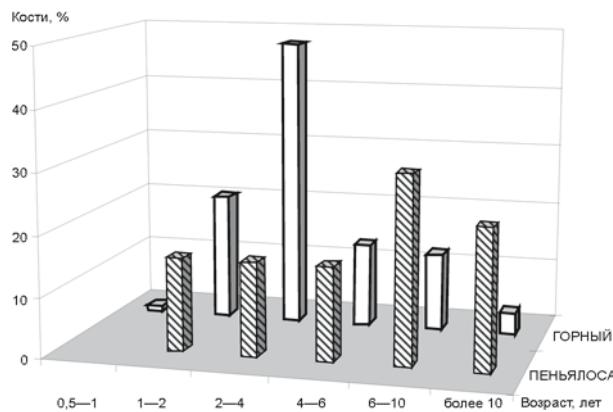


Рис. 2. Возрастная структура крупного рогатого скота на Пеньялосе и Горном, определенная по степени стертости зубов.

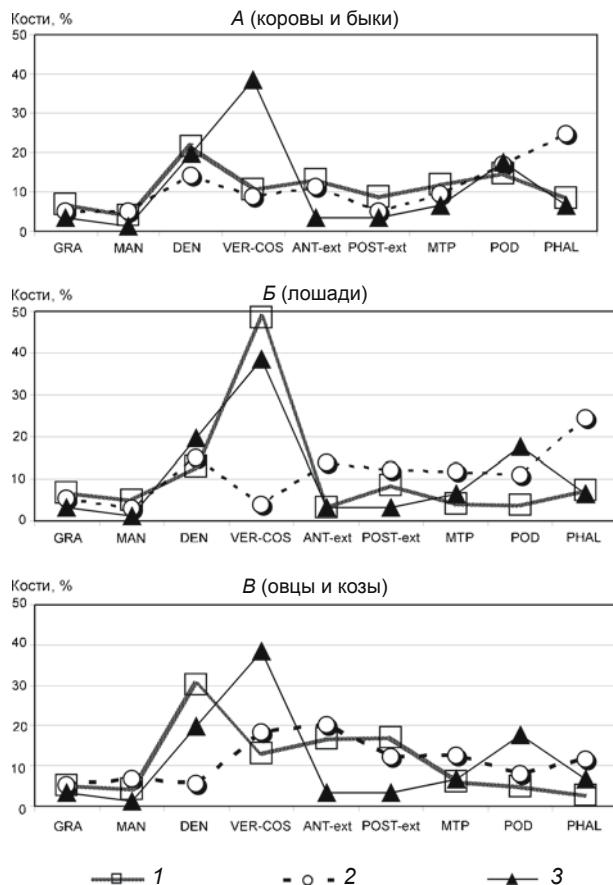


Рис. 3. Скелетные спектры главных сельскохозяйственных видов на Пеньялосе (1) и Горном (2) в сравнении со стандартным скелетным профилем (3).

ближкий к кухонной модели, сопоставить с вышеупомянутыми возрастными показателями, то эти данные будут в большей степени подходить к торговой модели. Однако обнаруживаются два существенных отклонения и от кухонной, и от торговой модели –

снижение вклада ребер и позвонков в спектры на обоих поселениях и сверхдоминирование фаланг в спектре Горного. Первая особенность вызвана двумя разными факторами. Так, ребра (и, во вторую очередь, позвонки) на Горном систематически использовались в качестве различных инструментов. В результате многие из них разрушались и могли попасть в группу неопределенных до вида остатков крупных млекопитающих. На Пеньялосе главным фактором снижения обилия ребер и позвонков в скелетном профиле стала плохая естественная сохранность костей. Она не позволила идентифицировать большинство ребер и позвонков до видового уровня, поскольку на памятнике представлены остатки двух видов жвачных животных сходных размеров (крупного рогатого скота и благородного оленя), и они попали в группу неопределенных остатков. Вторая особенность, по-видимому, связана с неутилитарным (ритуальным) использованием фаланг [Антипина, 2004г].

6. Скелетные профили остальных сельскохозяйственных животных (лошади и мелкий рогатый скот) и на Пеньялосе, и на Горном больше всего соответствуют кухонной модели. Хотя ей, как и в профилях крупного рогатого скота, не соответствует (занижена) доля позвонков и ребер лошадей на Горном и мелкого рогатого скота – на обоих поселениях (см. рис. 1; 3, Б, В). По-видимому, для объяснения следует рассматривать те же причины, что приведены для крупного рогатого скота. Фаланги лошади на Горном также указывают на существенное отклонение от значений, ожидаемых для кухонной модели, скорее всего, по аналогичным ритуальным причинам, упомянутым для крупного рогатого скота. На Пеньялосе скелетный профиль лошади намного больше соответствует кухонной модели, чем профиль крупного рогатого скота, в частности доля позвонков и ребер. Многочисленные фрагменты ребер лошадей здесь имеют четкие следы разделки туш, однако на памятнике не обнаружены свидетельства использования их в качестве орудий. Привлечение половозрастных данных забитых животных этих двух видов из Горного возвращает нас к торговой модели [Там же]. Забой жеребых кобыл, взрослых рабочих жеребцов и множества овец продуктивного возраста на Горном контрастирует с уравновешенной возрастной структурой забитых лошадей и мелкого рогатого скота на Пеньялосе [Bretón, Morales, 2000].

7. На Пеньялосе крупный рогатый скот относится к очень однородной популяции животных крайне малого роста, весьма сходных со скотом на многих других испанских поселениях эпохи бронзы, особенно расположенных на территориях, бедных пастбищами [Contreras et al., 1992; Bretón, Morales, 2000; Driesch, 1972]. На Горном, напротив, крупный рогатый скот очень разнообразен по размерам. Промеры фаланг показывают нормальное распределение, кото-

рое охватывает диапазон от наименьших значений, зарегистрированных для коров Пеньялосы (высота в холке которых приблизительно равна 90 см [Breton, Morales, 2000]), до наибольших, известных для тура (*Bos primigenius*) из Северной Европы. Такого широкого диапазона изменчивости пока не зафиксировано ни на одном древнем поселении в Европе. Приведенные данные свидетельствуют о наличии на Горном разных породных (или экологических) групп; это можно объяснить только существованием обширной сети обмена в пределах Волго-Уралья.

8. Преобладание костей крупного рогатого скота во всех выборках Горного (в среднем 80 против 24 % по Пеньялосе; см. табл. 1, 3, 4) дополнительно подтверждает, что пищевое обеспечение горняков основывалось преимущественно на привозной говядине. Получение этого мяса благодаря торговле подчеркивается присутствием на Горном остеологических остатков таких экзотических для восточно-европейской степи домашних видов, как мул и осел [Антипина, 1999, 2004б]. Что касается диких видов, то все зарегистрированные на поселении останки лося (*Alces alces*) принадлежат только двум особям. И если учесть, что в голоцене степные районы Приуралья не входили в ареал этого вида, то наличие костей его представителей на поселении можно связать только с торговыми операциями горняков с их северными соседями, проживавшими в лесостепи, где лоси были многочисленными [Антипина, 2004б]. На Пеньялосе же полное отсутствие "экзотических" таксонов, например, морских моллюсков или рыб из Средиземно-

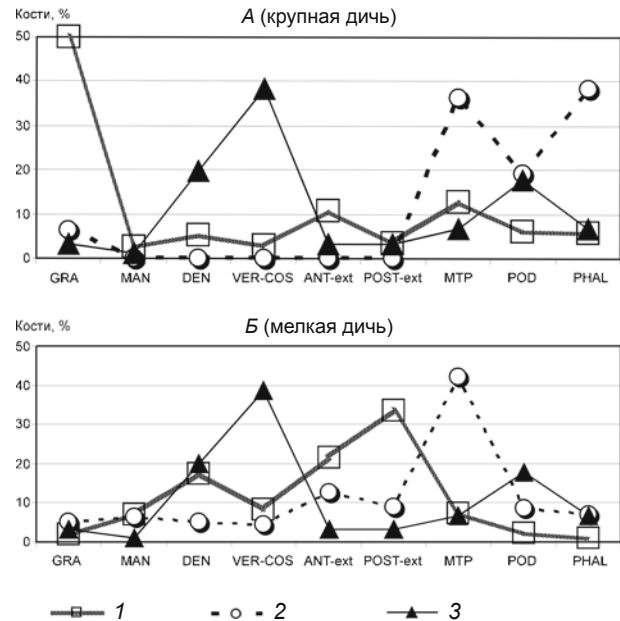


Рис. 4. Скелетные спектры охотничьей добычи на Пеньялосе и Горном в сравнении со стандартным скелетным профилем.
Усл. обозн. см. на рис. 3.

морья типа тех, которые зарегистрированы на других внутренних поселениях культуры Аргар [Driesch, 1972; Lauk, 1976], может отражать довольно узкий характер ее экономических связей.

9. Скелетные спектры охотничьей добычи, за исключением кролика, на обоих поселениях соответс-

Таблица 5. Кости со следами искусственного воздействия, патологии и скелеты животных, использовавшихся в ритуальной практике, на Пеньялосе и Горном

Признаки	Пеньялоса		Горный	
	шт.	%	шт.	%
Погрызы собаки	57	4	—	—
Окраска солями меди	4	0,3	325 346	90
Скелеты животных из погребений	—	—	6	—
Костяные амулеты	—	—	512	—
» орудия	30	2	22 173	6,1
» орудия для горного дела	—	—	9 940	45 от числа орудий
Сожженные кости	80	5,5	650	0,2
Следы разрубов	115	8	>600	0,2
» надрезов металлическим лезвием	18	1,2	> 20 000	5,5
» намеренного раздробления (ударами)	100	7	> 60 000	17
» патологий от нагрузки у коров и быков	1	0,1*	57	0,02*
То же у лошадей	1	0,1*	20	0,01*
<i>Всего определимых костей</i>	1 464	100	36 1496	100

* Доля от числа определимых костей данного вида.

твуют второй версии охотничьей модели (см. выше описание модели, пункт б), предполагающей добывчу и крупных, и мелких диких животных, напрямую не связанную с получением мяса (см. рис. 1, 4). На Пеньялосе относительное обилие останков благородного оленя обусловлено значительным количеством его рогов (113 фрагментов, 50 % от всей выборки костей оленя), которые, очевидно, были сброшены в зимний период, что означает их специальный сбор [Breton, Morales, 2000]. По-видимому, для жителей Пеньялосы сбор рогов был более значимой деятельностью, чем охота на оленей ради получения мяса. Подчеркнем, что никаких орудий или изделий из рогов оленя на поселении не обнаружено. Можно конечно предположить экспорт этого сырья, однако равновероятной (и одинаково недоказуемой!) будет и гипотеза о том, что рога оленей использовались как земледельческие орудия типа примитивного плуга, аналоги которым хорошо известны [Краснов, 1971]. Преобладание метаподий и фаланг среди костей лоси на Горном можно связать с их исключительными качествами как сырья для костяных изделий, а также древним культом этого животного [Антипина, 2004б].

И, наконец, в табл. 5 представлены еще некоторые показатели археозоологических различий между поселениями, которые напрямую не связаны с экономической стратегией, но подтверждают приведенную выше интерпретацию скелетных спектров обоих поселений и ритуализацию использования животных на Горном.

Обсуждение

На основе вышеизложенной информации можно утверждать, что с археозоологической точки зрения в эпоху бронзы в пределах металлургического мира Европы на Горном и Пеньялосе сложились две совершенно разные экономические ситуации. На Горном таксономические и биологические характеристики остеологического материала свидетельствуют скорее о ввозе животных, тогда как фаунистические остатки на Пеньялосе указывают на местное скотоводство в пределах земледельческого хозяйства, когда производство мяса, несомненно, было лишь вспомогательным.

Несмотря на огромный масштаб добычи руды горняками, никаких признаков сложной социальной стратификации на Горном не обнаружено. Однако пример Горного, несомненно, отражает существование в то время специализированных общин как основы всей экономики населения восточно-европейской степи.

На Пеньялосе, где о подобной специализации в горном деле или металлургии не может быть и речи

(да и сами эти отрасли, очевидно, развивались в весьма скромном масштабе), как предполагают археологи, напротив, была сложная социальная дифференциация. Но, как уже отмечалось, социальные различия были декларированы на основе распределения металлических изделий по погребениям, а также ряда других предметов в жилищах, поскольку “обнаружены зоны хранения минералов, потребления мяса крупных копытных (быков и лошадей) и хранения украшенной керамики” [Mogeno et al., 2003]. Предпринятая нами ревизия таких зон потребления мяса исключительно крупных копытных позволила сделать вывод, что аргументация наличия сложной социальной дифференциации на Пеньялосе, построенная на фаунистических данных, довольно слаба.

Остатки животных распределены по различным жилищам Пеньялосы не равномерно (см. табл. 4), но причины этого не связаны с социальными факторами. Обнаружена положительная корреляция между числом определимых до вида остатков и числом таксонов ($R = 0,75$) в каждом жилище, а также числом костей крупного рогатого скота ($R = 0,73$). Это свидетельствует о том, что доля костей крупного рогатого скота обусловлена больше размером выборки, чем другими факторами.

Что касается лошади, то практически отсутствует корреляция между числом ее костей и объемом полной выборки ($R = 0,48$). Вместе с тем остатки представителей этого вида наиболее неравномерно распределены на поселении: ок. 75 % костей лошади обнаружено в районе фортификационных сооружений (см. табл. 4), что могло бы стать археозоологической основой для утверждений о социальной дифференциации жителей Пеньялосы. Однако кости лошади из укреплений представляют собой весьма специфическую коллекцию. Их набор соответствует почти полным скелетам (без лопаток и метаподий) трех особей (одна полу взрослая и две взрослые). На позвонках, ребрах и мелких костях предплюсны фиксируются многочисленные типично кухонные следы разделки туш и срезания мяса. Наконец, исключительно хорошая сохранность этих костей (4 балла по нашей методике) и полное отсутствие на них погрызов собаки резко отличают их от всех остальных остатков на Пеньялосе и свидетельствуют о быстрой их консервации в культурном слое [Bretón, Morales, 2000]. Исходя из этого, мы полагаем, что остатки лошадей из укреплений отражают лишь краткий одномоментный эпизод в истории поселения, поэтому методологически было бы неправильным обрабатывать их вместе со всеми остальными археозоологическими материалами. Несомненно, что на таком основании строить предположение о существовании на Пеньялосе аристократической элиты неправомерно.

Есть и другая информация, которая позволяет не согласиться с тем, что костные остатки крупных копытных (коровы и лошади) на Пеньялосе указывают на социальную дифференциацию жителей поселения. Кости коров в выборке из фортификационных сооружений составили самую малую долю, а в распределении по жилищам остатки обсуждаемых двух видов слабо коррелируют между собой ($R = -0,37$). Еще более выразительной становится такая независимость их распределения на поселении, когда данные по выборке из укреплений вообще изымаются из анализа и эта корреляция становится нулевой ($R = 0,07$).

Кроме того, стоит напомнить о доминировании в рационе всех, без исключения, жителей Пеньялосы мяса именно старых коров. Таким образом, мы вновь убеждаемся в том, что распределение по поселению костей ни лошади, ни крупного рогатого скота не может быть свидетельством существования социальных различий на Пеньялосе. Если исключить из анализа данные по трем лошадям из укреплений, то стратегию скотоводства на поселении следует считать типичной для небольших сельскохозяйственных общин, существовавших на Пиренейском полуострове в эпоху бронзы [Driesch, 1972; Harrison, 1985].

Обсуждая специфику жизненного уклада, стоит также упомянуть следы различных ритуальных действий, в которые вовлекались животные на Горном, и полное их отсутствие на Пеньялосе (см. табл. 5). По-видимому, и ритуальный забой скота, и костяные амулеты, и жертвоприношения животных имели на Горном особый смысл, что отражало потребность горняков в защите при постоянных опасностях, подстерегавших их под землей. Отсутствие следов такой ритуальной практики на Пеньялосе не кажется странным на фоне других поселений культуры Аргар, где подобные черты не обнаружены. Такая ситуация опять же соответствует характеристике “средних” типично сельских поселений в Юго-Восточной Испании, но контрастирует с данными о восточно-европейском степном мире эпохи бронзы, косвенно подчеркивая различия между экономикой земледельцев и специализированными металлургическими сообществами.

“Фаунистические” свидетельства могут быть использованы и для обоснования разных масштабов горно-добывающей и металлургической деятельности на обоих поселениях (см. табл. 5). Прежде всего, это пропитка фаунистических остатков растворами соединений меди (0,3 % костей в выборке из Пеньялосы против 90 % из Горного), а также костяные орудия, связанные с горнопроходческой деятельностью и добывшей руды (ни одного – на Пеньялосе, ок. 10 тыс. – на Горном). Обе группы данных подкрепляют мнение о том, что вопреки предложенной археологами реконструкции масштаб горной и метал-

лургической деятельности на Пеньялосе был весьма скромным, а на археозоологических основаниях это поселение вообще нельзя рассматривать как “высокоразвитый металлургический центр” [Mogeno et al., 2003]. В отношении же Горного археозоологические данные, несомненно, подтверждают археологическую реконструкцию.

Заключение

Решая основную задачу нашего исследования (приверить с археозоологической точки зрения, действительно ли специализация хозяйственной деятельности, связанная с металлургией, детерминирует всю организацию экономики общества), мы получили, на первый взгляд, неоднозначные и противоречивые выводы. Тезис В. Люлла о том, что в период существования культуры Аргар экономика жителей полуострова подразумевала образование специализированных сообществ, не получил какого-либо подтверждения на археозоологических материалах из Пеньялосы. Вместе с тем археозоологическая коллекция из специализированного поселения горняков и металлургов (Горный) дала ясные свидетельства присутствия в восточно-европейских степях в эпоху поздней бронзы специализированных сообществ, функционально дополнявших друг друга (добыча руды, производство пищи и т.д.).

Более того, фаунистические материалы из Пеньялосы не дали даже намека на осуществление там торговых или обменных операций, однако тезис о непрерывной коммерциализации горно-металлургической деятельности отчетливо подтвердился археозоологическим материалом из Горного.

Впрочем, противоречие касается прежде всего археозоологической информации по Пеньялосе – ее “несогласованности” с археологической интерпретацией статуса и экономики этого поселения. Для объяснения этого несоответствия есть два пути: или принять тезис о том, что Пеньялоса не была той частью культуры Аргар, какой ее видят археологи, т.е. специализированным высокоразвитым металлургическим центром с проживавшей там элитной группой, или согласиться с тем, что фаунистические данные не могут быть корректно использованы для решения подобных вопросов. Первый путь представляется более верным, но мы не вправе забывать о втором, хотя если пойти по нему, то придется не только отклонить всю стройность доказательств особенностей экономики, полученных при анализе археозоологических материалов на Горном, но и отбросить большое сходство между фаунами Пеньялосы и хорошо известных поселений культуры Аргар (типа Фуенте Аламо, Лос Милларес или Серо де ла Енсины) [Driesch, 1972;

Driesch, Boessneck, 1985]. Подчеркнем, что на одном из них (Серо де ла Енсиана) обнаружены даже следы одномоментного потребления мяса лошадей, очень сходные с зарегистрированными на Пеньялосе. Таким образом, прежде чем отклонить археозоологические свидетельства как неадекватные поставленным вопросам (особенно о механизмах возникновения сложной социальной стратификации общества не только на Пиренейском полуострове, но и повсюду в Европе), необходимо проанализировать, насколько ясная и достоверная фаунистическая информация коррелирует с другими археологическими данными на каждом специфическом поселении. Именно в последнем мы видим крайне важную задачу для современной археозоологии.

Благодарности

Данная работа проводилась в рамках научных проектов «Комплексная экономика народов степного “пояса” Евразии (V–II тыс. до н.э.)» (руководитель Е.Н. Черных) по программе фундаментальных исследований Президиума РАН “Адаптация народов и культур Евразии к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям” и “Ландшафт и система жизнеобеспечения населения евразийской степи в эпоху бронзы” (ВН2003/08575, Министерство образования и науки Испании, руководитель А. Моралес). Авторы искренне признательны проф. Е.Н. Черных (Москва), Марии Исабель Мартинес Наваррете и Игнасио Монтеро (Мадрид) за инициацию самой идеи исследования и обеспечение его соответствующими справочными материалами.

Список литературы

Антипина Е.Е. Костные остатки животных из поселения Горный (биологические и археологические аспекты исследования) // РА. – 1999. – № 1. – С. 103–116.

Антипина Е.Е. Археозоологические исследования: задачи, потенциальные возможности и реальные результаты // Новейшие археозоологические исследования в России. К столетию со дня рождения В.И. Цалкина. – М.: Языки славян. культуры, 2004а. – С. 7–33.

Антипина Е.Е. Археозоологические материалы // Каргалы. – М.: Языки славян. культуры, 2004б. – Т. 3. – С. 182–239.

Антипина Е.Е., Лебедева Е.Ю., Черных Е.Н. Скотоводство и земледелие на Горном? // Древнейшие этапы горного дела и металлургии в Северной Евразии: Каргалинский комплекс: Мат-лы симп. – М.: ИА РАН, 2002. – С. 28–29.

Антипина Е., Моралес А. “Ковбой” восточно-европейской степи в позднем бронзовом веке // OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. – 2005. – № 4. – С. 29–49.

Козловская М.В. Реконструкция типа питания по данным химического анализа костной ткани индивидуумов

с памятников позднего бронзового века // Древнейшие этапы горного дела и металлургии в Северной Евразии: Каргалинский комплекс: Мат-лы симп. – М.: ИА РАН, 2002а. – С. 40.

Козловская М.В. Системы питания и образ жизни первобытных и исторических сообществ охотников-рыболовов-собирателей // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2002б. – № 3(11). – С. 141–159.

Краснов Ю.А. Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе Восточной Европы. – М.: Наука, 1971. – 166 с.

Кузьминых С.В. Металл и металлические изделия // Каргалы. – М.: Языки славян. культуры, 2004. – Т. 3. – С. 76–100.

Лебедева Е.Ю. Археоботанические исследования // Каргалы. – М.: Языки славян. культуры, 2004. – Т. 3. – С. 240–248.

Прихин А.Д. Мосоловское поселение металлургов-линейщиков эпохи поздней бронзы. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1996. – 203 с.

Святилища: археология ритуала и вопросы семантики: Мат-лы науч. конф. / Под ред. Д.Г. Савинова. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2000. – 246 с.

Черных Е.Н. Феномен и парадоксы Каргалинского комплекса // Срубная культурно-историческая общность в системе древностей эпохи бронзы евро-азиатской степи и лесостепи. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2000. – С. 15–24.

Черных Е.Н. Специфика археологических материалов с Горного // Каргалы. – М.: Языки славян. культуры, 2004. – Т. 3. – С. 15–21.

Behrensmeyer A.K. Taphonomic and ecologic information from bone weathering // Paleobiology. – 1978. – 4 (2). – P. 150–162.

Brain C.K. The Hunters or the Hunted? An Introduction to African Cave Taphonomy. – Chicago: The University of Chicago Press, 1981. – 246 p.

Breton J.L., Morales A. Los rectos faunísticos // Proyecto Peñalosa. Análisis histórico de las comunidades de la edad del Bronce del piedemonte meridional de Sierra Morena y depresión Linares-Bailén. Arqueología monografías. – Granada: Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 2000. – Ch. 10. – P. 223–236.

Cámarra J.A. El ritual funerario en el Prehistoria Reciente en el Sur de la Península Ibérica. – Oxford: BAR, 2001. – 346 p. – (BAR Int. Ser; N 913).

Chapman P.W. Early metallurgy in Iberia and the western Mediterranean: Innovation, Adoption and Production // The Deyá Conference of Prehistory. – Oxford: BAR, 1984. – P. 1139–1161. – (BAR Int. Ser; N 229).

Chernykh E.N. Ancient Metallurgy in the USSR. The Early Metal Age. – Cambridge: Cambridge University Press, 1992. – 335 p.

Chernykh E.N. Ancient mining and metallurgical production on the border between Europe and Asia: the Kargaly center // Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia. – 2002. – N 3 (11). – P. 88–106.

Chernykh E.N., Avilova L.I., Orlovskaya L.B. Metallurgy of the Circumpontic Area: From Unity to Disintegration // Der Anschitt. – 2002. – Bd. 15. – S. 83–100.

Černych E.N., Antipina E.E., Lebedeva E.Ju. Produktionsformen der Urgesellschaft in den Steppen

Osteuropas (Ackerbau, Viehzucht, Erzgewinnung und Verhüttung) // Das Karpatenbecken und die Osteuropäische Steppe. Nomadenbewegungen und Kulturaustausch in den vorchristlichen Metallzeiten (4000–500 v.Chr.). – München; Rahden/Westf.: M. Leidorf, 1998. – P. 233–252.

Contreras F., Morales A., Chocardo L., Roblero B., Ariza M., Breton J., Tranco G. Avance estudio de los ecofactos del poblado Peñalosa // Primer avance metodológico al estudio de la cultura material del poblado de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén). – Sevilla: Dirección General de Bienes Culturales. – 1992. – Vol. 2. – P. 263–274. – (Anuario Arqueológico de Andalucía, vol. 2).

Contreras F., Cámara J. El poblado de la Edad del Bronce de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén) // Arqueo Barcelona. – 2002. – N 6. – P. 66–73.

Driesch A. von den Acerca de los huesos de animales del corte 3 del “Cerro de la Encina” (Monachil, Granada) // Excavaciones En El Poblado De La Edad Del Bronce del “Cerro De La Encina” Monachil (Granada). Excavaciones Arqueológicas En España. – 1972. – Vol. 81. – P. 151–157.

Driesch A. von den, Boessneck T. Tierknochenfunde aus der Bronzezeitlichen Höhensiedlung Fuente Alamo, Provinz Almeria // Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen Halbinsel. – 1985. – N 9. – P. 1–75.

Gilman A. The development of social stratification in Bronze Age Europe // Current Anthropology. – 1981. – Vol. 22(1). – P. 1–23.

Grayson D.K. Quantitative Zooarchaeology. – L.: Academic Press, INC, 1984. – 202 p.

Harrison R.J. The “Policultivo Granadero”, or the secondary Products Revolution in Spanish Agriculture, 5000–1000 BC // Proceedings of the Prehistoric Society. – 1985. – Vol. 51. – P.75–102.

Hauptmann A. From the use of ore to the production of metal // The discovery of metallurgy at Feinan, Wadi Arabah. Jordan Découverte du Métal. – 1991. – Vol. 1. – P. 397–412.

Lauk H.D. Tierknochenfunde aus bronzezeitlichen Siedlungen bei Monachil und Purullena (Provinz Granada) // Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen Halbinsel. – 1976. – N 6. – S. 1–110.

Lull V. La “Cultura” de El Argar. Un modelo para el Estudio de las Formaciones Económico-Sociales Prehistóricas. – Madrid.: Akal, 1983. – 487 p.

Lyman R.L. Vertebrate Taphonomy. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – 524 p.

McGlade J., McGlade J.M. Modelling the innovative component of social change // What's new. One World Archaeology. – L.: Hyman Press, 1989. – P. 281–299.

Montero I. Bronze Age metallurgy in southeast Spain // Antiquity. – 1993. – Vol. 67. – P. 46–57.

Montero I. Metal y circulación de bienes en la prehistoria reciente // Cypsela Museo d'Arqueología de Catalunya. – 2002. – N 14. – P. 55–68.

Morales A. On the use of butchering as a paleocultural index. Proposal of a new methodology of study // Archaeozoologia. – 1989. – Vol. 2(1.2). – P. 111–150.

Morales A. Multiple hypotheses, unrefutable theories: a case sample from the policultural theory // Festschrift für Hans. – München: Helbing, Lichtenhahn, 1990. – P. 131–140.

Morales A., Antipina E. Late Bronze Age (2500–1000 B.C.) Faunal Exploitation on the East-European Steppe // Late Prehistoric Exploitation of the Eurasian Steppe. – Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – Vol. 2. – P. 267–293.

Morales A., Antipina E. Scrubnaya Faunas and Beyond: A Critical Assessment of the Archaeozoological Information from the East European Steppe // Prehistoric steppe adaptation and the horse. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – N 9. – P. 329–351. – (McDonald Institute Monographs, N 9).

Morales A., Morales D.C. The Spanish Bullfight: Some Historical Aspects, Traditional Interpretations and Comments of Archaeozoological Interest for the Study of the Ritual Slaughter // Museum Applied Science Center for Archaeology (Philadelphia). – 1996. – N 12. – P. 91–105.

Moreno A., Contreras F., Cámara J.A., Simon J.L. Metallurgical control and social power. The Bronze Age communities of high Guadalquivir (Spain) // International Conference on Archaeometallurgy in Europe. – Milano: Proceedings 1, 2003. – P. 625–634.

Proyecto Peñalosa. Análisis histórico de las comunidades de la edad del Bronce del piedemonte meridional de Sierra Morena y depresión Linares-Bailén/Coordinador F. Contreras. – Granada: Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 2000. – 435 p.

Renfrew C. The anatomy of innovation // Social organization and settlements. – Oxford: BAR, 1978. – P. 89–117. – (BAR Int. Ser. N 47).

The Origins of Complex Societies in Late Prehistoric Iberia/ Ed.K.T.Lillios. – Cambridge: McDonald Institute Monographs. International Monographs in Prehistory. Archaeological Ser., 1995. – N 8. – 183 p.

Walter C. Mining and Metallurgy in Negro Africa. – Menasha: George Banta Publishing Company, 1937. – 115 p.

ДИСКУССИЯ

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ИСКУССТВА

УДК 903.27

Л.Н. Ермоленко

Кемеровский государственный университет
ул. Красная, 6, 650043, Кемерово, Россия
E-mail: archaeology@kemsu.ru

О СМЫСЛЕ НЕКОТОРЫХ ПРИЕМОВ СТИЛИЗАЦИИ ДЕТАЛЕЙ ЛИЦА ДРЕВНЕТЮРКСКИХ ИЗВЯНИЙ

Введение

К древнетюркской скульптуре относятся фигуративные изображения человека с сосудом в одной руке (с оружием или без оружия), изваяния только человеческой головы или лица, а также немногочисленные фигуры с сосудом в обеих поднятых к груди руках. Во многих случаях лица показаны стилизованно. Нередко брови образуют единый рельеф с носом. Иногда Т-образная фигура бровей и носа сочетается с крупными глазами. Вследствие стилизации изображения лиц изваяний нельзя признать ни реалистическими, ни тем более портретными. Однако представляется, что стилизованные элементы имели определенный смысл.

Распространение Т-образного барельефа бровей и носа и происхождение приема с технологической точки зрения

Т-образное изображение бровей и носа, такое же, как на изваяниях, исследователи отмечают на бронзовых литых "личинах" [Шер, 1966, с. 67; Кызласов, Король, 1990, с. 129], на деревянных головах Ээзи* [Иванов, 1979, с. 185–186, рис. 179]. Совмещенный барельеф бровей и носа распространен в коропластике и торевтике средневекового Востока [Мешкерис, 1962, табл. VI, 69, 77; X, 112; XVI, 299; XVII, 304, 305; XVIII, 315, 317; XXIV, 364; XXV, 365 и др.; Marschak, 1986, Abb. 32, 33, 193, 198; Тревер, Луконин, 1987, рис. 26 и др.] (см. рисунок, 5). В произведениях коропластики и торевтики Согда и Ирана, на золотом

кувшине из Надь-Сент-Миклош (Венгрия), средневековых литых "личинах" также встречается характерное для изваяний (особенно западно-тюркских*) сочетание барельефа "брови–нос" и больших глаз [Мешкерис, 1962, табл. XVII, 304, 305; XVIII, 315; XXIV, 364; XXVIII, 374; XXIX, 378, 379; Тревер, Луконин, 1987, рис. 18, 22, 32, 34; Курманкулов, 1980, рис. 3, 2; Кызласов, Король, 1990, рис. 43, 2; Haussig, 1992, Abb. 114] (см. рисунок, 4).

Прием Т-образной стилизации бровей и носа получил широкое распространение во времени и пространстве. Примерами его использования являются головы из Лепенски Вир (Сербия), скульптуры Древней Месопотамии, пластика кельтов, миштеков и т.д. Такой способ изображения могли применять при работе с различными материалами, но, кажется, он был естественен для пластичных материалов, из которых делали изображения путем лепки (налепом), формовки, отливки. При литье способом обычной заливки для равномерного заполнения формы расплавленным металлом требовалась "относительная простота формы или модели, отсутствие сложной профилировки или разделки поверхности" [Вайнштейн, Кореняко, 1988, с. 48]. Данным условием должны были удовлетворять и матрицы для изготовления глиняных фигур. В обоих случаях соединение некоторых деталей изображения оправдывалось технологически**. Можно

* Сооружавшихся в пределах Западно-тюркского каната.

** Что касается деревянных изображений Ээзи, то их иконография восходит, вероятно, к металлическим прототипам. Об этом, на наш взгляд, свидетельствуют металлические накладки, покрывающие брови и нос "в виде одной фигуры", а также усы, рот, бороду [Иванов, 1979, с. 98–99, 101].

* Ээзи – дух-хозяин бубна у алтайцев.

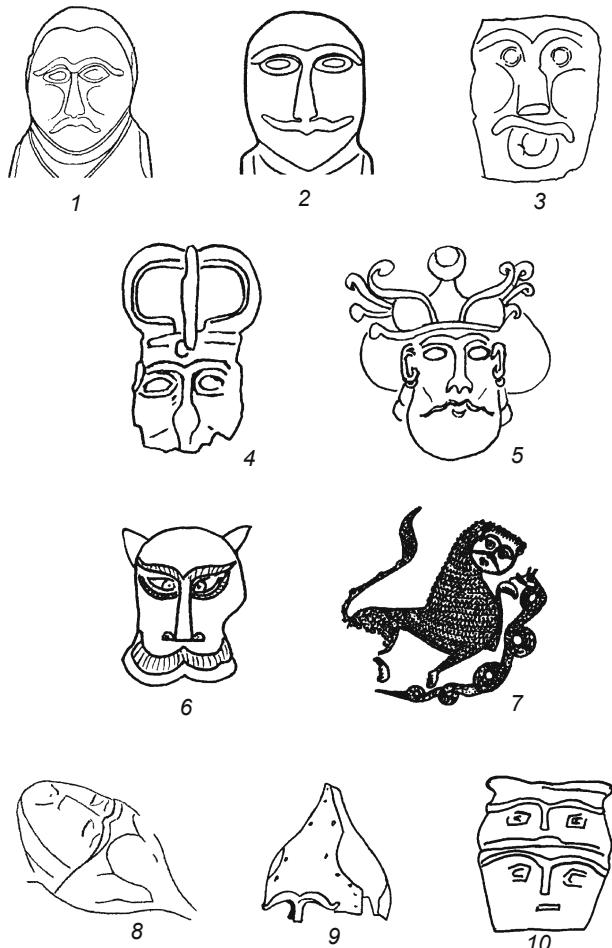
предположить, что прием Т-образного барельефного изображения бровей и носа на древнетюркских каменных изваяниях был заимствован из технологий изготовления художественных изделий из пластичных материалов. Модификациями этого приема на изваяниях явились контурельефное и контурное изображения слитной фигуры бровей и носа.

Анализ морфологии Т-образного приема изображения носа и бровей на древнетюркских изваяниях

В слитном барельефе бровей и носа древнетюркских изваяний Я.А. Шер особо выделил способ ваяния бровей. “Стилизация бровей, – отмечает он, – представляет собой своеобразный технический и стилистический прием, с помощью которого брови изображаются (одной). – Л.Е.) волнистой линией с внутренним изгибом на переносице и наружными изгибами – над глазами; окончаниям бровей придается неестественно манерный вид загнутых вверх линий. Иногда (соединенные. – Л.Е.) брови изображаются отдельно, но чаще – в едином рельефе с носом” [1966, с. 66]. На некоторых изваяниях линия слитных бровей отчетливо выступает в общем рельефе бровей и носа [Там же, табл. VII, 31; VIII, 39] (см. рисунок, I).

Приведенное наблюдение Я.А. Шера позволяет трактовать Т-образное изображение бровей и носа на древнетюркской скульптуре как стилизацию сведенных на переносице бровей.

Я.А. Шер предположил, что стилизация бровей на изваяниях могла иметь исторический смысл [Там же, с. 67]. В подтверждение он привел сведения из китайской хроники “Бэйши” об особом отношении к бровям некоторых жителей государства Юэбэнь. Последние “по обычаяю тюркистанцев” подравнивали брови и для блеска намазывали их клейстером [Бичурин, 1950, с. 259]. Отголоски такого обычая, по мнению Я.А. Шера, имеются в казахской “Легенде о мертвом и живом и о дружбе их”. В ней мертвый герой характеризуется как “молодой человек с прекрасно выведенными бровями” [Валиханов, 1985, с. 66]. Можно привести и другие примеры, свидетельствующие о том, что у тюркских народов разных эпох были представления, связанные с бровями. Так, в древнетюркской эпитафии в честь Кюль-тегина Бильге-каган сетует, что глаза и брови его подданных “испортились” от плача [Малов, 1951, с. 43]. Герой туркменского эпоса “Гёр-оглы” о красоте возлюбленной поет: “Сделал бы краской для бровей прах из-под ее ног” [Гёр-оглы, 1983, с. 436]. В Средней Азии бытовало традиционное женское украшение коши-тилло (от тюрк. *кош* – брови) с изображением сведенных на переносице бровей [Сухарева, 1982, с. 100, рис. 25] и т.д.



Стилизация деталей лица древнетюркских изваяний на средневековых изображениях.

1, 2 – каменные древнетюркские изваяния (по: [Шер, 1966]); 3 – керамическая маска демона-стража (по: [Jisl, 1970]); 4 – бронзовая поясная пряжка (по: [Курманкулов, 1980]); 5, 6 – детали серебряных блюд (по: [Marschak, 1986]); 7 – изображение на керамическом блюде (по: [Даниленко, 1991]); 8 – деталь стенной росписи (по: [Беленицкий, 1973]); 9 – железный шлем (по: [Горелик, 1993]); 10 – бронзовая личина (по: [Даутова, 1980]).

Смысл соединенных бровей у народов Средней Азии

Значение соединенных бровей в культурах среднезиатских народов попыталась объяснить О.А. Сухарева. “Брови подобной формы, – пишет она, – считались одним из признаков красоты в местном ее понимании (здесь и далее выделено мной. – Л.Е.), и это древняя традиция. ...Они изображены на венчающих крышки оссуариев головах, на лице, изображенном в виде барельефа на терракотовом сосуде из Кафыркалы, на средневековых книжных миниатюрах: такие брови у красавицы, которой читает стихи поэт Навои; у той, которой вручают послание Шейбанихана; у красивого юноши, держащего сокола”

[Там же, с. 118]. Однако вряд ли такое толкование будет исчерпывающим. Для сравнения приведем поверье, записанное Р. Карутцем в начале нашего века на Мангышлаке, согласно которому “сросшиеся брови приносят счастье: мужчина будет иметь красивую жену, а женщина будет любима мужем” [1910, с. 135].

Соединенные брови на средневековых изображениях воинов и демонов

При определении смысла соединенных бровей на древнетюркских изваяниях важно учитывать, что значительная часть таких скульптур изображает воинов. Рассматриваемый прием получил воплощение и на других средневековых изображениях воителей. Соединенные брови прорисованы на шлеме поверженного витязя в одном из батальных эпизодов стенной живописи Пенджикента [Беленицкий, 1973, ил. 28, 29] (см. *рисунок, 8*). Можно предположить, что их передают пластины типа бровей-наносника на шлемах I тыс. н.э. из степей Евразии и с сопредельных территорий [Горелик, 1993, рис. 7, 5, 14, 21, 23]. Пластины как бы дублировали часть лица готового к бою или сражающегося воина. Иллюстрацией этому служит бронзовое изделие, изображающее голову человека в шлеме из Кенхинского могильника (Северный Кавказ) VII–XII вв. [Даутова, 1980, с. 106] (см. *рисунок, 10*).

На некоторых пластинах в форме бровей-наносника кончики бровей слегка загнуты вверх, как на изваяниях [Горелик, 1993, рис. 7, 27, рис. 9, 27] (см. *рисунок, 9*). Примечательно, что отражением приема совмещения носа и бровей в торевтике являются изображения хищников семейства кошачьих. Брови и нос этих животных стилизованы в едином рельефе [Marschak, 1986, Abb. 24, 196, 197] (см. *рисунок, 6*). С использованием аналогичного приема изображены детали лица льва-андрокефала, убивающего змею, на керамическом блюде XIII в. из Херсонеса [Даниленко, 1991, рис. 2, 11] (см. *рисунок, 7*).

Нахмуренные, сведенные на переносице брови в сочетании с выпученными глазами можно видеть на средневековых скульптурных и рисованных изображениях воинов (воинствующих божеств) и чудовищ (демонов) из Китая, Кореи, Японии и т.д. [Haussig, 1992, Abb. 263, 301, 304, 305, 358 etc.].

Важно, что в древнетюркских памятниках Тоньюкука и Кюль-тегина также обнаружены маски демонов-стражей [Jisl, 1970, Taf. 1, 2–4]. Мaska из памятника Кюль-тегина выполнена по образцу китайских изображений *таоте* (алчный зверь) со сведенными бровями, выпученными глазами и разверстой оска-

ленной пастью. Аналогичные маски из памятника Тоньюкука напоминают лица древнетюркских изваяний (см. *рисунок, 3*).

Эпический мотив сведенных бровей

Что могли значить сведенные брови в облике средневекового воина? В поисках ответа на этот вопрос обратимся к героическому эпосу.

Сдвинутые (соединенные) брови на лице богатыря упоминаются в эпосах некоторых тюркоязычных народов. Так, в алтайском героическом эпосе “Маадай-Кара” супруга богатыря сообщает ему о рождении сына, обещающего стать могучим богатырем:

Нет у него пупка, [живот] гладкий, – сказала. –
Брови его соединены, – сказала, –
Шкуры шестидесяти барсов,
Ногами расшвыряв,
отbrasывает

[Маадай-Кара, 1973, с. 269].

В олонхо сведенные (соединенные) брови богатырей иногда сравниваются с хищными пушными зверьками. Угрюмая внешность богатыря якутского эпоса Нюргун Бootura описывается так:

длинный нос* его, оказывается, смахивал
на голенную кость передней ноги
ретивого коня;
вытянутые брови напоминали собой
пару сложенных в длину
серых горностаев

[Нюргун Бootур Стремительный...,
1947, с. 103].

Одна из богатырских примет младенца Хунан-Кара в одноименном тувинском героическом сказании – сросшиеся брови:

Между черными бровями на лбу
Выросла черно-белая шерсть
Трехлетнего грозного барса

[Тувинские героические сказания,
1997, с. 83].

* Ср.: длинный нос акцентируется и в портрете Манаса: “Если на *нос* его посмотреть – / Похож на *ножны меча*” [Манас, 1988, с. 430]. В приведенных пассажах вряд ли содержится намек на европеоидные черты богатыря. В олонхо “Нюргун Бootур Стремительный” сказано, что у птицы Ёксёю, чей облик приняла дружественная герою шаманка, длинный заостренный клюв, подобный пешне-лому (пешня, лом – орудия для раскалывания льда) [с. 151]. Казахская пословица гласит: “Конь губаст, богатырь носат” [Токтабай, 2004, с. 80]. По всей видимости, длинный барельеф носа, характерный для некоторых древнетюркских изваяний, также следует отнести к стилистическим признакам.

В хакасском героическом эпосе “Алтын-Арыг” сросшиеся брови отличают злобную Пора-Нинчи [Алтын-Арыг, 1988, с. 524]. Такие брови у Пора-Нинчи – геройни эпоса “Ай-Хуучин” [Хакасский героический эпос..., 1997, с. 223]. Эта Пора-Нинчи демонстрирует некоторые богатырские черты. Она “неподнимаемая конем” и готовится схватиться с Хан-Миргеном, если им будет побежден ее муж [Там же, с. 261]. По поводу характеристики “со сросшимися бровями”, указанной в описании другого злого женского персонажа Хара-Нинчи, В.Е. Майногашева отмечает: “Женщина со сросшимися бровями в эпосе обычно выходец из подземного мира, она – демоническое существо” [Там же, с. 443].

В киргизском героическом эпосе “Манас” брови вражеского силача Атана “Будто черные псы, лежащие с поджатыми лапами” [Манас, 1988, с. 385]. Бровь Джолоя сравнивается с грозной ловчей птицей [Манас, 1990, с. 395], брови Конгурбая – “как стервятники во время линьки” [Там же, с. 352]. Нередко в эпосе идет речь о (грозно) *нахмуренных бровях* [Кобланды-батыр..., 1975, с. 336, 362, 364]. В таджикском народном эпосе “Гуругли” люди указывают на такой признак моши богатыря Аваза: “...жилы у него на лбу / Нависли над бровями” [Гуругли, 1987, с. 400] или “Каждая жила на его лбу... / Дрожит от ярости” [Там же, с. 388]. Вздуваются жилы на лбу у неистового Хонгора [Джангар, 1990, с. 214], у разгневанного хана Соло “два глаза, подобные черным озерам, выворотились; голый лоб навис” [Никифоров, 1995, с. 78]. Тянет холдом от лица разгневанного Хан Мергена “с надвинувшимися бровями, с налившимися кровью глазами” [Там же, с. 175].

Смысл мотива сведенных бровей в эпосе

Хотя в тюркском эпосе нет толкования сведенных бровей, их значение становится ясным из описания гнева-ярости богатыря. Ярость в эпосе характеризуется через внешние проявления [Гацак, 1989, с. 25–36; Ермоленко, 2003а]. Сила эффекта передается с помощью метафор огня или, наоборот, сильного холода. Пламенем пышет лицо богатыря, пламя или леденящий холод исходит из его глаз. Гнев, ярость внешне выражаются в крайнем телесном напряжении: богатырь “вспыхает горой”, у него, подобно березовому дереву, выгибаются спина, мускулы звенят, как натянутая тетива лука, на темени вздыбливается волосы; он “страшно изменяется лицом” и т.д. Именно о телесном напряжении свидетельствуют сведенные на переносице (нахмуренные) брови и выпущенные глаза*. Таким образом, выражение лица эпического богатыря является собой гримасу гнева.

* Ср.: М.М. Бахтин писал, что выпущенные глаза “свидетельствуют о чисто телесном напряжении” [1990, с. 351].

Эпико-поэтический прием уподобления гневно сведенных бровей луку

В индийской эпической традиции сдвинутые брови явно ассоциируются с гневом: “И сдвинув брови на своем лице – явный признак гнева, – Пандава подул в большую раковину девадатту” [Махабхарата, 1993, с. 47]. В “Океане сказаний” Сомадевы (XI в.) гневно нахмуренные брови сравниваются с натянутым луком. Герои одного из сказаний “с лицами, искаченными гневом, стояли молча, хмуря брови, словно намекая на натянутые луки” [1982, с. 321]. В другом сказании говорится: “Брови на лице Ваюпатхи искривились, и, казалось, сам гнев натянул лук на погибель недругам” [Там же, с. 361]. Любопытно, что в “Океане сказаний” по описанию красавицы напоминают гневающихся, т.е. опьяненных битвой воинов: “...у красавиц от хмеля, словно при надвигающемся гневе, стали краснеть глаза и гневно ломаться брови...” [Там же, с. 379]. Подобно этому в арабском народном романе-эпопее “Сират Антара” Ардашир поит вином Абу, “пока ее щеки не покраснели и брови не изогнулись, как натянутый лук. И когда вино ударило ей в голову, она презрела гибель и стала размышлять, как ей лучше убить царевича” [Жизнь..., 1968, с. 314].

С натянутыми луками сравниваются брови красавиц в “Шахнаме” [Фирдоуси, 1993, с. 176]. В “Геро-оглы” Камбар, представившись бродячим ашугом, поет красавице Харман-Дяли: “Глаза твои – душегубы, твои брови – лук” [1983, с. 712].

Сравнение женских бровей с оружием не случайно – эпические красавицы были причиной подвигов героев, иногда противостояли им в поединках.

Архаический героический эпос обнаруживает тесную семантическую связь образов женщины, “исступленной свирепости”, “кровавого поединка”. О.М. Фрейденберг писала, что в первобытном сознании “...производительный (половой. – Л.Е.) акт семантизируется как поединок. <...> На почве этой семантизации впоследствии создается богатейшая военно-эротическая метафористика” [1997, с. 74]. Так, в восточной поэзии к красавице применяется эпитет “кровожадная”. Не потому ли восточный идеал красоты включал сведенные брови, а портреты красавиц, изображения любовных пар украшали рукояти или ножны иранских кинжалов и сабель середины XVIII – начала XIX вв.? [Иванов, Луконин, Смесова, 1984, ил. 89, 90, 96].

Широко раскрытые глаза как признак гнева эпического богатыря

Огромные глаза эпических богатырей следует считать не только деталью их исполинского облика, но и

признаком гнева. О богатырях олонхо говорится, что их “круглые глаза, словно витые кольца узды” [Нюргун Бootур Стремительный..., 1947, с. 103], или они похожи на опрокинутые медные котлы [Строптивый Кулун Куллустуур..., 1985, с. 344]. Глаза богатырей сравниваются с черными чашками [Алтын-Арыг, 1988, с. 281], с большими пиалами [Гёр-оглы, 1983, с. 593], а также с черными пещерами [Манас, 1988, с. 409] и озерами [Никифоров, 1995, с. 76].

Можно предположить, что *зияющие* огромные глаза (уподобление их пещерам, колодцам и пр.) отвечают представлению о способности богатыря взглядом “поглотить” противника. Например, о Манасе говорится:

Глаза его – как впадины озер,
Если посмотрит, рассверлел,
Похоже, что проглотит каждого, кого увидит
[Манас, 1988, с. 442].

Не случайно в портрете Манаса подчеркиваются большой рот и глубоко посаженные глаза [Манас, 1990, с. 443]. В эпосе встречаются и очевидно более поздние, реалистические описания расширившихся в гневе глаз. Богатыри Манаса, приготовившись рубить саблями, “выкатили глаза” [Манас, 1988, с. 476]. В алтайской богатырской сказке у разгневанного Ерлика “борода... оттопырилась, как клыки; два глаза... выворотились” [Никифоров, 1995, с. 63]. Героиня тувинского героического сказания дева-богатырка Бора-Шэлей описывается так: “Разгневавшись-осердясь, оказывается, / Ясными, как озерца, глазами / Смотрит, нахмурившись; / Ясными... глазами / Смотрит, выкатя-выпучая [их]” [Тувинские героические сказания, 1997, с. 347].

В “Махбхарате” дается объяснение феномена увеличившихся глаз воина: “А те два героя в битве осипали друг друга оскорблениями и пожирали *расширившимися в ярости очами...*” [1990, с. 43].

Из сказанного следует, что свойственные древнетюркским изваяниям изобразительные приемы (сведенные на переносице брови и преувеличенно большие глаза) соотносятся с формульными гиперболическими описаниями лица гневающегося богатыря в различных эпических традициях.

Проверка гипотезы с помощью данных этологии

Реальность эпических описаний телесных проявлений гнева-ярости, хотя и гиперболизированных, подтверждается современными этологическими исследованиями. Изучением эмоциональной мимики и жестов человека занимается человеческая этология [Eibl-Eibesfeldt, 1997]. Мимике уделяется большое

внимание вследствие ее важнейшей роли в коммуникации [Ibid, S. 619]. По мнению И. Эйбл-Эйбесфельдт, выразительные движения, сопутствующие главным, всюду одинаково переживаемым эмоциям (ярость, гнев, печаль, радость, удивление, отвращение), одинаковы во всех культурах. Общность, видимо, объясняется тем, что эмоции сопровождаются определенными физиологическими и мускульными реакциями. Мимика контролируется лимбической системой и неокортексом. За способность воспринимать эмоциональность мимики и эмоционально отзываться на нее отвечает правое полушарие [Ibid, S. 663]. Наблюдения за глухо- и слепорожденными детьми позволяют говорить, что многие движения, выражющие гнев, могут быть филогенетическими приспособлениями [Ibid, S. 528]. К таким движениям относится, например, сведение бровей. Гневное выражение лица в разных человеческих культурах достигается также посредством пристального, “уничтожающего” или угрожающего взгляда. При этом глаза расширяются, в частности, за счет того, что поднимаются верхние веки. Становится видимым глазной белок и создается эффект сверкания глаз [Ibid, S. 532, Abb. 5.6; 655]. Следует заметить, что при выпучивании глаз этот эффект естественно усиливается. Любопытно, что компьютерное моделирование движений мимических мышц лица дало выражения, не зафиксированные в реальности, но выявленные на материале искусства. В составленной П. Экманом схематической таблице сочетаний действий мускул лба и бровей представлен вариант с плотно сведенными к переносице и одновременно поднятыми бровями. Как утверждает П. Экман, такое сочетание, известное по изобразительным данным, не является естественным [Ibid, S. 632]. И. Эйбл-Эйбесфельдт обнаружил его как выражение ярости у (загримированных) актеров-кабуки.

Проявления гнева, ярости И. Эйбл-Эйбесфельдт соотносит с агрессивным, угрожающим поведением. Исследователь обратил внимание на то, что лица древних и традиционных скульптурных изображений апотропейского назначения выражают угрозу с помощью сведенных бровей, выпученных глаз, оскаленного рта и др. [Ibid, S. 123, Abb. 2.56; 125, Abb. 2.58; 671, Abb. 6.75,b]. Наблюдения этологов развиваются в работах некоторых исследователей первобытного и древнего искусства. Р. Ненова-Мерджанова, например, анализирует антропоморфные изображения апотропейского характера, бытовавшие в римскую эпоху, – бронзовые сосуды для оливкового масла в виде голов, бюстов, фигур и пр. На лицах апотропеев показаны сведенные брови, нависшие над глазами, большие, широко раскрытые глаза, приоткрытый рот или опущенные вниз уголки губ закрытого рта, огромный или уродливый нос [Nenova-Merdjanova, 2000, p. 303–304].

Проблема существования эпоса в древнетюркскую эпоху

Сопоставление иконографии изваяний с данными героического эпоса требует обоснования того, что эпос, соответствующие эпические формулы и, наконец, эпическая среда* существовали в древнетюркскую эпоху. Еще М.П. Грязнов сопоставил сюжеты разновременных и разнокультурных изобразительных памятников второй половины I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. с сюжетами современного тюрко-монгольского эпоса [1961]. Тем самым он признал единство эпической традиции степных народов на протяжении более чем двух тысячелетий. На основании эпико-изобразительных соответствий исследователь не только связал сложение основ героического эпоса с эпохой ранних кочевников, но и охарактеризовал круг древних эпических сюжетов**.

Напомним, что рассмотренные в данной статье мотивы сведенных бровей и расширяющихся глаз были распространены в разноязычных и разностадиальных эпических традициях. О том, что древние тюрки “узнавали” признаки гнева, подобные эпическим, свидетельствует китайский источник. В “Суйшу” имеется описание подвига китайского воина Юй Гю-ло, устрашившего тюрков в бою (589 г.) своим свирепым видом. Юй Гю-ло с несколькими всадниками атаковал тюрков. “При этом он широко раскрыл свои глаза и закричал так громко, что все противники утратили мужество”*** [Liu Mau-tsai, 1958, S. 120]. Вообще имеются основания полагать, что у древних тюрков мужество, храбрость ассоциировались с воинской яростью и свирепостью.

Выводы

Прием слитного изображения бровей и носа на древнетюркских изваяниях воинов может трактоваться как стилизация сведенных на переносице бровей. Сведенные брови, равно как и большие глаза, видимо, служили созданию образа свирепого, яростного героя.

Характерно, что использование данных стилистических приемов нашло отражение также на древне-

* Б.Н. Путилов дает следующее определение этому понятию: “Эпическая среда обладает способностью ощущать живые связи с эпосом, опираться на традиции эпического мира в своих суждениях, в общественной практике, в современной борьбе” [1988, с. 17].

** Ср.: Е.М. Мелетинский признавал существование героического эпоса у скотов, сармато-алан, древних тюрков и монголов, однако не обнаруживал “скифского наследия” в эпосе сибирских тюрков [1963, с. 248–249].

*** Крик также является одним из проявлений богатырского гнева в эпосе.

туркских статуях без оружия и погрудных изваяниях (см. *рисунок, 2*). Возможно, такие скульптуры, запечатлевшие проявление гнева на лице, ассоциировались в древности с изображениями воинов. Первоначально на этих изваяниях могло быть представлено и оружие. Поскольку мы полагаем, что изваяния средневековых кочевников раскрашивали и/или ради натуральности на них (особенно на погрудные) надевалась одежда, то оружие могло быть нарисовано или подвешено поверх одеяния [Ермоленко, Курманкулов, 2002, с. 86–87; Ермоленко, 2003б]. Оружие не показано на древнетюркском изваянии в долине р. Хендерге (Тыва), изображающем мужчину с двумя человеческими головами в руках [Кызласов, 1964, рис. 3]. Кроме того, у оградки, около которой установлена эта оригинальная фигура, нет балбалов. По мнению Л.Р. Кызласова, в хендергенской скульптуре запечатлен воин с трофеями – вражескими головами [Там же, с. 35]. Действительно, учитывая данные китайских хроник о воинской добыче подобного рода, изобразительные и фольклорные аналоги [Ермоленко, 2004, с. 60], вряд ли можно предположить иное толкование образа. В таком случае отсутствие оружия в иконографии древнетюркских изваяний, как и балбалов при оградках вокруг фигуративных изображений, не может быть основанием для безоговорочного отрицания батальной атрибуции образа. Следует признать, что ввиду довольно широкого распространения в древнем и средневековом искусстве прием Т-образного изображения бровей и носа не является специфически тюркским. Прием совмещения барельефа бровей и носа позже получил воплощение в кыпчакской и половецкой скульптуре, хотя он осмысливался, возможно, иначе. Поскольку изображение больших глаз на древнетюркских изваяниях очевидно стилизовано, то вряд ли может рассматриваться как безусловно антропологический признак.

Список литературы

- Алтын-Арыг.** Хакасский героический эпос. – М.: Наука, 1988. – 592 с.
- Бахтин М.М.** Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – 2-е изд. – М.: Худ. лит., 1990. – 543 с.
- Беленицкий А.М.** Монументальное искусство Пенджикента: Живопись. Скульптура. – М.: Искусство, 1973. – 68 с.
- Бичурин Н.Я. (Иакинф).** Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – Т. 2. – 335 с.
- Вайнштейн С.И., Кореняко В.А.** О генезисе искусства кочевников: авары // Народы Азии и Африки. – 1988. – № 1. – С. 38–49.
- Валиханов Ч.Ч.** Следы шаманства у киргизов // Собрание сочинений в пяти томах. – Алма-Ата: Гл. ред. Каз. сов. энцикл., 1985. – Т. 4. – С. 48–70.

- Гацак В.М.** Устная эпическая традиция во времени. Историческое исследование поэтики. – М.: Наука, 1989. – 256 с.
- Гёр-оглы.** Туркменский героический эпос. – М.: Наука, 1983. – 805 с.
- Горелик М.В.** Защитное вооружение степной зоны Евразии и примыкающих к ней территорий в I тыс. н.э. // Военное дело населения юга Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск: Наука, 1993. – С. 149–179.
- Грязнов М.П.** Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной Сибири // АСГЭ. – 1961. – Вып. 3. – С. 7–31.
- Гуругли.** Таджикский народный эпос. – М.: Наука, 1987. – 701 с.
- Даниленко В.Н.** Из истории прикладного искусства средневекового Херсонеса // Византийская Таврика. – Киев: Наук. думка, 1991. – С. 46–64.
- Даутова Р.А.** Новые данные о средневековых памятниках Чечено-Ингушетии // АО 1979 года. – М.: Наука, 1980. – С. 105–106.
- Джангар.** Калмыцкий героический эпос. – М.: Наука, 1990. – 475 с.
- Ермоленко Л.Н.** Об огненной природе эпической ярости // Археология Южной Сибири. – Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 2003а. – С. 67–71.
- Ермоленко Л.Н.** Могли ли раскрашиваться древнетюркские изваяния? // Степи Евразии в древности и средневековье. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2003б. – С. 236–239.
- Ермоленко Л.Н.** Средневековые каменные изваяния казахстанских степей (типология, семантика в аспекте военной идеологии и традиционного мировоззрения). – Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 2004. – 132 с.
- Ермоленко Л.Н., Курманкулов Ж.К.** Святилище на реке Жинишке и проблема первоначального вида кыпчакских изваяний // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2002. – № 3(11). – С. 78–87.
- Жизнь и подвиги Антары.** – М.: Наука, 1968. – 455 с.
- Иванов С.В.** Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар (XVIII–первая четверть XX в.). – Л.: Наука, 1979. – 194 с.
- Иванов А.А., Луконин В.Г., Смесова Л.С.** Ювелирные изделия Востока. Древний и средневековый периоды. – М.: Искусство, 1984. – 216 с.
- Карутиц Р.** Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке. – СПб.: [б.и.], 1910. – 188 с.
- Кобланды-батыр.** Казахский героический эпос. – М.: Наука, 1975. – 446 с.
- Курманкулов Ж.** Погребение воина раннетюркского времени // Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1980. – С. 191–197.
- Кызласов Л.Р.** О назначении древнетюркских каменных изваяний, изображающих людей // СА. – 1964. – № 2. – С. 27–35.
- Кызласов Л.Р., Король Г.Г.** Декоративное искусство средневековых хакасов как исторический источник. – М.: Наука, 1990. – 216 с.
- Маадай-Кара.** Алтайский героический эпос. – М.: Наука, 1973. – 674 с.
- Малов С.Е.** Памятники древнетюркской письменности: Тексты и исследования. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. – 451 с.
- Манас.** Киргизский героический эпос. – М.: Наука, 1988. – Кн. 2. – 688 с.
- Манас.** Киргизский героический эпос. – М.: Наука, 1990. – Кн. 3. – 512 с.
- Махабхарата.** Книга восьмая: О Карне (Карнапарва). – М.: Наука, 1990. – 326 с.
- Махабхарата.** Дронапарва или книга о Дроне. – СПб.: Наука, 1993. – Книга седьмая. – 647 с.
- Мелетинский Е.М.** Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники. – М.: Изд-во вост. лит., 1963. – 462 с.
- Мешкерис В.А.** Терракоты Самаркандинского музея. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962. – 108 с.
- Никифоров Н.Я.** Аносский сборник. – Горно-Алтайск: Ак Чечек, 1995. – 264 с.
- Нюргун Бootур Стремительный.** Богатырский эпос якутов. – Якутск: Госиздат ЯАССР, 1947. – Вып. 1. – 410 с.
- Путилов Б.Н.** Героический эпос и действительность. – Л.: Наука, 1988. – 225 с.
- Сомадева.** Океан сказаний. Избранные повести и рассказы. – М.: Наука, 1982. – 526 с.
- Строптивый Кулун Куллустуур.** Якутское олонхо. – М.: Наука, 1985. – 608 с.
- Сухарева О.А.** История среднеазиатского костюма. Семарканд (вторая половина XIX – начало XX в.). – М.: Наука, 1982. – 142 с.
- Токтабай А.** Культ коня у казахов. – Алматы: КазИздат-КТ, 2004. – 124 с.
- Тревер К.В., Луконин В.Г.** Сасанидское серебро. Собрание Государственного Эрмитажа. – М.: Искусство, 1987. – 155 с.
- Тувинские героические сказания.** – Новосибирск: Наука, 1997. – 584 с.
- Фирдоуси.** Шахнаме. – 2-е изд. испр. – М.: Издат. центр “Ладомир-Наука”, 1993. – Т. 1. – 675 с.
- Фрейденберг О.М.** Поэтика сюжета и жанра. – М.: Лабиринт, 1997. – 448 с.
- Хакасский героический эпос “Ай-Хуучин”.** – Новосибирск: Наука, 1997. – 479 с.
- Шер Я.А.** Каменные изваяния Семиречья. – М.; Л.: Наука, 1966. – 138 с.
- Eibl-Eibesfeldt I.** Biologie des Menschlichen Verhaltens. Grundriss der Humanethologie. 3. überarbeitete Auflage. – Weyarn: Seehamer Verlag, 1997. – 1118 S.
- Haussig H.W.** Archaologie und Kunst der Seidenstrasse. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992. – 329 S.
- Jisl L.** Balbals, Steinbabas und andere Steinfiguren als Ausserungen der religiösen Vorstellungen der Ost-Turken. – Prag: Academia, 1970. – 80 S.
- Liu Mau-tsai.** Die chinesische Nachrichten zur Geschichte der Ost-Turken (T'u-kue). – Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1958. – Bd. 1/2. – 831 S.
- Marschak B.** Silberschatze des Orients. Metallkunst des 3.–13. Jahrhunderts und ihre Kontinuität. – Leipzig: VEB E.A. Seemann Verlag, 1986. – 438 S.
- Nenova-Merdjanova R.** Images of bronze against the evil eye (beyond the typological and functional interpretation of the Roman bronze vessels for oil) // Kolner Jahrbuch. – 2000. – N 33. – S. 303–312.

УДК 903.27

Д.В. Черемисин

*Институт археологии и этнографии СО РАН
пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия
E-mail: cheremis@archaeology.nsc.ru*

К ДИСКУССИИ ОБ ИНФОРМАТИВНОСТИ ПЕТРОГЛИФОВ И МЕТОДАХ ИХ ИЗУЧЕНИЯ

Дискуссия о проблемах изучения первобытного искусства на страницах нашего журнала не носит выраженный полемический характер, хотя вряд ли исследователи имеют столь сходные взгляды на данный феномен культуры либо соглашаются со всеми положениями, высказанными в ходе обсуждения. Авторы статей, представленных в данной журнальной рубрике, как правило, рассматривают собственные новые археологические материалы, формально связывая их с контекстом дискуссии и затрагивая только отдельные аспекты проблематики, предложенной к обсуждению. Предоставленная редакцией возможность позволяет обратиться к самым неоднозначным сюжетам и самым полемичным выступлениям.

Таковым мне видится содержание работы Э. Якобсон “К вопросу об информативности петроглифических и погребальных памятников эпохи бронзы”, опубликованной в журнале за два года до начала дискуссии [2002], тем более что основные постулаты авторской методологии были повторно вынесены для обсуждения в статье, написанной совместно с А.-П. Франкфортом и вместе с выступлением Я.А. Шера открывавшей дискуссию [Франкфор, Якобсон, 2004]. В публикации 2002 г. американский искусствовед на обширном материале, полученном в ходе работ Российской-американо-монгольской экспедиции, проводившихся в рамках международного проекта по изучению петроглифов Монгольского Алтая, поставила вопрос об интерпретации содержания, заключенного в сюжетах и образах наскального искусства Монгольского Алтая эпохи бронзы.

Наряду с общепринятыми подходами к изучению памятников наскального искусства, основанными на методике археологического исследования, Э. Якобсон

предлагает свой анализ петроглифов эпохи бронзы, который, по ее мнению, отвечает стремлению к возможно болееному учету контекста изображений, выбитых и выгравированных на скалах Монгольского Алтая [2002, с. 32]. Исследовательница справедливо отмечает объективные трудности выделения культурно-хронологических пластов наскальных изображений бронзового века в Центральной Азии. Основной вывод Э. Якобсон заключается в том, что петроглифы бронзового века в Северной Азии, и особенно на Алтае, “значительно более информативны”, чем данные, которые археологи получают при изучении источников “в предположительно одновременных погребальных контекстах”. “Петроглифы бронзового века, – пишет она, – свидетельствуют о более многогранном видении жизни их создателями, чем то, что отражено в любом погребальном контексте” [Там же, с. 45–46]. Как считает Э. Якобсон, наскальные изображения, связанные с эмоциональными побуждениями древних художников и служащие “отображению жизни”, “всей сутью... отвергают консервативные и идеализированные концепции, которые господствуют в погребальных обрядах” и “не подчиняются привычным канонам классификации”, принятой в археологии. Тем не менее они могут дать более глубокое представление о прошлом, чем материалы раскопок [Там же].

Ряд подобных заключений, иногда в смягченном, а местами и в полемически заостренном виде повторен в совместной работе Э. Якобсон и А.-П. Франкфорта [2004]. В этой публикациилагаются новые подходы к анализу обширного петроглифического материала, полученного в ходе реализации международных исследовательских проектов на территории

Средней, Центральной Азии и Южной Сибири, а также аккумулированного различными научными школами евразийских государств. Некоторые из предлагаемых подходов авторы называют новаторскими, основанными на стремлении отойти “от традиционного восприятия” содержания наскального искусства региона [Там же, с. 69].

По мнению А.-П. Франкфора и Э. Якобсон, “известно несколько подходов к раскрытию смысла наскального искусства, которые пока серьезно не обсуждались применительно к петроглифам Северной, Средней и Центральной Азии”, но наибольшего внимания заслуживают два из них. Однако в статье обозначен только один, “связанный с социальными аспектами содержательной стороны наскального искусства, в частности, с отражением в нем родственных связей в обществе” [Там же, с. 68]. Соавторы полагают, что его применение может приблизить нас к более глубокому пониманию реальной сути общественных отношений в прошлом, стоит лишь критически пересмотреть интерпретацию ряда образов и сцен [Там же, с. 69]. Подобные предложения, сформулированные в статье, которая открыла дискуссию, явно достойны обсуждения, даже при том, что из нескольких известных авторам и “не обсуждавшихся” подходов назван лишь один.

Бесспорно важно, что авторами рассматриваемой публикации отмечены актуальные проблемы, справедливо показаны дискуссионные моменты и возможный выбор научных парадигм в интерпретации содержания наскального искусства Северной Азии, а также очерчены пути и возможности приближения к информации, заключенной в петроглифах. Большой практический опыт исследования целого ряда известных памятников наскального искусства Центральной Азии (Саймалы-Таш, Усть-Туба, Тепсей, Арал-Толгай, Цаган-Салаа/Бага-Ойгор и др.) позволяет им на сравнительном материале демонстрировать продуктивность избранной стратегии исследования.

Несомненный интерес и большую ценность представляли бы анонсированные подходы и методики, “серьезно не обсуждавшиеся” до недавнего времени применительно к наскальному искусству Северной Азии, особенно в том случае, если бы были успешно апробированы на каких-то других памятниках наскального искусства. К сожалению, в обсуждаемом тексте не указано, на каких материалах разрабатывались подобные методики изучения “социальных аспектов содержательной стороны наскального искусства” и что под этим подразумевается, неясно, кроме того, в петроглифах какой эпохи и на каком материке, и главное, каким образом были установлены “родственные связи в обществе”. На память приходит исследование этой темы Э.А. Новгородовой, выполненное как раз на центрально-азиатских

материалах [1984, с. 43–44; 1989, с. 99–100]. Своеобразные петроглифы Чулутта, в которых три женские фигуры “расположены одна над другой так, что ноги верхней фигуры являются в то же время руками второй, а ноги второй – одновременно руками третьей” исследовательница трактовала как “идею бесконечности человеческого рода, единства многих поколений”; графически идея женщины-матери повторена троекратно: “прабабушка, бабушка и мать, несущая в себе начало новой жизни” [Новгородова, 1984, с. 43]. “Трехступенчатая фигура демонстрирует диахронно существовавшие поколения женщин, которые связаны в протяжении времени; это своего рода дерево жизни, где счет родства ведется по материнской линии” [Там же, с. 44, рис. 13]. Такое прочтение, не бесспорное, но, на мой взгляд, достаточно интересное, Э. Якобсон не принимает во внимание, считая либо несерьезным, либо не имеющим отношения к отражению в наскальном искусстве родственных связей в обществе, и предлагает выяснить эти связи иным путем.

В публикациях Э. Якобсон последовательно проводится установка на утверждение методов искусствоведения, поскольку “изучение петроглифов находится где-то между наукой и искусством” (см., напр.: [Франкфор, Якобсон, 2004, с. 76]). Мне подобное определение “сфер влияния” разных муз и ранжирование исследовательских методик не кажутся достаточно обоснованными; попытки утвердить приоритет искусствоведческих подходов над методикой археологического (исторического) исследования, как и некоторые необоснованные оценочные суждения, а также главный вывод Э. Якобсон “об информативности” петроглифических памятников вызывают возражения.

Рассуждая об информативности наскального искусства и сравнивая возможности анализа погребальных и петроглифических материалов, Э. Якобсон затрагивает проблему интерпретации наскальных изображений колесниц [2002, с. 44–45, Франкфор, Якобсон, 2004, с. 68 и др.]. Это чрезвычайно важный сюжет, имеющий давнюю и весьма серьезную традицию обсуждения в советской и российской научной литературе, и в рамках нашей дискуссии я остановлюсь только на его интерпретации, при этом некоторые другие положения работ Э. Якобсон, посвященных трактовке петроглифов Алтая, мне также представляются достойными критического рассмотрения.

Колесничные сюжеты в петроглифах Средней и Центральной Азии и Южной Сибири активно исследовались археологами во второй половине прошлого века. Разработаны методы изучения колесного транспорта Евразии по материалам наскальных изображений – информативного и востребованного археоло-

гического источника [Кожин, 1968, 1977, 1987, 1990; Кадырбаев, Марьяшев, 1973, 1977; Жуков, Ранов, 1974; Дэвлет М.А., 1976, 1982, 1998, 2004; Littauer, 1977; Новгородова, 1978, 1984, 1989; Шер, 1980; Пяткин, 1985; Леонтьев, 1980, 2000; Варенов, 1983, 1990а, 1990б; Новоженов, 1989, 1994; Окладникова, 1988; Филиппова, 1990; Марьяшев, Потапов, 1992; Чжан Чжияо, 1993; Савинов, 1997, 2002; Черемисин, 2003; Черемисин, Борисова, 1999; Балонов, 2000; Ranov, 2001; Francfort, 2002; Кубарев, 2004а; и др.].

Этапным исследованием является монография В.А. Новоженова “Наскальные изображения повозок Средней и Центральной Азии (к проблеме миграции населения степной Евразии в эпоху энеолита и бронзы)”. Автор представил наиболее полную сводку изображений повозок в петроглифах степной Евразии, разработал их типологию, выделив на основании конструктивных особенностей воспроизведенных на скалах средств передвижения и артефактов из погребальных комплексов разные типы экипажей, показал роль колесного транспорта в культуре скотоводов пояса гор и степей Евразии, предложил реконструкцию миграционных процессов в степной Евразии в конце IV–II тыс. до н.э. и интерпретацию некоторых сюжетов петроглифов как составной части знаково-коммуникативной системы степняков-скотоводов [1994].

Вместе с тем возможности дальнейшего научного поиска не исчерпаны, многие вопросы остаются дискуссионными. Однозначные прочтения наскальных сюжетов с колесным транспортом возможны далеко не всегда: проблематичны трактовки ряда петроглифов как воспроизводящих двух- или четырехколесные повозки, “сочлененные телеги” либо “столкновение колесниц”; не всегда бесспорно определение конструкции экипажей, которые представлены схематично; зачастую не ясен контекст колесничных сюжетов: земные или “небесные” колесницы изображены на скалах, колесницы – реальные транспортные средства или указатели определенных мифологических сюжетов. Антропоморфные персонажи, изображенные стоящими на колесницах, – божества, герои мифов или предводители масштабных военных кампаний?

Дискутируются этническая атрибуция создателей колесничных сюжетов в петроглифах, сфера использования колесниц в эпоху бронзы – охота, война либо культовые церемонии, значение конструктивных особенностей запечатленных на скалах экипажей (в частности, колес со спицами или без них) как хронологических маркеров, сочетание с изображениями колесных упряжек образов определенных животных, семантика наскальных сюжетов с повозками и методы ее исследования, а также происхождение и становление различных традиций воспроизведения колесниц на просторах Евразии [Кожин, 1968, 1977, 1987; Шер,

1978, 1980; Новгородова, 1984; Евсюков, 1984; Евсюков, Комиссаров, 1985; Варенов, 1990а; Новоженов, 1994; Цимиданов, 1996; Сергеева, 2000; Савинов, 2002; Слободзян, 2002а, б; Francfort, 1998, 2002; и др.].

Изучение наскальных изображений эпохи бронзы, на которых запечатлен колесный транспорт, позволило исследователям оценивать уровень развития древних технологий и технические средства миграций, устанавливать культурные связи популяций бронзового века, судить о древних евразийских коммуникациях, фиксировать направления и границы этнокультурных контактов, а также распространение изобразительных традиций, реконструировать способы военных действий, интерпретировать содержание мифологических сюжетов, диагностировать этническую принадлежность создателей петроглифов и т.п. Освещение данной проблематики имеет важное значение для формирования представлений о культурных взаимодействиях населения степной Евразии эпохи бронзы.

На том основании, что в петроглифах Северной Азии отсутствуют композиции, которые могут быть однозначно идентифицированы как “настоящие сцены военных сражений на колесницах”, А.-П. Франкфор и Э. Якобсон в своей статье в принципе отвергают возможность отождествления изображенных на скалах экипажей с колесницами – (war)chariot [2004, с. 72]. Колесный транспорт, запечатленный в наскальном искусстве Центральной Азии, по их мнению, представлен только колесными повозками, но не колесницами: “Тщательное изучение изображений колесных повозок не подтверждает их отождествления именно с колесницами” [Там же; Якобсон, 2002, с. 44–45].

Данная точка зрения, как я считаю, является неправданно радикальной, поскольку изображенные на скалах легкие двухколесные экипажи (двуколки) со стоящими антропоморфными персонажами традиционно определяются как колесницы, транспортные средства ведения боя, использовавшиеся населением степей Евразии в эпоху бронзы также для охоты и ритуальных церемоний. Если же следовать логике критически настроенных авторов, основывающих свое суждение на искусствоведческих критериях, а не на совокупности археологических источников, то полное отсутствие в наскальном искусстве степной Евразии “настоящих” сцен дойки коров следует воспринимать как свидетельство того, что подобная практика была совершенно неизвестна населению региона в эпоху бронзы, и поводом для отрицания скотоводческого характера культуры этих народов. Будет ли принят подход, прокламирующий отказ от идентификации изобразительных традиций с археологическими культурами в пользу выяснения “реальной сути общественных отношений, скрытых за художественными образами” [Франкфор, Якобсон,

2004, с. 68–69, 76; Якобсон, 2002, с. 45–46], возможно, покажет обсуждение предложенных методик.

Представление о “более многогранном видении жизни” создателями петроглифов, “чем то, что отражено в любом погребальном контексте” [Якобсон, 2002, с. 46], – не более, чем иллюзия. Сюжеты центрально-азиатских петроглифов эпохи бронзы с участием антропоморфных персонажей (вряд ли можно однозначно определить, чей образ воплощен на скалах и кто же изображен – люди-герои, божества, духи-предки, мифические зооантропоморфные существа, маскированные участники ритуальных действий или носители культа в облачениях, воплощающих природу различных зверей) достаточно ограничены. Охота или преследование животных, воинские или ритуальные поединки, колесный транспорт и “перекочевки”, т.н. эротические (коитальные) сцены, зачастую непонятные “ритуальные действия” и “знаки” – вот основной репертуар сюжетных тем, которые в бесконечно варьирующихся вариантах стабильно повторяются на памятниках наскального искусства зоны гор и степей Евразии.

Наскальные изображения стационарных жилищ условны и редки, а переносных – вовсе не известны; совершенно не представлены растения, определенные виды животных. В ряде изобразительных традиций эпохи бронзы животные представлены более реалистично, чем антропоморфные персонажи, чьи образы переданы схематично. Женские фигуры немногочисленны и встречаются скорее в “ритуальном”, чем в каком-либо ином контексте; нет изображений детей, что придает гипотетический характер выводам об отражении в петроглифах “родственных связей в обществе”. Невозможно однозначно определить, какое место занимала реальность в произведениях наскального искусства, изобразительная деятельность для творцов которого была, возможно, важной частью ритуала, а события жизни соотносились с парадигмами мифа (см.: [Шер, 1980, с. 257–289; 2004; Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2000, 2005]).

Для изучения сюжетов с изображением колесного транспорта, с моей точки зрения, в наименьшей степени значимы искусствоведческие суждения “о роли художника в создании отдельных образов и композиций”, представления об индивидуальном начале в древнем “художественном творчестве”, определение уровня “совершенства отдельных образов и композиций” и “оценка качества художественных образов”. Выявлять “художественные особенности каждого конкретного изображения”, давать оценку его “художественной выразительности” [Франкфор, Якобсон, 2004, с. 65–66] и другие подобные требования, выдвигаемые как пример новых подходов к исследованию наскального искусства Северной, Средней и Центральной Азии, на мой взгляд, крайне сомнитель-

ны в качестве методологической базы. К сожалению, каких-либо новаторских методик “выявления более существенного содержания, относящегося к аспектам общественного устройства, родовых верований, обычаям и ритуалов” [Там же, с. 69], кроме искусствоведческой, исследователями не представлено.

Как мне представляется, отсутствуют также какие-либо методологические основания для предпринятых ранее искусствоведами опытов “внеархеологического” изучения информации, заключенной в петроглифах бронзового века Центральной Азии [Якобсон, 2002]. Несостойтельны отсылки к особой “эмоциональной” и “художественной” природе памятников наскального искусства, в которых, согласно Э. Якобсон, реализовался индивидуальный творческий потенциал древних “художников”, определивший, по ее мнению, совершенно особую “информационность” петроглифов при “отображении жизни” по сравнению с погребальными комплексами эпохи бронзы [Там же, с. 45–46].

За типами погребальных конструкций невозможно не видеть эмоций их создателей, человеческих чувств, связанных со смертью родственников и со сплеменников, содержания погребальных и поминальных обрядов, которые объединяли древние общества, ярко отражая при этом те самые особенности общественного устройства, родовые верования, обычай и ритуалы, которые предлагается увидеть в неопределенных “эмоциональных побуждениях” наскальных художников [Там же, с. 46]. Представляется, что объем человеческих эмоций, определенный лишь одними трудозатратами, связанными с погребальной практикой древних популяций Северной Азии, вполне сопоставим с постулируемой искусствоведами эмоциональной составляющей наскального творчества. Археологи вряд ли когда-либо согласятся с искусствоведом в том, что сюжеты и образы петроглифов Центральной Азии, и особенно Алтая, “значительно более информативны”, чем погребальные комплексы этого региона эпохи бронзы, а “сложная орнаментация туловища сосуда” из погребения служит выражением “хорошего вкуса и индивидуальности усопшего” [Там же, с. 45–46].

В качестве “археологической альтернативы” подобным новаторским подходам к петроглифам приведем заключения, основанные на комплексном анализе источников, в т.ч. изобразительных, высказанные в отношении колесниц Евразии Е.Е. Кузьминой [1974; 1980; 1994, с. 165–194; 2000, 2001; Kuz'mina, 1994, 2000], Э.А. Новгородовой [1978; 1984, с. 60–81; 1989, с. 140–165], Я.А. Шером [1980, с. 194–200], М.А. Дэвлет [1990, с. 102–108; 1998, с. 181–184], П.М. Кохиным [1987, с. 112; 1990], В.А. Новоженовым [1994]. Также адресуем читателей к реконструкциям А.В. Варенова, М.В. Горелика, В.Б. Ковалевской,

С.А. Комиссарова, С.Т. Кожанова, А.И. Соловьева, Ю.С. Худякова и других археологов.

С захоронениями воинов-колесничих, представителей элитного слоя индоариев в степях Евразии, как указывает Е.Е. Кузьмина, связаны остатки колесниц (колеса со спицами и пары упряженных коней), псалии, комплект вооружения, включавший бронзовые и каменные топоры, ножи-кинжалы, копья, каменные и костяные наконечники стрел, навершия кнутов, а также тесла [2000, с. 72–75]. Наскальные изображения вооруженных антропоморфных персонажей, стоящих на колеснице, – чаще всего воинов, стреляющих из луков, а также воинов с другим оружием (например, с булавой или копьем в Елангаше), как и предметы вооружения в синташтынских или аньянских комплексах с колесницами, подтверждают использование колесниц в военных действиях.

М.А. Дэвлет описывает наскальную композицию в Саянском каньоне Енисея, в которой воин, стоящий на платформе пароконной колесницы, стреляет из лука в голову вооруженного пешего противника [1990, с. 106; 1998, с. 184; 2004, с. 45–50, рис. 24, 3]. Колесницы, запечатленные на скалах Чулутта и Ховд-Сомона, Э.А. Новгородова определяла как боевые, в чем с ней соглашались другие археологи. Сходство изображений колесниц бронзового века на обширной территории Средней и Центральной Азии и Южной Сибири она связывала с “новыми методами ведения боя, новой боевой техникой” [1989, с. 163–164].

Чрезвычайно важны свидетельства древних языков. Результаты анализа переднеазиатских письменных источников позволяют лингвистам говорить именно о боевых конных колесницах в общеиндоиранскую эпоху, а соответствие индоиранскому слову, обозначающему данный тип транспорта по назначению и устройству, видеть в древнегехеттском термине “боевая колесница” [Гамкрелидзе, Иванов, 1994, с. 728]. Е.Е. Кузьмина указала, что в древних индоевропейских, семитских, китайском языках существовали отдельные слова для обозначения повозки и колесницы. “Колесница – это военный легкий экипаж с двумя колесами со спицами и конной запряжкой” ([1994, с. 276], близкое определение см.: [Новоженов, 1994, с. 253, с. 255, с. 89–90]). В своих работах для обозначения определенного типа повозок, изображенных на археологических артефактах, в т.ч. в петроглифах Евразии, А.-П. Франкфор, не сомневаясь в существовании реальных колесниц, использует английское слово *chariot* и французское *char*, которые обозначают именно колесницу [Francfort, 1998, 2002]. Тем более странными представляются сомнения коллег относительно аналогичной идентификации наскальных изображений колесного транспорта в Северной Азии [Франкфор, Якобсон, 2004, с. 72]. Очевидно, мнение о том, что в североазиатских петроглифах представлены

только колесные повозки, но не колесницы, принадлежит искусствоведу Э. Якобсон [2002, с. 44–45].

За отказом видеть в колесном транспорте, запечатленном в петроглифах Северной Азии, реальные двуколки, легкие боевые экипажи, стоит нежелание учитывать результаты типологического анализа наскальных изображений и артефактов из погребальных комплексов, а также ту самую “реальную суть общественных отношений”, при которых колесницы являлись средствами ведения войны и престижным элементом культуры, характеризовавшим “элиту” общества. А.-П. Франкфор именно так оценивает роль колесниц в эпоху бронзы и железного века в истории населения Восточной Евразии, подчеркивая при этом не военные, а только транспортные функции колесниц, подвозящих охотников к месту престижного охотничьего действия, элитарность которого как раз и символизирует образ колесницы в петроглифах [Francfort, 2002, р. 81, 84]. В дискуссии о назначении колесниц Евразии часто приводятся интерпретации содержания Илиады, засвидетельствовавшей транспортную роль колесниц, лишь подвозивших бойцов-героев к месту пеших сражений; однако нет оснований сомневаться в военном назначении колесниц на древнем Ближнем и Переднем Востоке (см.: [Горелик, 1985; Кожин, 1985; Кузьмина, 1994; Новоженов, 1994; Нefedkin, 2001; и др.]).

В.Д. Кубарев, анализируя комплекс вооружения населения Алтая по материалам петроглифов, также отмечает отсутствие на скалах батальных сцен, запечатлевших сражения на колесницах, и делает вывод, что петроглифы Алтая “не подтверждают использование колесниц в военном деле” [2004б, с. 76]. При этом исследователь резонно сомневается и в возможности реального применения колесниц для охоты на горных козлов, хотя такая композиция изображена на скалах Монгольского Алтая, и видит в сюжетах с колесницами (в частности, в сочетании с изображениями колесницы образа оленя) отражение мифологических представлений создателей петроглифов.

Отсутствие в наскальном искусстве Евразии многофигурных сцен военных действий, “ристалищ”, поединков или противостояния воинов, стоящих на колесницах, дает основание для дискуссий о роли колесниц как транспортных средств, служивших исключительно для перемещения участников баталий или других престижных действ типа царской охоты. Однако в соответствии с современными представлениями о природе древнего искусства (на которые, цитируя Э. Гомбрих, также ссылаются А.-П. Франкфор и Э. Якобсон), в нем реализуется концептуальный, а не “фотографический” принцип, что стоит учитывать при интерпретации содержания изображений и реконструкции отраженных в искусстве явлений. Сюжеты центрально-азиатских петроглифов с ко-

лесницами, на мой взгляд, обладают стабильной семантикой. Стилистика данных изображений повторяется на таком значительном количестве памятников наскального искусства Евразии, что сомнения зарубежных коллег в правомерности определения типов запечатленных в петроглифах транспортных средств [Якобсон, 2002, с. 44–45; Франкфор, Якобсон, 2004, с. 72] кажутся необоснованными*.

На мой взгляд, самим фактом воспроизведения колесницы актуализировался целый спектр семантических значений, связанных с воинской символикой и определяющих контекст изображения или композиции. Для того, чтобы выразить триумф победителя или подчеркнуть специфику средств передвижения верховного божества, не требовалось графически представлять весь повествовательный эпический цикл или все эпизоды мифа, достаточно было визуализации “мифopoэтической формулы” [Шер, 2004, с. 38–41]. Б.Н. Пяткин предложил прочтение символики, связанной с колесницей, в погребальных комплексах, что позволяет говорить о разных способах предметной и графической презентации мифологемы [1987].

Заключение об ошибочности отождествления евразийских наскальных изображений легких двухколесных экипажей с колесницами, сделанное на основании “щадательного изучения” предмета (но методами, не позволяющими получать достоверные данные исторического характера), по-моему, совершенно не правомерно и лишний раз демонстрирует условность искусствоведческих дефиниций и ограниченность искусствоведческих подходов к анализу памятников первобытного искусства (см.: [Первобытное искусство..., 1998, с. 8–12; Шер, 2000, с. 82–83; 2004, с. 43–44; и др.]). Предпочтительней использовать методику исторического исследования. На основе изучения предметов вооружения из иньских комплексов реконструируется тактика боевых действий с использованием колесниц. Как считает А.В. Варенов, она заключалась в обстреле из луков пехоты противника с большого и среднего расстояний (см.: [1990б,

* Их позиция кажется более чем удивительной, поскольку другие исторические реалии, воспроизведенные на скалах Алтая, определены Э. Якобсон достаточно безапелляционно, например, по аналогии с аксессуарами современных монгольских охотников опознаны т.н. даллуры – необъяснимые атрибуты антропоморфных наскальных персонажей бронзового века, в Калбак-Таше – “загадочные женщины-птицы”, что, на мой взгляд, совершенно невероятно; в некоторых сюжетах петроглифов Монгольского Алтая исследовательница видит “тему борьбы за сохранение охотничьих стойбищ или угодий”, причем данную тему впоследствии могли использовать другие художники “ради расширения смысла запечатленного ранее повествования” и т.п. [Якобсон, 2002, с. 43].

с. 70–71; 1980; Соловьев, 2003, с. 39, рис. 31; с. 43; с. 50–51, рис. 52]). По мнению Ю.С. Худякова, отряды боевых колесниц составляли ударную часть войска, они ломали вражеский строй на открытых степных пространствах, служили для оперативных военных перемещений и преследования противника [2002]. Важную роль колесничих войск европеоидного населения Центральной Азии на рубеже II–I тыс. до н.э. отражают херексыры, которые в плане напоминают колесо со спицами, а также оленные камни, моделирующие образ воина-колесничего с характерным набором вооружения [Худяков, 1987а, б]*.

Следует подчеркнуть, что основным источником сведений о боевых колесницах населения Южной Сибири и Центральной Азии являются наскальные изображения региона [Худяков, 2002, с. 139–141]. Представляется, что методически верные и обеспеченные источниками реконструкции могут быть более адекватны историческим реалиям прошлого, чем заключения, основанные на искусствоведческих критериях (отсутствие в наскальном искусстве сцен сражений на колесницах как повод отрицать сам факт существования боевых колесных экипажей).

В петрографических материалах, исследованных мной, есть серия изображений колесниц, запечатленных на памятниках юго-востока Российского Алтая. На них упряжки показаны детально, особенно если изображения выполнены в технике граффити либо сочетанием выбивки и гравировки (рис. 1, 2). В ряде петроглифов совершенно недвусмысленно показаны поводья в руках возницы (рис. 3; 4; 3; 5; 6; 7). Вожжи, важный элемент управления запряженными лошадьми, часто воспроизводились в виде резных линий вдоль дышла – и в случаях, когда возница отсутствует (см. рис. 5, 3), и когда показаны распряженные повозки (рис. 8, 2). Вероятно, в композиции в урочище Соок-Тыт на правом берегу р. Чаган, где изображены следующие друг за другом колесницы, вожжи показаны закрепленными на поясе возницы первого экипажа (см. рис. 6). По всей видимости, и в сцене в урочище Шин-Оозы (см. рис. 8, 1), где воин-колесничий, стоя на платформе кузова, стреляет из лука, поводья также изображены закрепленными на его поясе; простейшим способом является обвязывание вождей вокруг бедер возничего.

Для фиксации средств управления запряженными лошадьми и освобождения рук воинов, стоящих на колеснице, могли использоваться специальные приспособления – пряжки колесничих, которые из-

* Отметим, что в обоих случаях речь идет об авторских интерпретациях, выполненных на основе изучения комплекса разноплановых источников, и степень достоверности предложенных реконструкций в разных аспектах данных моделей различна.



Рис. 1. Калбак-Таш.

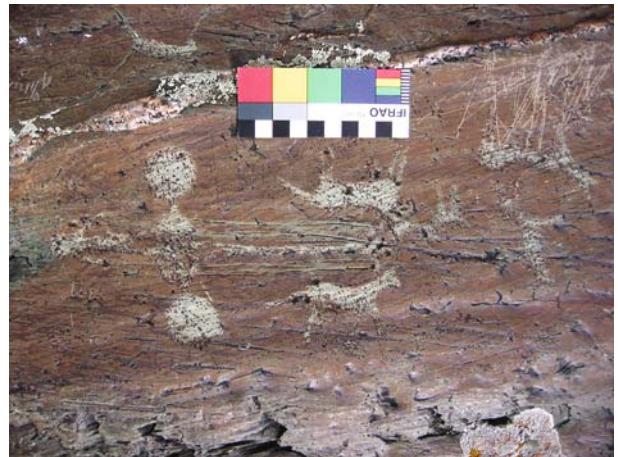


Рис. 2. Елангаш.

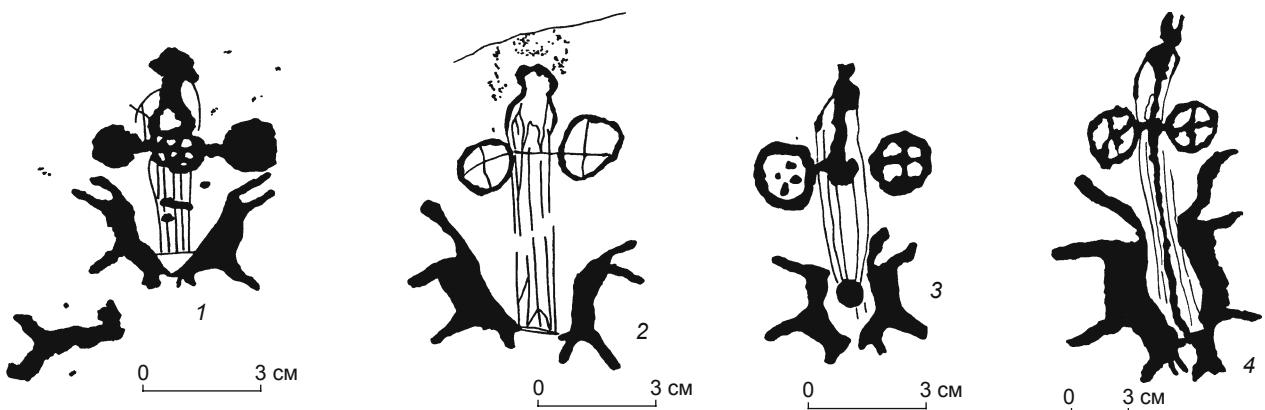


Рис. 3. Калбак-Таш.

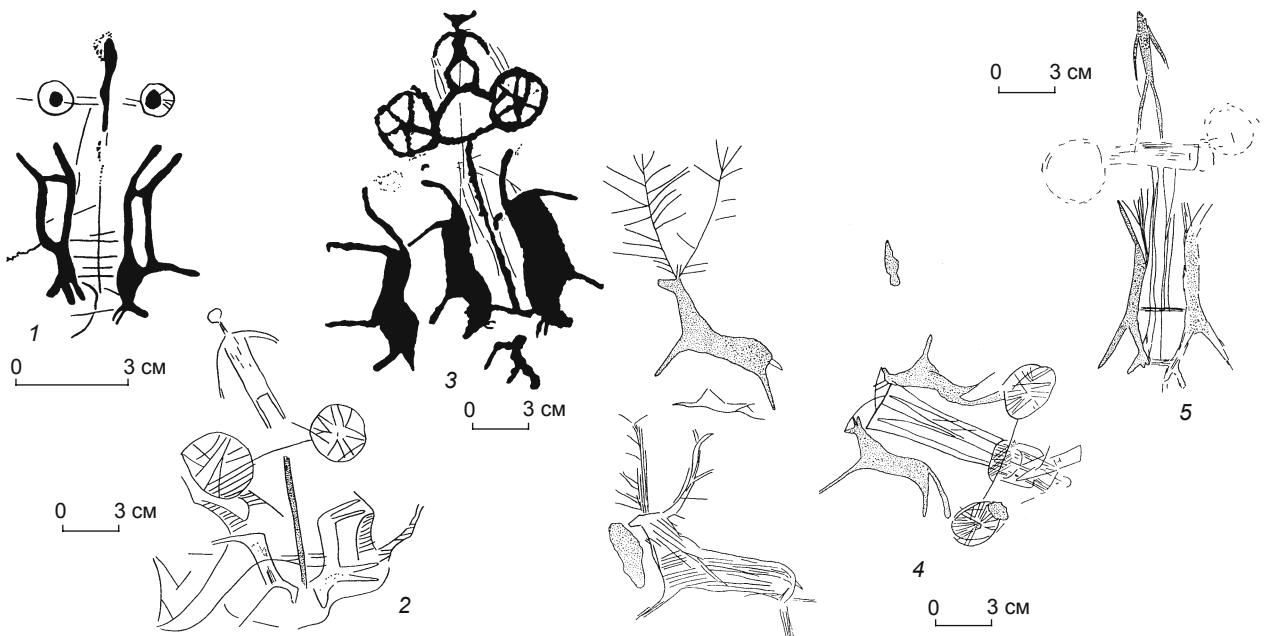


Рис. 4. Елангаш (1, 3), Шин-Оозы (2, 4, 5).

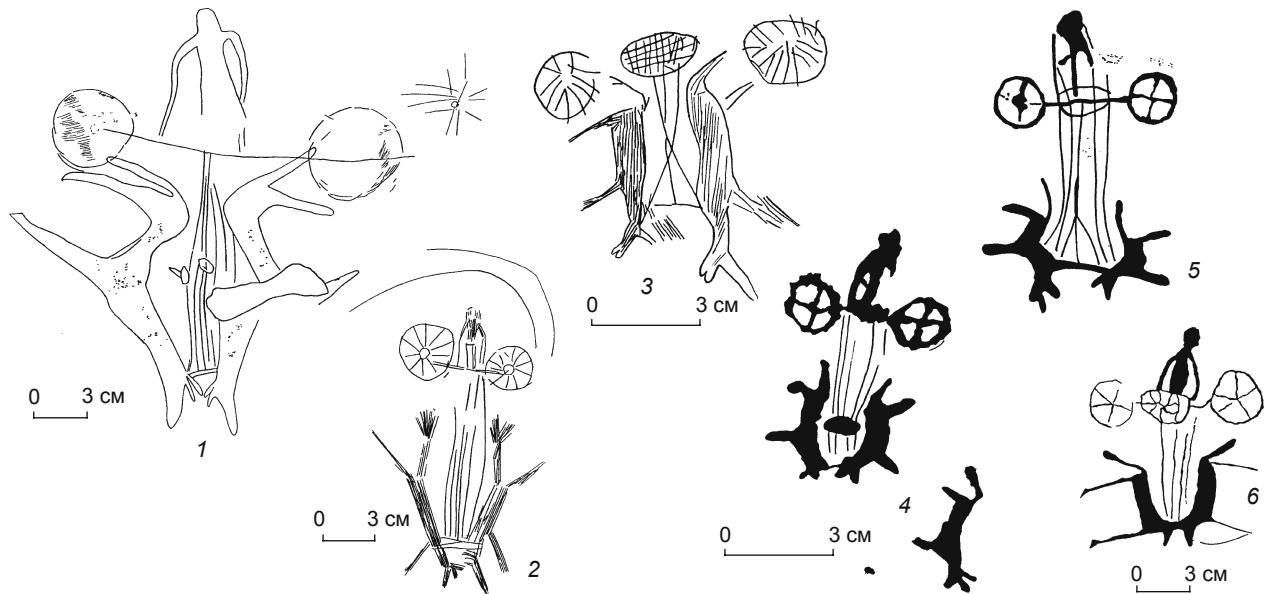


Рис. 5. Шин-Оозы (1–3), Калбак-Таш (4, 5), Елангаш (6).

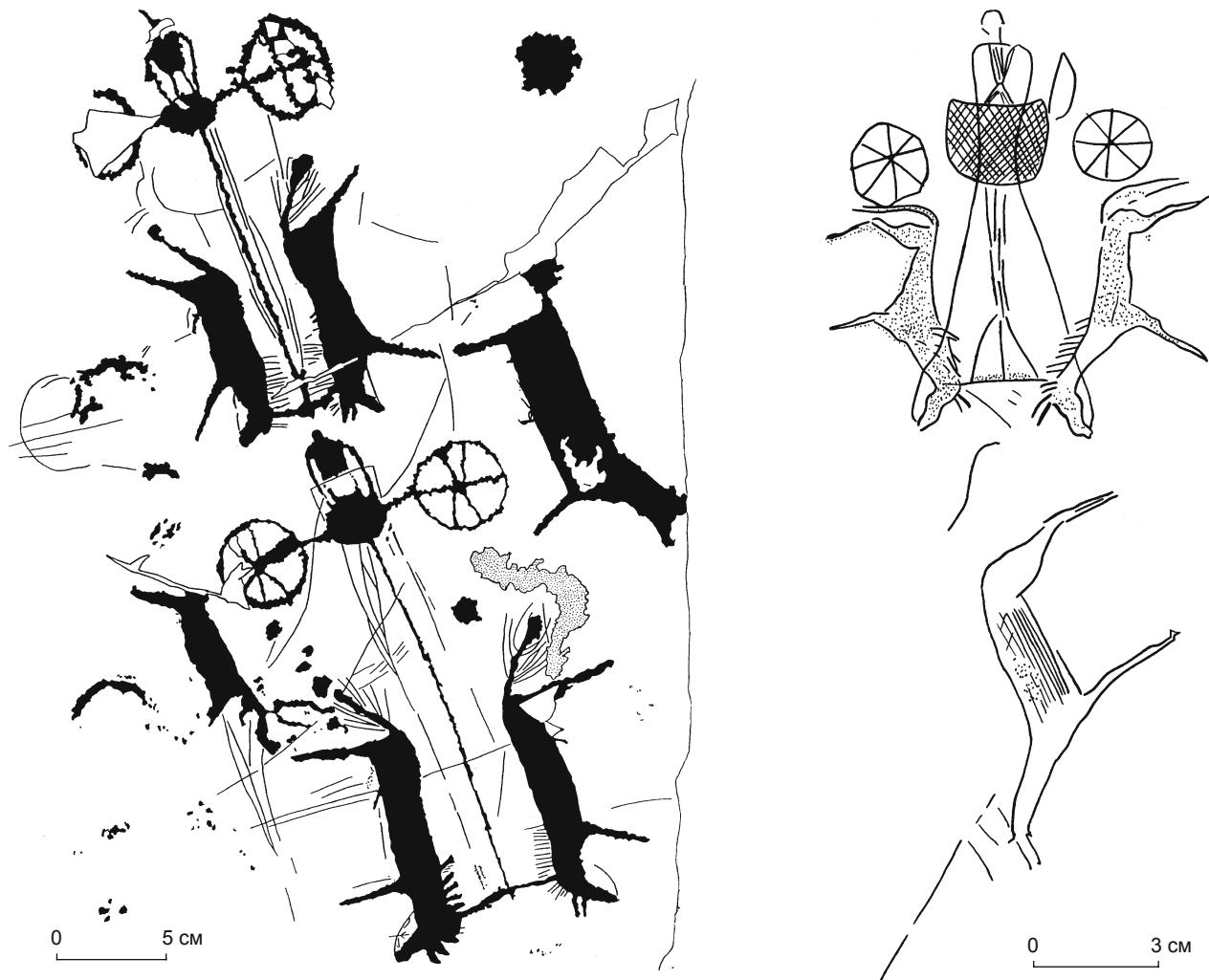


Рис. 6. Соок-Тыт.

Рис. 7. Абиджай.

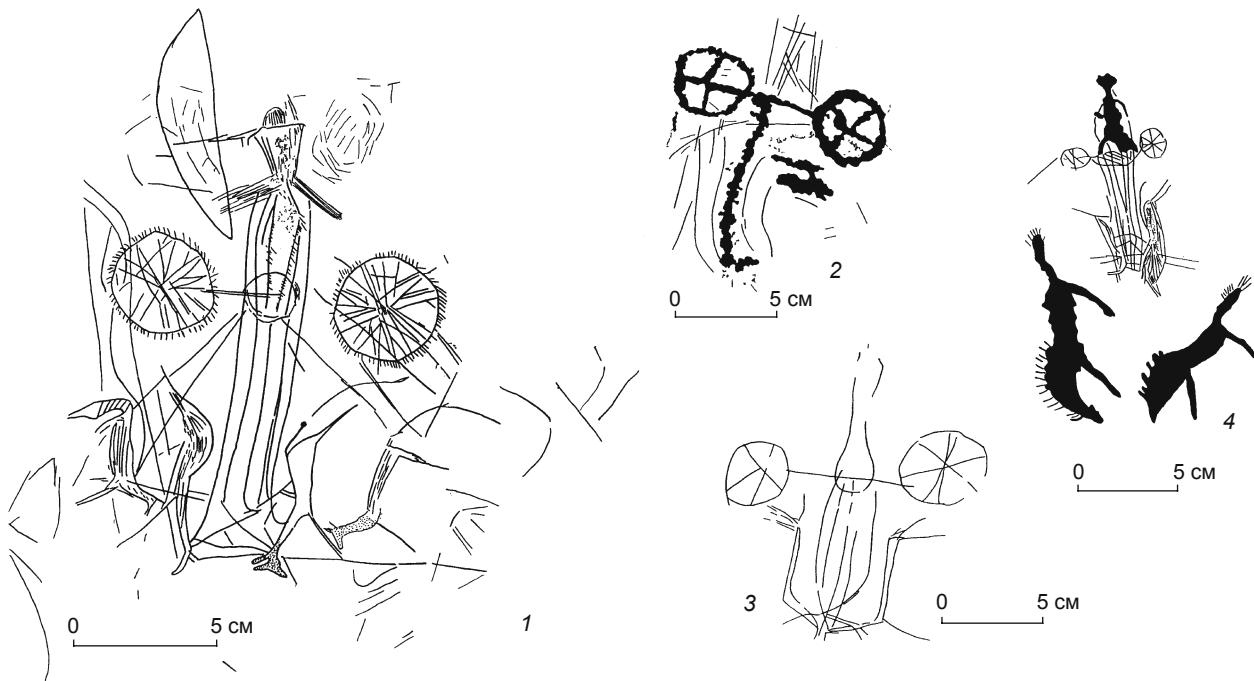


Рис. 8. Шин-Оозы (1), Соок-Тыт (2), Чаганка (3), Калбак-Таш (4).

вестны по артефактам из погребений эпохи поздней бронзы в Южной Сибири и Китае [Варенов, 1984]. На олennых камнях предметы экипировки воинов, по форме сходные с подобными пряжками, изображены подвешенными к поясу. Вполне возможно, их наличие подразумевалось и в наскальных изображениях. Не исключено, что анализ детализированных изображений колесниц, выполненных в технике гравировки, позволит определить случаи возможного воспроизведения подобных приспособлений в петроглифах Евразии (см. рис. 8, 1; 9). Например, наскальные изображения в пустыне Негев на Синайском полуострове демонстрируют практику закрепления поводьев на пояснице возничих, в руках которых изображено оружие [Anati, 1981, р. 52–53, 77] (рис. 10).

Что касается конструктивных особенностей колесниц, которые использовались населением Алтая во II тыс. до н.э., то, насколько можно судить по наскальным изображениям, они мало отличались от боевых экипажей, известных в сопредельных регионах Центральной Азии и Южной Сибири. Это сходство объясняется эволюцией транспортных средств и миграционными процессами в степной Евразии, в истории которой были и вторжения, и военное противостояние носителей разных археологических культур. Содержание и характер исторических процессов, без сомнения, отражены в археологических источниках, а методика археологического исследования позволяет адекватно воспринимать заключенную в них информацию.

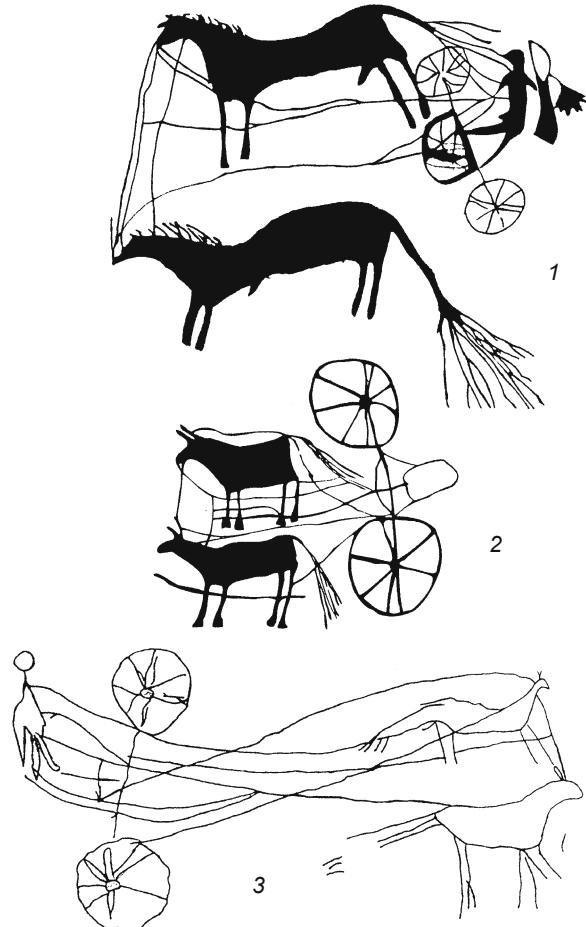


Рис. 9. Ешки-Ольмес (по: [Марьшев, Горячев, 2002]).



Рис. 10. Пустыня Негев (по: [Anati, 1981]).

Немаловажное значение для заключений о содержании колесничных сюжетов в петроглифах Алтая играют достоверные определения конструкции изображенных экипажей. Следует также принимать во внимание определенную общность мифологических представлений населения степной Евразии в эпоху бронзы, а при анализе семантики наскальных рисунков в большей степени учитывать содержательный (мифологический) контекст, с которым связаны изображения колесниц в петроглифах Центральной Азии и Южной Сибири. В частности, в Елангаше колесный транспорт часто представлен в многофигурных композициях; на колеснице здесь часто изображается пара антропоморфных персонажей [Окладников и др., 1979, с. 81, табл. 40; с. 83, табл. 42; с. 124, табл. 83]. Кроме того, неоднократно зафиксирована концентрация нескольких изображений колесниц на одной плоскости. Эти же закономерности характерны для петроглифических памятников Монгольского Алтая.

Что же касается методов искусствоведения, ориентированных на выявление “художественных особенностей каждого конкретного изображения” [Франкфор, Якобсон, 2004, с. 66], то, на мой взгляд, их применение не дает решающих аргументов для адекватного освещения исторической проблематики первобытного искусства. В этой связи совершенно утопическими представляются высказанные в рамках настоящей дискуссии надежды некоторых археологов на искусствоведов, которые “появятся на конец”, “отодвинут в сторону археологов и займутся проблемой происхождения искусства” [Григорьев, 2004, с. 49]. Здесь, как говорится, комментарии излишни; явное желание быть отодвинутым, видимо, вызвано не столько успехами искусствоведов в изучении изобразительности палеолита (что трудно предположить ввиду отсутствия каких-либо достижений), сколько отношением к собственным возможностям. Единственное, что можно высказать с полной определен-

ностью, – к памятникам изобразительной деятельности палеолита в еще меньшей степени применимы дефиниции и методы современного искусствознания, чем к произведениям эпохи палеометалла.

Список литературы

- Балонов Ф.Р.** Колесницы и колесничие в петроглифах Евразии: семантика с точки зрения экстраверта // Международная конференция по первобытному искусству. – Кемерово: САИПИ, 2000. – Т. 2. – С. 50–55.
- Варенов А.В.** Иньские колесницы // Изв. СО РАН. – 1980. – № 1.: Сер. обществ. наук, вып. 1. – С. 164–169.
- Варенов А.В.** К интерпретации наскальных изображений колесниц Центральной Азии. – Препр. – Новосибирск: ИИФ СО АН СССР, 1983. – 5 с.
- Варенов А.В.** О функциональном предназначении “моделей ярма” эпохи Инь и Чжоу // Новое в археологии Китая: Исследования и проблемы. – Новосибирск: Наука, 1984. – С. 42–51.
- Варенов А.В.** Этнокультурная принадлежность, семантика, датировка “гобийской квадrigи” // Археологические, этнографические и антропологические исследования в Монголии. – Новосибирск: Наука, 1990а. – С. 106–112.
- Варенов А.В.** Реконструкция иньского защитного вооружения и тактики армии по данным оружейных кладов // Китай в древности: Исследования и проблемы. – Новосибирск: Наука, 1990б. – С. 56–72.
- Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.** Индоевропейский язык и индоевропейцы: реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и пракультуры. – Тбилиси: Издво Тбил. гос. ун-та, 1984. – Т. 1/2. – 1328 с.
- Горелик М.В.** Боевые колесницы Переднего Востока III–II тыс. до н.э. // Древняя Anatolia. – М.: Наука, 1985. – С. 183–202.
- Григорьев Г.П.** Замечания к статье Я.А. Шера “Спорные вопросы изучения первобытного искусства” // Археология, этнография, антропология Евразии. – 2004. – № 4 (20). – С. 48–49.
- Дэвлет М.А.** Петроглифы Улуг-Хема. – М.: Наука, 1976. – 120 с.

- Дэвлет М.А.** Петроглифы на кочевой тропе. – М.: Наука, 1982. – 128 с.
- Дэвлет М.А.** Листы каменной книги Улуг-Хема. – Кызыл: Тувин. кн. изд-во, 1990. – 119 с.
- Дэвлет М.А.** Петролифы на дне Саянского моря. – М.: Памятники ист. мысли, 1998. – 287 с.
- Дэвлет М.А.** Каменный “компас” в Саянском каньоне Енисея (камень с изображением “дороги” у подножия горы Устю-Мозага). – М.: Науч. мир, 2004. – 88 с.
- Дэвлет Е., Дэвлет М.** Духовная культура древних народов Северной и Центральной Азии. Мир петроглифов // Российские исследования по мировой истории и культуре. – Н.Й.: Edwin Mellen Press, 2000. – 502 р.
- Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А.** Мифы в камне. Мир наскального искусства России. – М.: Алетейя, 2005. – 472 с.
- Евсюков В.В.** Мифологический образ колесницы-микрокосмоса в философских текстах Востока и античности // Семантический анализ понятий в историко-философских исследованиях. – Новосибирск: Наука, 1984. – С. 41–54.
- Евсюков В.В., Комиссаров С.А.** Колесницы на земле и в небесах // Атеист. чтения. – 1985. – Вып. 14. – С. 79–94.
- Жуков В.А., Ранов В.А.** Древние колесницы на Памире // Памир. – 1974. – № 11. – С. 62–67.
- Кадырбаев М.К., Марьяшев А.Н.** Карагатуские колесницы // Археологические исследования в Казахстане. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1973. – С. 128–146.
- Кадырбаев М.К., Марьяшев А.Н.** Наскальные изображения хребта Карагату. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1977. – 232 с.
- Кожин П.М.** Гобийская квадрига // СА. – 1968. – № 3. – С. 35–42.
- Кожин П.М.** Некоторые данные о древних культурных контактах Китая с внутренними районами Евразийского материка // Н.Я. Бичурин и его вклад в русское востоковедение (к 200-летию со дня рождения): Мат-лы конф. – М.: Наука, 1977. – Ч. 2. – С. 24–41.
- Кожин П.М.** К проблеме происхождения колесного транспорта // Древняя Анатolia. – М.: Наука, 1985. – С. 169–182.
- Кожин П.М.** Колесничные сюжеты в наскальном искусстве Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Монголии. – Новосибирск: Наука, 1987. – С. 109–125.
- Кожин П.М.** Этнокультурные контакты на территории Евразии в эпохи энеолита – раннего железа (палеокультурология и колесный транспорт): Автодис. ... д-ра ист. наук. – Новосибирск, 1990. – 36 с.
- Комиссаров С.А.** Чжоуские колесницы (по материалам могильника Шанцуньлин) // Изв. СО АН СССР. – 1980. – № 1: Сер. обществ. наук, вып. 1. – С. 156–163.
- Комиссаров С.А.** Комплекс вооружения Древней Китая: эпоха поздней бронзы. – Новосибирск: Наука, 1988. – 127 с.
- Кубарев В.Д.** Лошади и колесницы в петроглифах Монгольского Алтая // Древности Алтая. – Горно-Алтайск: Изд-во Горно-Алт. гос. ун-та, 2004а. – С. 12–26. – (Изв. лаб. археол.; № 12).
- Кубарев В.Д.** Вооружение древних кочевников по петроглифам Алтая // Археология, этнография, антропология Евразии. – 2004б. – № 3 (19). – С. 65–81.
- Кузьмина Е.Е.** Колесный транспорт и проблема этнической и социальной истории древнего населения южно-русских степей // ВДИ. – 1974. – № 4. – С. 68–87.
- Кузьмина Е.Е.** Этапы развития колесного транспорта Средней Азии в эпоху энеолита и бронзы // ВДИ. – 1980. – № 4. – С. 11–35.
- Кузьмина Е.Е.** Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. – М.: Вост. лит., 1994. – 464 с.
- Кузьмина Е.Е.** Новые данные о распространении колесниц в Евразии и расселении индоиранцев // Древность: Историческое знание и специфика источника: Мат-лы конф., посвящ. памяти Э.А. Грантовского. – М.: Когелет, 2000. – С. 72–75.
- Кузьмина Е.Е.** Мифологические представления о коне в культуре индоевропейцев // Миф 7. На акад. Дмитри Сергеевич Раевски. – София: История на культурата, 2001. – С. 117–134.
- Леонтьев Н.В.** Колесный транспорт эпохи бронзы на Енисее // Вопросы археологии Хакасии. – Абакан: Кн. изд-во, 1980. – С. 65–84.
- Леонтьев С.Н.** Новые изображения колесниц карасукской эпохи из Хакасско-Минусинской котловины // Вест. САИПИ. – 2000. – Вып. 2. – С. 12–13.
- Марьяшев А.Н., Горячев А.А.** Наскальные изображения Семиречья. – 2-е изд. – Алматы: Фонд “XXI век”, 2002. – 264 с.
- Марьяшев А.Н., Потапов С.А.** Сюжеты с колесницами в петроглифах Казахстана и Средней Азии // Археологические исследования в Казахстане. – Алма-Ата: Каз. гос. пед. ун-т им. Абая, 1992. – С. 15–26.
- Нефедкин А.К.** Боевые колесницы и колесничие древних греков (XVI–I вв. до н.э.). – СПб.: Петербург. востоковедение, 2001. – 528с.
- Новгородова Э.А.** Древнейшие изображения колесниц в петроглифах Монголии // СА. – 1978. – № 4. – С. 192–206.
- Новгородова Э.А.** Мир петроглифов Монголии. – М.: Наука, 1984. – 168 с.
- Новгородова Э.А.** Древняя Монголия. – М.: Наука, 1989. – 383 с.
- Новоженов В.А.** Колесный транспорт эпохи бронзы урало-казахстанских степей // Вопросы археологии Центрального и Северного Казахстана. – Караганда: Изд-во Караганд. гос. ун-та, 1989. – С. 110–122.
- Новоженов В.А.** Наскальные изображения повозок Средней и Центральной Азии (к проблеме миграции населения степной Евразии в эпоху бронзы). – Алматы: Аргументы и факты Казахстан, 1994. – 266 с.
- Окладников А.П., Окладникова Е.А., Запорожская В.Д., Скорынина Э.А.** Петроглифы долины реки Елангаш (юг Горного Алтая). – Новосибирск: Наука, 1979. – 137 с.
- Окладникова Е.А.** Колесницы Алтая и Казахстана (по материалам петроглифов) // Краткое содержание докладов среднеазиатско-кавказских чтений. Апрель 1987. – Л.: Ин-т этнографии АН СССР, 1988. – С. 44–45.
- Первобытное искусство** (проблема происхождения) / Под общей ред. Я.А. Шера. – Кемерово: Никалс, 1998. – 209 с.
- Пяткин Б.Н.** Камень с рисунками в урочище Кизань (гора Оглахты) // Проблемы древних культур Сибири. – Новосибирск: ИИФФ СО РАН, 1985. – С. 116–127.

Пяткин Б.Н. Повозка-колесница – “скифский Арес” (трансформация семантики мотива) // Проблемы археологии степной Евразии: Тез. докл. – Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1987. – С. 125–127.

Савинов Д.Г. К вопросу о формировании окуневской изобразительной традиции // Окуневский сборник: Искусство. Культура. Антропология. – СПб.: Петро-Риф, 1997. – С. 202–212.

Савинов Д.Г. Изображение четырехколесной повозки на плите из могильника Есино V // Вест. САИПИ. – 2002. – Вып. 5. – С. 27–30.

Сергеева М.С. О плановом стиле изображения колесниц // Международная конференция по первобытному искусству. – Кемерово: САИПИ, 2000. – Т. 2. – С. 33–38.

Слободзян М.Б. Наскальные изображения колесниц как исторический источник // Степи Евразии в древности и средневековье: Мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. М.П. Грязнова. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2002а. – Кн. 1. – С. 227–230.

Слободзян М.Б. Изображения колесниц в петроглифах Алтая (местонахождения Елангаш и Калбак-Таш-1) // Северная Евразия в эпоху бронзы: Пространство, время, культура. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2002б. – Ч. 1. – С. 116–119.

Соловьев А.И. Оружие и доспехи. Сибирское вооружение от каменного века до средневековья. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2003. – 224 с.

Филиппова Е.Е. Погребальная колесница карасукского времени // Проблемы изучения наскальных изображений в СССР. – М.: Наука, 1990. – С. 166–168.

Франкфор А.-П., Якобсон Э. Подходы к изучению петроглифов Северной, Центральной и Средней Азии // Археология, этнография, антропология Евразии. – 2004. – № 2 (18). – С. 53–78.

Худяков Ю.С. Боевые колесницы в Центральной Азии в эпоху становленияnomадизма // Проблемы археологии степной Евразии: Тез. докл. – Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1987а. – Ч. 1. – С. 26–28.

Худяков Ю.С. Херексуры и оленные камни // Археология, этнография и антропология Монголии. – Новосибирск: Наука, 1987б. – С. 136–162.

Худяков Ю.С. Боевые колесницы в Южной Сибири и Центральной Азии // Северная Евразия в эпоху бронзы: Пространство, время, культура. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2002. – Ч. 1. – С. 139–141.

Цимиданов В.В. Еще раз о колесницах степной Евразии // Северо-Восточное Приазовье в системе евразийских древностей (энеолит – бронзовый век). – Донецк: Донец. гос. ун-т, 1996. – С. 126–128.

Черемисин Д.В. К изучению изображений колесниц в петроглифах Алтая // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Мат-лы Годовой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2003 г. – Новосибирск: ИАЭт СО РАН, 2003. – Т. 9, ч. 1. – С. 516–520.

Черемисин Д.В. Исследование петроглифов Юго-Восточного Алтая в 2005 г. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Мат-лы Годовой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2005 г. – Новосибирск: ИАЭт СО РАН, 2005. – Т. 11, ч. 1. – С. 485–488.

Черемисин Д.В., Борисова О.В. Колесный транспорт в наскальных изображениях Синьцзяна и Внутренней Монголии // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1999. – Вып. 2: Горизонты Евразии. – С. 129–135.

Чжан Чжияо. Наскальные изображения древних повозок, обнаруженные на Алтае в Синьцзяне // Art of rock carvings on the silk road. – 1993. – № 2. – С. 313–323. (на кит. яз.).

Шер Я.А. К интерпретации сюжетов некоторых петроглифов Саймалы-Таша // Культура Востока: Древность и раннее средневековье. – Л.: Аврора, 1978. – С. 163–171.

Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – М.: Наука, 1980. – 328 с.

Шер Я.А. Первобытное искусство: факты, гипотезы, методы и теория // Археология, этнография, антропология Евразии. – 2000. – № 2 (2). – С. 77–87.

Шер Я.А. Спорные вопросы изучения первобытного искусства // Археология, этнография, антропология Евразии. – 2004. – № 2 (18). – С. 36–52.

Якобсон Э. К вопросу об информативности петрографических и погребальных памятников эпохи бронзы // Археология, этнография, антропология Евразии. – 2002. – № 3 (11). – С. 32–47.

Anati E. Felskunst im Negev und aus Sinai. – Milano: Gustav Lübbe Verlag, 1981. – 99 S.

Francfort H.-P. Art rupestre et tombes gelées // Dossiers d'archéologie. – 1996. – N 212. – P. 2–9.

Francfort H.-P. Central Asian petroglyphs: between Indo-Iranian and shamanistic interpretations // The Archaeology of Rock-Art. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998. – P. 302–318.

Francfort H.-P. Images du char en Eurasie orientale des origines à la fin du Ier millénaire av. J.-C. // Первобытная археология. Человек и искусство: Сб. науч. тр., посвящ. 70-летию со дня рождения Я.А. Шера. – Новосибирск: ИАЭт СО РАН, 2002. – С. 80–89.

Jacobson E., Kubarev V., Tseevendorj D. Répertoire des pétroglyphes d'Asie Centrale. – P.: Diffusion de Boccard, 2001. – T. 5, fasc. 6: Mongolie du nord-ouest. Tsagaan-Salaa/Baga Oigor. – 132 p., 346 taf., 399 photogr.

Kubarev V.D., Jacobson E. Sibérie du sud 3: Kalbak-Tash I (République de l'Altai) // Répertoire des pétroglyphes d'Asie Centrale. – P.: Diffusion de Boccard, 1996. – T. 5, fasc. 3. – 45 p. + 665 fig.

Kuz'mina E.E. Horses, chariots, and the indo-Iranians: an archaeological spark in the historical dark // South Asian Archaeology 1993. – Helsinki: Soumalainen Tiedekatemia, 1994. – T. 1. – P. 403–412. – (Annales Academiae Scientiarum Fenniae. Ser. B, vol. 271).

Kuz'mina E.E. Charioteer-warriors in the Bronze Age in East Europe // VII International Meeting of European Associations of Archaeologists. – Lisbon, 2000. – P. 151–152.

Littauer M.A. Rock Carvings of Chariots in Transcaucasia, Central Asia and Outer Mongolia // Proceedings of the Prehistoric Society. – 1977. – N 43. – P. 242–262.

Ranov V. Petroglyphs of Tajikistan // K. Tashbaeva, M. Hujanazarov, V. Ranov, Z. Samashev. Petroglyphs of Central Asia. – Bishkek: International Institute for Central Asian Studies, 2001. – P. 122–150.

ЭТНОГРАФИЯ

УДК 391

О.В. Голубкова

*Институт археологии и этнографии СО РАН
пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия
E-mail: Camil@ngs.ru*

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕВЕРНЫХ КОМИ-ЗЫРЯН И РУССКИХ В СФЕРЕ САКРАЛЬНОГО СИМВОЛИЗМА

Славянское население Русского Севера географически окружено исторически сложившимися ареалами расселения народов, принадлежащих к финно-угорской языковой группе, включающей прибалтийско-финскую, саамскую, волжскую и пермскую подгруппы; а также ненцев, относящихся к самодийской группе.

На северо-западе русскоязычный регион граничит с территориями проживания саамов (лопарей), карел, финнов, изоры, вепсов; по северной границе располагаются ненецкие кочевья; вдоль восточного рубежа проживают (с севера на юг) коми-зыряне, коми-пермяки, удмурты; в Среднем и Нижнем Прикамье их территория смыкается с этническим ареалом марийцев (черьемисов).

В языке и культуре русского населения прослеживается субстратный комплекс, восходящий к древним межэтническим контактам русских с автохтонным населением, которое в конечном счете растворилось в русском этносе.

Особенно прочные культурные связи сложились у русских с коми, карелами, вепсами, а также с дисперсными группами финно-угроязычных народов вне основного ареала. Эти контакты способствовали взаимообогащению культурных традиций, в т.ч. в сфере религиозно-мифологических представлений и обрядовой практики. Межэтническое взаимодействие, растянувшееся во времени более чем на тысячелетний период, было настолько глубоким и разносторонним, что сегодня невозможно с достоверной точностью определить, какие элементы духовной (нередко и материальной) культуры являются “исключительно русскими”, а какие заимствованы славянами у

народов финно-угорской группы (несомненно, имела место и обратная связь). Одной из наиболее сложных проблем является степень распространения взаимовлияния в сфере мифологии, и в частности в области сакрального символизма.

Крест – один из древнейших сакральных знаков в мировых мифоэпических и религиозных системах; главный символ христианства. Придорожные, памятные, поклонные, обетные кресты имели статус местных святынь [Белова, 2002]. Нередко они могли служить деревенскими святынями, функционально тождественными почитаемым камням, родникам и деревьям [Панченко, 1998, с. 183].

Будучи ключевым символом христианской веры, крест является важнейшим элементом, демонстрирующим приобщение к ней той или иной этнокультурной группы. Среди аспектов, относящихся к культово-обрядовой сфере и направленных на сакрализацию обживаемого ландшафта, выделяется традиция сооружения деревянных крестов. Придорожные, обетные (оброчные) кресты – явление весьма распространенное среди славянского населения Восточной Европы [Сперанский, 1895; Христов, 2002; и др.]. Факт поклонения таким святыням (деревянным и каменным) достаточно известен как в Европейской России [Шляпкин, 1907; Панченко, 1998; и др.], так и в Сибири [Любимова, Голубкова, 2000].

Традиция сооружения деревянных крестов получила широкое распространение на Русском Севере. Стоящие на морском побережье и на окраинах деревень, они являются уникальными памятниками традиционной народной культуры. Кресты, высота которых порой достигала 8 м, сооружались на необитаемых

северных островах, на побережье Белого и Баренцева морей [Боярский, 2001; Столяров, 2001; Ясински, Овсянников, 2003, с. 336–352]. Водруженные на каменные насыпи на Соловецком архипелаге, они хорошо были заметны со стороны моря [Фомин, 1797, с. 13, 92]. Нередко кресты устанавливались на сельскохозяйственных или промысловых территориях – полях или рыбакских тонях [Овсянников, Чукова, 1989, с. 47; Филин, Фризин, 2001, с. 166–174; и др.]. Они являлись как обетными крестами, поставленными крестьянами или мореплавателями в знак благодарности Господу за спасение, удачный промысел и т.п., так и памятниками погибшим рыбакам, а также навигационными знаками и маяками [Дмитриева, 1986; Овсянников, Ясински, 1995; Филин, Фризин, 2001]. Кресты могли быть межевыми знаками [Яшкина, 1998, с. 337], придорожными указателями [Курилов, 2004, с. 71–72], памятниками пребывания в данной местности исторических лиц [Критский, 1988] или отмечать места, каким-либо образом связанные с легендарными персонажами [Яшкина, 1998, с. 346–350].

Обычай установки обетных деревянных крестов известен также и коми-зырянам [Овсянников, Ясински, 1995, с. 36; Смирнова, Чувыюров, 2002]. Формирование народа коми относится к X–XIV вв.; его этнической основой были племена Перми Вычегодской, населявшие Верхнее и Среднее Прикамье [Жеребцов, 1982, с. 23, 26 и сл.]. Процесс заселения и оформления этнической территории коми-зырян охватил XIV–XIX вв., а расселения за ее пределы – XVII – начало XX в. Освоение бассейна Печоры коми и русскими происходило в основном в XVIII–XIX вв. В XVII в. на нижней Печоре было только три населенных пункта: г. Пустозерск, возникший в начале XVI в., Усть-Цилемская слобода, основанная новгородцем в 1544–1545 гг., и Ижма, появившаяся между 1568 и 1575 гг. Ижемская слобода долго оставалась здесь единственным поселением коми. Лишь в конце XVIII в. вокруг нее появились Мохча, Гам, Сизябск, Бакур и Мошьюга. Затем ижемцы стали расселяться по Печоре. В целом субэтническая группа ижемских коми сложилась на основе русских переселенцев из Усть-Цильмы, коми-зырян с Выми, Удоры, Сысолы и других мест. В их числе было и несколько ненецких родов, осевших и смешавшихся с коми и русскими [Там же, с. 78–80]. Со второй четверти XIX в. началось заселение Нижнего Приобья ижемскими оленеводами, кочевавшими ранее в восточных предгорьях Урала и в бассейне нижней Оби. Этот процесс, проходивший стремительными темпами, послужил основой для создания этноареальной группы обских коми. Основными очагами ее расселения в XIX – начале XX в. были поселки Саранпауль, Мужи и городок Березов [Там же, с. 180; Конаков, Котов, 1991, с. 51–52].

Во время полевых исследований в поселках северных коми-ижемцев, живущих по нижнему течению р. Ижмы (с. Сизябск, д. Бакур, д. Ёль Ижемского р-на Республики Коми – ПМА* 2003 г.) и в Нижнем Приобье (пос. Березово ХМАО, поселки Мужи, Овгорт ЯНАО Тюменской обл. – ПМА 2004 г.), были зафиксированы обетные и поклонные деревянные кресты, а также связанные с ними легенды и традиции.

Один из наиболее приметных деревянных крестов ижемских коми, с которым связано немало легенд, находится на Северном Урале, на возвышенности в нескольких километрах от пос. Мужи. По воспоминаниям старожилов, он был установлен первыми ижемскими колонистами Северного Приобья в знак памяти о переходе через Урал. “*Народ в Сибирьшел с Ижмы, с Коми-то. Многие семьи со своими оленями, с баранами через Урал перевалили. Много народа пришло сюда. И на гору сюда поднялись. И увидели реку. Река – значит, кончаются горы, скоро поселок будет. И на этом месте крест поставили*” (ПМА, пос. Мужи). Он был сделан из березы: срубили ветки, обтесали ствол и прибили поперечную перекладину (Там же).

Поклонный крест, стоявший на одной из самых высоких гор Северного Урала (до 50-х гг. XX в.) между Ижмой и пос. Мужи, отмечал середину дороги ижемских переселенцев, пришедших в Западную Сибирь. Около него оленеводы останавливались передохнуть, молились, приносили жертву (хлеб, спиртное) и пили водку из медных колокольчиков, снимая их с оленей (Там же).

С апотропейными функциями креста связана сакрализация территории. У коми-зырян Нижнего Приобья бытовали представления о том, что нечистая сила не могла перейти Уральский хребет. “*Там (на Ижме) всегда почему-то чудилось. То ли за Урал нечистая сила не переходит. Там всегда, рассказывали, случаи разные были. А здесь – другое. Нечистая сила не могла Урал пересечь*” (Там же). Соответственно, установленный на вершине крест обозначал еще и ландшафтно-мифологическую границу. Связанные с этим крестом многочисленные легенды представляют собой методичную апелляцию к его охранительным функциям. Некоторые предания повествуют о том, что крест, несмотря на неоднократные разрушения, всегда восстанавливается на прежнем месте. В первой половине XX в. (точная дата не установлена) был сильный лесной пожар, грозивший перекинуться на пос. Мужи. Селяне, собравшись вместе, пошли в сторону Урала – к вершине, где раньше стоял деревянный крест, воздвигнутый первыми ижемскими мигрантами в Сибири (к тому времени он упал). Добравшись до этого места (на возвышенности, над

* Полевые материалы автора.

р. Юган), люди стали молиться. Поднялся ветер, пригнал черные тучи, и полил сильный дождь, мгновенно потушивший огонь, уже подступавший к Мужам. После этого соорудили новый деревянный крест, которыйостоял несколько десятилетий. Сейчас там стоит уже другой крест, воздвигнутый в 1990-х гг. (Там же).

В разные времена крест оставался местным объектом паломничества: “За Мужами стоял крест, на самом высоком месте, по пути к Тильтиму. Крест стоит на поляне среди леса, за ним – тундра. Ходили к кресту молиться”; “Когда бабушки богомольные к кресту ходят, отдыхают там, кушают. Поляна там чистая. Летом морошка растет. Поляна большая, с нее хорошо крест на горе видно. На той поляне всегда останавливались, отдыхали”; «Женщина одна болела сильно. Ноги больные были. Она сказала: “Если Бог позволит, я летом Юган перейду, сяду на коленки и до креста дойду на коленках”. Так она до креста на коленках и поднялась. А люди следом шли, смотрели, чтоб не обманула, на коленках шла. Она-то для себя шла, – так кого обманешь? Она потом много лет прожила и ходила на ногах» (Там же).

В с. Сизябск Ижемского р-на Республики Коми, на территории одной из усадеб на окраине села, у дороги, в 2003 г. стоял деревянный шестиконечный крест (рис. 1), к которому было приколото множество небольших разноцветных лоскутков с нашитыми на них крестиками (рис. 2, 3). Крест старый (сооружен в начале XX в.), уже покосившийся; опорой ему служила стена амбара. По сообщению местных жителей, раньше вокруг села было несколько деревянных крестов, которые закрывали ведущие в селение дороги, не впуская нечистую силу (лешаков), “ходячих” покойников, охраняли от мора и падежа скота. Со временем они порушились, упал и этот крест. Но спустя несколько лет его подняли и установили поблизости от того места, где он стоял прежде, – у дороги, ведущей на старое кладбище.

По сообщению информантов, крестики на лоскутках нашивали женщины и прикалывали к деревянному кресту с целью предотвратить грозящее несчастье (смертельный исход болезни, мор скота), заручиться покровительством высших сил в каком-либо важном деле. Процесс этот сопровождался молитвами и просьбами об исцелении, ниспослании всевозможных благ. Крест назывался Пантелеимоновым*, что свидетельствует о его роли как поклонного и охраняющего от болезней (святитель Пантелеимон в народном православии обрел популярность в качестве целителя). Возможно, изначально он был сооружен по обету, как

и большинство крестов в сельской местности [Ясински, Овсянников, 2003, с. 343]. Однако связанные с его возведением обстоятельства не удалось выяснить по причине давности событий. Известно, что еще в 1950-х гг. в Сизябске стояло шесть крестов. Они располагались у трех входов в село (три, два и один)*. Местные жители помнят, что кресты имели названия (скорее всего, также по именам святых), но со временем они были забыты.

Сизябский Пантелеимонов крест, помимо перечисленных функций, выполнял еще и роль сельского оберега, не пропуская в поселок нечистую силу и “ходячих” покойников (рассказы об их похождениях и попытках навредить людям распространены среди местных жителей). “Место, где сейчас стоит крест, раньше было концом села. Дальше идет дорога на старое кладбище (его часть уже ушла под новые постройки села. – О.Г.). Крест был установлен для того, чтобы покойники не могли проникнуть в село и навредить живым людям” (ПМА, с. Сизябск).

Подобные кресты были установлены и в других ижемских селениях. По сообщениям жителей д. Бакур, в 1920-х гг. здесь был падеж скота. Собравшись, жители деревни поставили деревянный крест на окраине поселка, на высоком берегу р. Курья. После этого мор скота прекратился. Селяне ходили к кресту молиться, обращались с различными просьбами. Простоял он до конца 1940-х гг. (ПМА, д. Бакур).

Традиция сооружения обетных крестов по случаю бедствий и с целью их избежания сохранилась и у коми-ижемцев, переселившихся в середине XIX в. в Западную Сибирь. В пос. Саранпауль (одном из крупнейших коми поселков на восточной стороне Урала) вплоть до середины XX в. стояли два деревянных креста высотой ок. 2 м: в центре села и на окраине, у дороги, ведущей в сторону леса. Один из них был поставлен во время оленьей эпидемии, после чего мор скота прекратился (ПМА, пос. Березово). В 1919 г. тобольский путешественник Г.М. Дмитриев-Садовников, проезжая Саранпауль, записал в своем дневнике: “Среди села – большой разукрашенный крест, с крышей, иконами, обнесенный оградкой” [2000, с. 16]. До конца 1940-х гг. в центре пос. Мужи стоял деревянный четырехконечный крест с двускатной крышей, высотой в человеческий рост. Участок, где он находился, был огорожен изгородью-частоколом. Его соорудили также по случаю падежа оленей в 1910-х гг. (ПМА, пос. Мужи).

Обычай установки или восстановления обетных крестов существует и сегодня, переживая современную модификацию. Например, в д. Ёль несколько лет назад поставили деревянный шестиконечный крест с двускатной крышей (рис. 4) на территории

* Согласно полевым материалам, любезно предоставленным Ю.А. Крашенинниковой, научным сотрудником Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН.

* См. предыдущее примечание.



Рис. 1. Крест в с. Сизябск.



Рис. 2. Фрагмент креста в с. Сизябск (средняя часть).



Рис. 3. Фрагмент креста в с. Сизябск (нижняя часть).



Рис. 4. Крест в д. Ёль.

усадьбы молодого предпринимателя. Инициатором была его мать. Раньше, в годы ее детства (в конце 1930-х – начале 1940-х гг.), неподалеку от этого места уже стоял деревянный крест. Там, где сейчас находится усадьба сына, был конец деревни и никто не жил. В конце 1990-х гг. на семейном совете при-

няли решение восстановить нарушенную святыню. “Крест нужен, чтобы дела шли хорошо. Было у него (у сына) все плохо. Молилась я, обещала Богу крест поставить, какой раньше стоял. Выпросила, чтобы сын установил. И хорошо все в семье и на работе стало” (ПМА, д. Ёль).

В христианском мире известны различные виды крестов: нательные, наперсные, напрестольные, намогильные, венчающие купола храмов, изображенные на текстильных изделиях, деревянные или каменные в системе ландшафтного пространства и др. Наиболее распространены в среде культурного ландшафта кладбищенские кресты. Некоторые исследователи напрямую связывали происхождение намогильных столбиков – а вместе с тем и придорожных деревянных крестов – с древнеславянскими погребениями “на столбах на путях” [Фрейман, 1936; Динцес, 1947]. Обычай надземных погребений на столбах, бытовавший в XI–XII вв. у ряда восточно-славянских племен, еще долго сохранялся в качестве элемента обережной магии [Орфинский, 1998, с. 62]. Поэтому похоронные столбы (столбы мертвых), а позднее генетически связанные с ними столбы-часовни устанавливались на въездах в деревни и на перекрестках дорог [Там же]. Вместе с тем в развитии типов и форм надгробий (включая столбы, голбцы и кресты) прослеживается связь с символикой дома [Там же, с. 62–63; Фризин, 2001, с. 199–233]. Соответственно, крест представляется собой идеально упрощенную модель гробницы как в христианском контексте (намогильный памятник, провозглашающий победу над смертью и надежду на воскресение), так и языческом: его вертикальная

часть (столб) необходима для перехода в иной мир, а крыша символизирует потустороннее жилище [Фризин, 2001, с. 226].

Намогильные сооружения и погребальный обряд, как правило, демонстрируют архаичные формы и наиболее консервативные религиозные представления. Своеобразное отношение ижемских коми к кресту, которое не вполне соответствует христианскому культу, отражено в оформлении намогильных памятников на местных кладбищах. Большинство из них представлено деревянными сооружениями, напоминающими столбы и столбики различной высоты, или обелисками; встречаются антропоморфные фигуры. “Крест мог считаться и символом христианской веры, и местом обитания души покойника одновременно” [Панченко, 1998, с. 193]. Это высказывание можно отнести и к антропоморфным памятникам на могилах. Приходя на кладбище, родственники разговаривали с усопшими, обращая свои взоры к намогильному сооружению, клади пищу к его подножию.

Следует также упомянуть о запрете класть в гроб или на могилу металлические предметы (мотивировалось это тем, что “бесы на том свете притягивают к себе все металлическое, как магнит”), даже нательный металлический крест покойного заменялся на деревянный [Шарапов, 2001, с. 300–303]. Очевидно, деревянные намогильные сооружения и предметы связаны с представлениями коми о том, что после смерти душа человека вселяется в дерево, и мифами о древесном двойнике человека [Белицер, 1958, с. 321, 322]. Это, в свою очередь, перекликается с архаичными славянскими обрядами, когда на могилах покойников до установки креста иногда втыкали деревянную палочку или веточку [Завойко, 1914, с. 98–99].

Отсутствие крестов на некоторых могилах местные жители объясняли тем, что в первый год ставить крест не принято, поскольку он “мешает покойнику выходить из могилы”. “Трудно ему (покойному) в сырой земле лежать. Надо ему сначала привыкнуть к матери-земле, чтоб не сразу во тьму. Сначала время должно пройти. А после года уже он совсем от нас уйдет, тогда и крест можно ставить” (ПМА, д. Бакур). Однако крестов не было и на многих старых могилах. Столбы и обелиски, помимо того, что являются памятниками усопшим, служили им еще и своеобразной опорой: “когда покойный [из могилы] встает, он за столб держится” (ПМА, д. Бакур, пос. Овгорт). Намогильный крест также рассматривался как вспомогательное средство для окончательного выхода умершего из земли – после второго пришествия Христа: “После второго пришествия, когда конец света начнется, все умершие из могил выйдут. Кресты на могилках ставят, чтобы родители за них держались, когда навстречу Христу вставать будут” (ПМА, д. Бакур).

“дует” (ПМА, д. Бакур). Согласно данным суждениям, крест мешает покойнику выходить из могилы и держит его в земле до эсхатологической кульминации – момента второго пришествия.

Таким образом, по представлениям ижемских коми, умершие ведут себя довольно-таки активно, особенно в первый год после похорон: уходя в мир иной, они не прерывают связей с этим светом, со своими близкими; регулярно встают, гуляют по кладбищу, общаются (как между собой, так и с живыми родственниками), могут навещать родной дом, однако такие визиты нежелательны, за исключением поминальных дней, в которые родители специально приглашаются к трапезе (кроме календарных родительских дней, у ижемских зырян было принято звать покойных родителей “на обед” каждую субботу и довольно часто посещать кладбище, чтобы пообщаться с предками и “угостить” их).

В.Н. Белицер писала, что на рубеже XIX–XX вв. намогильные кресты ставили только зажиточные крестьяне, остальные ограничивались простыми столбиками, которые обтесывали топором, придавая им форму человеческой фигуры [1958, с. 329]. Среди коми-стараобрядцев бытовало убеждение, что креста на могиле удостаивались только очень религиозные люди, неукоснительно соблюдавшие каноны старой веры (должны были его заслужить). Основной массе простых старообрядцев полагалось ставить столбик со врезанной в него иконкой (с изображением Христа на мужских надгробиях или Богородицы – на женских). Столбики без образков, с навершиями (“шишечками”) отмечали погребения удавленников и всех, кто умер не своей смертью и поэтому не достоин святых икон [Шургин, 1996, с. 184]. Приведенные выше полевые материалы позволяют предположить, что причиной установления на могиле креста или столба является не имущественное или социальное положение умершего, а религиозные воззрения, восходящие к дохристианским верованиям, основанным на культе предков и допускающим их хождение по земле после смерти. Следует подчеркнуть, что отношение зырян к этому “факту” нейтрально-позитивное, в отличие от однозначно негативной реакции на “появление” мертвцев, относимых к категории заложных [Зеленин, 1995, с. 39–88], приравниваемых к *нежити*. То есть блуждание по земле заложных покойников и выход из могилы умерших естественной смертью предков – явления разного порядка.

В целом у ижемских зырян прослеживается отношение к умершим как к живым людям. Например, запрещается кидать землю на гроб (во избежание этого устанавливают дощатые стены внутри могилы и сооружают крышу над гробом), т.к. считается, что покойник может испытывать боль и страх (ПМА, д. Бакур, с. Сизябск, поселки Мужи, Овгорт). Иногда

в крышке или стенке гроба устраивают оконце, чтобы покойный “*мог смотреть*” в этот мир (вариант: “*чтобы было светло*”) [Белицер, 1958, с. 329] (аналогичные воззрения были зафиксированы и Ю.А. Крашенинниковой в 2000–2003 гг. у ижемских зырян).

Примечательно, что, согласно народным верованиям, активность мертвцевов с негативным статусом (*нечистых, заложных*) традиционно выше, чем покойников-предков [Зеленин, 1995, с. 39–88]. Поэтому в обществе, где так сильна вера в повседневные и повсеместные контакты с представителями иного мира (в частности, у коми-ижемцев), являются логичными и естественными всевозможные обереги и обряды, направленные на нейтрализацию злобных представителей того света. Кресты, поставленные при входах в села, были предназначены для того, чтобы не пускать непрошеных гостей из потустороннего мира. В первую очередь, люди стремились таким способом оградить себя от вредоносных духов – нечистой силы и *заложных* покойников. Последним приписывались способности насыщать болезни, мор скота, засуху, заморозки, неурожай [Там же, с. 39–140] – как раз те бедствия, во избежание которых было принято устанавливать обетные кресты.

Связь крестов на могилах предков с обрядами, направленными на исцеление болезней, демонстрируют материалы Ю.А. Трусмана (Санкт-Петербургская губ., последняя четверть XIX в.). На такие кресты местные жители клали приношения в виде холщового тряпья, шерсти и денег, что сулило здоровье и благополучие [1885, с. 193–194].

Сооружение священных крестов у ижемских коми во многом перекликается с восточно-славянскими обрядами изготовления *обыденных полотенец* и сооружения *обыденных храмов*, также направленными на борьбу с эпидемиями (реже – с засухой, градом, затяжным дождем) [Зеленин, 1994]. В случае мора скота белорусы ставили у дороги за деревней деревянный крест (который мужчины делали в одну ночь) и вывешивали на него полотенце (сотканное женщинами за тот же срок), после чего ожидалось прекращение повальной болезни. Обрядовое полотенце, висящее на кресте, служило прямой преградой болезни, смерти: считалось, что смерть, доходя до этой преграды, не могла ее перейти, поворачивала в сторону и проходила мимо [Там же, с. 195–196, 200–201].

Деревянные кресты, богато украшенные ткаными рушниками, поясами, лентами (называемые *оброчными крестами*), стояли в поселениях и у дорог по всей Белоруссии [Белорусы, 1998, с. 256]. Коллективно совершаемые в экстремальной ситуации (во время засухи, мора, эпидемии) окказиональные ритуалы, обращенные к придорожным и другого типа крестам, широко практиковались в Белоруссии и Западной Украине [Лысенко, 1998, с. 182–184]. Самой распро-

страненной формой обета являлось обещание пожертвовать “на крест” отрез материи или полотенце. У русского населения Архангельской губ. был весьма распространен обычай ставить деревянные кресты и столбы (которые называли *часовенками*) по краям улиц, при въездах в деревни, на дорогах, перекрестках, в рощах и т.д. Нередко на них привешивали “куски резной материи, узорчатого полотна или холста”, на которых вышивались крестики [Ефименко, 1877, с. 32–33]. Высокие обетные кресты на Мезени украшались фартуками, шелковыми платками, куклами; сюда клали деньги [Пермиловская, 2001, с. 238].

Сопоставляя восточно-славянские обряды, связанные с деревянными крестами, и традицию сооружения крестов ижемскими коми, а также обычай привешивать лоскутки с нашитыми на них крестиками на Пантелеимонов крест в с. Сизябске (см. рис. 1–3), нельзя не заметить очевидного сходства. Во-первых, кресты были установлены у дорог, на сельских окраинах. Во-вторых, они возводились в случае падежа скота. В-третьих, лоскутки в какой-то степени можно соотнести с *обыденными полотенцами*. Информанты делали акцент на том, что крестики пришиваются к тряпицам, которые затем прикалываются к кресту “с молитвами и просьбами”. В этом случае, очевидно, присутствует мотив вторичной сакрализации лоскутков. Считалось, что ткань обладает определенным сакральным статусом, который усиливается, когда на ней появляется изображение креста (причем крестики не нарисованы, а вышиты или пришиты, что можно соотнести с магией рукоделия), и еще более возрастает, присоединившись к деревянному кресту, – как жертва, возложенная на алтарь, обретает абсолютную святость. Если в восточно-славянских обрядах *обыденное полотно* готовили все женщины села, то здесь, вероятно, представлен локальный вариант, имеющий индивидуальное выражение (когда мольбы и просьбы касаются не всей общины, а конкретных лиц), которое в большей степени отвечает социокультурной тенденции в современном мировоззрении.

У ижемских коми соотнесенность развшанных на кресте лоскутков с усопшими обозначена весьма условно. Во время интервью большинство жителей Сизябска не связывали данный обычай с поминовением умерших. Однако наряду с многочисленными упоминаниями об апотропейных и “просительных” функциях лоскутков, прозвучало также иное мнение: “*Эти тряпочки с крестиками – памятки похороненным здесь от родственников, которые живут далеко и не могут навещать родные могилки. Проходя мимо, посторонние люди увидят крестики, и от этого души умерших чувствуют, что родные о них помнят*” (ПМА, с. Сизябск). Возможно, в контексте данного высказывания прозвучало суждение, сохранившееrudименты древнейшей традиции путевого

захоронения. Покойники, души которых рассеялись в окружающем мире, находят воплощение в посвященных им лоскутках – подобно тому, как они олицетворяются в намогильных памятниках, иконах и фотографиях. Очевидно, по представлению местных жителей, умершие смотрят на мир чужими глазами – глазами проходящих мимо людей, взглянувших на крест и помянувших их.

Несмотря на то что данная точка зрения была зафиксирована лишь однажды, она весьма интересна в плане сопоставления с аналогичными обрядами русского населения. В Новгородской губ. существовал обычай вывешивать на деревья и придорожные кресты тряпочки либо полотенца с нашитыми на них черными или красными крестиками. Эти полотенца и тряпочки прежде были прибиты к наружным стенам домов в течение шести недель после смерти кого-либо из домочадцев “на основании поверья, что душа умершего в продолжение сорока дней прилетает в свое жилище, умывается водой и утирается вышитым полотенцем” [Герасимов, 1895, с. 124]. В определенной степени данный обычай перекликается с традицией (повсеместно распространенной у славян и финноутров) оставлять полотенца на намогильных памятниках, а также с обычаем коми вывешивать чистое полотенце, когда в доме покойник, – для того, чтобы душа, умывшись, могла утереться. Однако в тексте М.К. Герасимова указан конкретный срок: душа прилетает к дому до сороковин. Здесь не объясняется, для кого предназначены полотенца, развесиваемые на придорожные кресты после сорокового дня.

По народно-православным представлениям, в сороковой день душа умершего прощалась с родными и домом, переходя окончательно в иной мир (она будет навещать своих близких лишь в дни поминовения). Очевидно, она становилась одним из семейных предков-хранителей (если, конечно, речь шла о душе человека, скончавшегося от старости) [Седакова, 2004, с. 31–32]. Соответственно, предназначенные умершему рушники до сорокового дня должны были находиться в рамках домашнего пространства, а по истечении этого срока выдворялись за его пределы. Если полотенце, прибитое к стене дома, было предназначено для конкретной души – недавно скончавшегося человека, то, вероятно, после удаления на придорожный крест его назначение несколько абстрагировалось (для всего сонма предков). В данной ситуации просматривается аналогия с личными (преимущественно текстильными) вещами покойного, от которых также следовало избавиться в течение сорока дней. Частично их уничтожали, сжигая или пуская по воде [Там же, с. 52–54]. Считалось, что таким образом эти предметы попадали в загробный мир. Другую часть вещей умершего раздавали родным и соседям – “на

помин души” (существовал также обычай спускать гроб в могилу на длинных кусках холста, которые впоследствии разрезались на небольшие отрезы – “полотенца” и делились между пришедшими на похороны) [Там же, с. 203–204]. Здесь присутствует мотив направленности на продолжение жизни умершего в этом мире. Личные вещи покойного, отрезы ткани или иные жертвенные предметы, раздаваемые близким, являлись атрибутами покойного, замещающими его в мире живых. Возможно, через такие предметы и людей, которые их использовали, души могли ощущать этот мир, подобно тому, как смотрели глазами прохожих, увидевших кресты и поминальные лоскутки. И таким образом происходило растворение души в социуме, необходимое для ее перерождения и нового прихода на землю. А до тех пор души умерших, находясь на том свете, посещали этот мир; они нуждались в пище и прочих атрибутах, таких как лоскутки или полотенца.

С одной стороны, предназначение рушников и тряпиц трактовалось как прямой дар умершим (полотенца, развешанные на могильных памятниках и оградках, или лоскутки – “памятки” на придорожном кресте). С другой стороны, текстильные изделия рассматривались в качестве оберегов или жертвенных подарков, имеющих цель задобрить духов и вымоловить помощь и покровительство в каком-либо важном предприятии. Но и в этом случае адресатом являлись представители мира мертвых: либо умершие и ставшие духами-хранителями предки, либо заложные покойники, от злобного влияния которых защищались двумя способами – отпугивая или задабривая дарами. Например, развешивание кусочков ткани на деревьях – “русалке на рубашку” – было обрядом, широко распространенным в славянском мире [Зеленин, 1995, с. 187]. Русалки, считавшиеся заложными мертвцами, представляли определенную опасность как для людей, так и для урожая (могли вызывать бури, дожди и засуху) и требовали для себя искупительную жертву в виде лоскутов, платков, обрезков холста. Получившая щедрый дар русалка могла сделать человека счастливым и наградить, например, хорошим урожаем льна или “спором” (ловкостью) в прядении и т.д. [Шейн, 1902, с. 317; Виноградова, 1986, с. 102].

Таким образом, предназначение кусочков ткани с крестиками, висящих на крестах и деревьях, становится очевидным: они посвящены усопшим.

Еще один символ христианского культа – распятие – своеобразно адаптирован ижемскими коми-зырянами.

На чердаке дома в д. Бакур в 2003 г. находился фрагмент деревянного распятия (рис. 5–9). Сохранилась его основа – скульптурное изображение Иисуса Христа, выполненное из дерева и раскрашенное.



Рис. 5. Скульптурное изображение Иисуса Христа (фрагмент распятия) в д. Бакур.

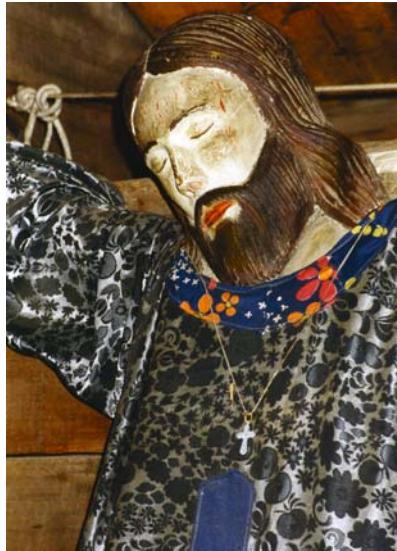


Рис. 6. Фрагмент деревянной скульптуры Христа (д. Бакур).



Рис. 7. Фрагмент деревянной скульптуры Христа (д. Бакур).



Рис. 8. Демонстрация одежды, облачющей изваяние (д. Бакур).



Рис. 9. Демонстрация скульптуры Христа (д. Бакур).

Крест утрачен. Высота фигуры ок. 110–120 см. Части тела и черты лица пропорциональны. Голова склонена и немножко опущена, глаза закрыты. Кисти рук и стопы пронзены гвоздями, показана струящаяся из ран кровь. На правой стороне груди изображены кровавые подтеки. Изваяние представляет Христа раздетым – в одной лишь набедренной повязке. Скульптура выполнена изящно. Основательно проработаны все мельчайшие детали. Аккуратно и тонко вырезаны черты лица. Рельефно выделяются волосы, усы и борода, ребра, натурально пропивающие сквозь кожу, плавные складки набедренной повязки. Датировать это произведение можно приблизительно концом XIX в.

Чердак, где хранилась скульптура, являлся верхней частью жилого дома. Половина этого помещения использовалась как склад старой мебели, садового инвентаря и различной утвари, хранилище сушеных трав. В более светлой части чердака – недалеко от окошка – располагалось изваяние, окруженнное иконами. Оно стояло на небольшом пьедестале, покрытом полотенцами и платками. В ногах находились свечи, помещенные на блюдце и в консервную банку (см. рис. 7). Там же, в вазочке, лежали свечи и хлебный рогалик, прикрытие листочком бумаги. Таким образом, эта часть чердака представляла собой импровизированный алтарь, центральной святыней которого был фрагмент распятия.

Хранительница изваяния Ольга Семеновна Канева поведала его историю. Когда в Бакуре, согласно распоряжению советской власти, разрушали церковь (информантка относит данное событие к концу 1930-х гг.; по другим сведениям, это происходило в начале 1950-х гг.), то наряду с иконами выбросили и распятие. Верующие люди (каковых в селе-

нии было большинство) не могли допустить поругания святынь, разобрали образа по домам и тщательно их скрывали. Свекровь Ольги Семеновны принесла домой деревянную скульптуру Иисуса Христа, уже отделенную от креста. Позже ее установили на чердаке. Их дом стал своеобразным центром поклонения изваянию, отчасти заменив собой разрушенный (и поныне не восстановленный) храм. Люди приходили молиться Христу, ставили свечи, обращались с различными просьбами. В большинстве случаев просили об исцелении занедуживших родственников или благополучном исходе каких-либо предприятий. Чаще всего приходили женщины, даже если речь шла о вымаливании успеха в мужских занятиях (охоте, оленеводстве); просили удачи для своих мужчин – мужей, сыновей, отцов и братьев. Обычно давали обеты, что в случае счастливого исхода дел, они одарят Христа. Изваяние жаловали платками, полотенцами и одеждой, “угощали” пирогами и хлебом, возжигали свечи.

В конце 1950-х гг. у одной жительницы села ушли в тундру муж с двумя сыновьями и не вернулись в положенный срок. Обеспокоенная женщина пришла к изваянию и стала молить Христа о возвращении родных. Она дала обет, что если муж и сыновья останутся живыми, то Христос получит в подарок красивую рубашку (до этого времени изваяние еще не было одетым). На следующий день муж и сыновья пришли домой невредимыми. В знак благодарности женщина сшила рубашку и облачила в нее скульптуру. На груди сорочки вышила крест. Позже и другие селяне стали давать подобные обеты и в случае исцеления от тяжелых болезней или возвращения из тайги заблудившихся людей дарили Христу новую одежду.

Летом 2003 г. скульптура была облачена в две рубашки с крестами, нашитыми в виде аппликации (см. рис. 8, 9). К подолу верхней сорочки (из цветной ткани) пришит большой карман. На шею надет оловянный нательный крестик. Платки и полотенца, положенные у ног изваяния, также украшены вышивкой или аппликацией в виде креста (по центру). Женщины приходили на чердак дома Каневых молиться. Зажигали свечи. Одежду дарили нечасто – только в случае благополучного исхода особенно важных дел, касающихся жизни и смерти. Количество рубашек, надетых на изваяние, бывало различным (от одной до трех). Когда одежда становилась ветхой, ее меняли на новую. Иногда Христа одаривали свежими нарядами в течение непродолжительного времени, тогда сорочки надевались одна поверх другой. Если же “рубашки изнашивались” и долго никто не приносил в подарок одежду, хозяйка дома сама шила новое одеяние.

По существу, распятие (даже его фрагмент) – это крест. Христианская религия очень гармонично вос-

приняла древнюю солярную символику креста и основательно контаминировала его со своим вероучением. Народное православие, вовравшее в себя многие языческие традиции, оперируя этим символом, поднимало из глубин сознания и иные, более древние пласти религиозного мировосприятия. Крест воспринимался не только как орудие казни Христа и символ его воскрешения, но и как исконный солярный знак, защищающий от темных сил, враждебных природе и человеку. В связи с этим и Христос, изображеный распятым на кресте, мог выступать в роли духовного покровителя. Связь умирания и воскрешения Господа с крестом переплетает христианскую символику с языческой: будучи солярным знаком, крест является собой идею перерождения и вечной жизни, противоборства силам тьмы.

Платки и полотенца с вышитыми (или пришитыми) крестами, принесенные Христу в подарок, по сути, могут быть модификацией лоскутков, приколотых на придорожном кресте или развешанных на деревьях.

Итак, представленные здесь факты открывают еще один вариант адаптации христианского культа. В ритуально-фольклорном комплексе и обрядовой практике ижемских коми ярко проявляются элементы различных мифологических представлений, возникновение которых растянулось во времени и было связано с разными религиозными системами. При этом сохраняется единая символика. Крест представляет собой уникальную модель для исследования в данном направлении.

Идея установки обетного креста, очевидно, была воспринята коми-зырянами от русского населения, о чем свидетельствуют многочисленные примеры сооружения подобных крестов в славянском мире. Кроме того, согласно рапортам священников Архангельской губ. 1880 г., на тот момент они существовали во всех приходах, причем в немалом количестве (например, в Зачачьевском приходе Холмогорского уезда насчитывалось 22 креста) [Овсянников, Ясински, 1995, с. 28–37]. В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что наибольшее число крестов находилось около русских либо поморских селений или же там, где русское население было преобладающим. Около Ижемской деревни зафиксированы лишь два креста: “Один устроен напереди деревни, на распутьях, по всей вероятности, по древнему обычанию устраивали на таких местах кресты. Другой – позади деревни, на лугу” [Там же, с. 36].

Таким образом, христианский символ органично соединился с языческими верованиями коми-зырян. Органичность подобных сочетаний, с одной стороны, указывает на определенную долю универсальности компонентов как ранних мифологических, так и развитых религиозных символов; с другой – дает основу

вания предположить близость традиции установления крестов и связанных с ними жертвоприношений с аналогичными дохристианскими обрядами коми. Прежде всего это культ деревьев, распространенный у финно-угроязычных народов. В обрядово-бытовой сфере коми-зырян известны как священные деревья, оберегающие всю сельскую общину и ее территорию, так и личные деревья-хранители. Кроме того, деревья на могиле или кладбище, согласно их представлениям, могли быть как памятниками умершим, так и средством общения живых людей с мертвыми или духами иного мира [Шарапов, 1993].

Список основных информантов

Ануфриева Анастасия Захаровна, 1925 г.р., пос. Мужи (ЯНАО)
 Артеев Иосиф Васильевич, 1929 г.р., пос. Мужи (ЯНАО)
 Артеева Анастасия Ильинична, 1920 г.р., с. Сизябск (Республика Коми)
 Артеева Прасковья Акимовна, 1931 г.р., д. Ёль (Республика Коми)
 Вельяминова Анна Ананьевна, 1932 г.р., пос. Овгорт (ЯНАО)
 Вокуева Зинаида Павловна, с. Сизябск (Республика Коми)
 Канев Филипп Андреевич, 1929 г.р., пос. Березово (ХМАО)
 Канева Ольга Семеновна, 1931 г.р., д. Бакур (Республика Коми)
 Клодешникова Луиза Александровна, 1930 г.р., д. Бакур (Республика Коми)
 Попова Анна Дмитриевна, 1929 г.р., пос. Мужи (ЯНАО)
 Терентьева Елизавета Ивановна, 1934 г.р., д. Бакур (Республика Коми)
 Терентьева Клавдия Васильевна, 1927 г.р., д. Бакур (Республика Коми)
 Филиппова Маргарита Иосифовна, 1934 г.р., пос. Овгорт (ЯНАО)
 Хозяинова Анна Федоровна, 1925 г.р., пос. Мужи (ЯНАО)

Список литературы

Белицер В.Н. Очерки по этнографии народов коми. XIX – начало XX в. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – 394 с.
Белова О.В. Крест // Славянская мифология: Энцикл. словарь. – М.: Междунар. отношения, 2002. – С. 259–261.
Блорусы. – М.: Наука, 1998. – 503 с.
Боярский П.В. Русский крест в сакральном пространстве Арктики // Ставрографический сборник. – М.: Древле-хранилище, 2001. – Кн. 1. – С. 130–165.
Виноградова Л.Н. Мифологический аспект полесской “русальной” традиции // Славянский и балканский фоль-

клор: Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. – М.: Наука, 1986. – С. 88–133.

Герасимов М.К. Некоторые обычаи и верования крестьян Череповского уезда Новгородской губернии // ЭО. – 1895. – № 4. – С. 122–125.

Динцес Л.А. Дохристианские храмы Руси в свете памятников народного искусства // СЭ. – 1947. – № 2. – С. 67–94.

Дмитриев-Садовников Г.М. Экскурсия по р. Сосьве и др. в 1919 г.: Дневник экспедиции // Лукич. – 2000. – № 4. – С. 6–63.

Дмитриева С.И. Мезенские кресты // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1984. – Л.: Наука, 1986. – С. 461–466.

Ефименко П.С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. Часть 1: Описание внешнего и внутреннего быта // Изв. Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии при Моск. ун-те. – 1877. – Т. 30: Тр. Этнографического отдела. – Кн. 5, вып. 1.

Жеребцов Л.Н. Историко-культурные взаимоотношения коми с другими народами. – М.: Наука, 1982. – 224 с.

Завойко Г.К. Верования, обычаи и обряды великороссов Владимирской губернии // ЭО. – 1914. – № 3/4. – С. 81–178.

Зеленин Д.К. “Обыденные” полотенца и “обыденные” храмы: (Русские народные обычаи) // Извр. тр.: Статьи по духовной культуре. 1901–1913. – М.: Индрик, 1994. – С. 193–213.

Зеленин Д.К. Избр. тр.: Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки. – М.: Индрик, 1995. – 432 с.

Конаков Н.Д., Котов О.В. Этноареальные группы коми: Формирование и современное этнокультурное состояние. – М.: Наука, 1991. – 232 с.

Критский Ю.М. О некоторых особенностях поклонных крестов на Соловецком архипелаге // Семиотика культуры: Тез. докл. Всесоюз. школы-семинара по семиотике культуры. – Архангельск, 1988. – С. 102–103.

Курилов В.Н. Крест на перекрестке: свидетельство XVII столетия // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭт СО РАН, 2004. – Т. 10, ч. 2. – С. 69–72.

Лысенко О.В. Ритуальные функции придорожных крестов в восточнославянской этнокультурной традиции // Церковная археология. – СПб., 1998. – Вып. 4. – С. 181–185.

Любимова Г.В., Голубкова О.В. Почитание крестов и кульп гор в религиозно-обрядовой практике забайкальских старообрядцев // Этнография Алтая и сопредельных территорий. – Барнаул: Изд-во Барнаул. гос. пед. ун-та, 2000. – С. 113–117.

Овсянников О.В., Чукова Т.А. Крест в культуре Русского Севера XVIII – начала XX в.: (Функции и семантика) // Семиотика культуры: Тез. докл. Всесоюз. школы-семинара по семиотике культуры. – Архангельск, 1989. – С. 43–47.

Овсянников О.В., Ясински М.Э. О деревянных крестах Русского Севера // Резные иконостасы и деревянная скульптура Русского Севера. – Архангельск: Гос. музей “Художественная культура Русского Севера”, 1995. – С. 26–74.

- Орфинский В.П.** Некрокультовые сооружения Российского Севера в контексте христианско-языческого синкретизма // Народное зодчество: Межвуз. сб. – Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. гос. ун-та, 1998. – С. 49–83.
- Панченко А.А.** Исследования в области народного православия: Деревенские святыни Северо-Запада России. – СПб.: Алетейя, 1998. – 320 с.
- Пермиловская А.Б.** Деревянные кресты Русского Севера // Ставрографический сборник. – М.: Древлехранилище, 2001. – Кн. 1. – С. 236–261.
- Седакова О.А.** Поэтика обряда: Погребальная обрядность восточных и южных славян. – М.: Индрик, 2004. – 320 с.
- Смирнова О.Н., Чувыюров А.А.** К типологии деревянных крестов у коми-зырян // Этническое единство и специфика культур: Мат-лы Первых Санкт-Петербургских этногр. чтений. – СПб.: Рос. этногр. музей, 2002. – С. 79–83.
- Сперанский М.Н.** Придорожные кресты в Чехии и Моравии и византийское влияние на Западе // Археологические известия и заметки, издаваемые Имп. Моск. археол. об-вом. – 1895. – № 12. – С. 393–413.
- Столяров В.П.** Духовно-символическое пространство сакральных комплексов России как объект национального наследия (на примере Соловецкого архипелага) // Ставрографический сборник. – М.: Древлехранилище, 2001. – Кн. 1. – С. 113–129.
- Труслан Ю.А.** Финские элементы в Гдовском уезде Санкт-Петербургской губернии // Изв. РГО. – 1885. – Т. 21.
- Филин П.А., Фризин Н.Н.** Крест в промысловый культуре поморов Русского Севера // Ставрографический сборник. – М.: Древлехранилище, 2001. – Кн. 1. – С. 166–198.
- Фомин А.** Описание Белого моря с его берегами и островами... – СПб.: Имп. Акад. наук, 1797. – 196 с.
- Фрейман Н.Ф.** Придорожная часовня – пережиток древнего “погребения на столбах и путях” // СЭ. – 1936. – № 3. – С. 86–92.
- Фризин Н.Н.** Деревянные надгробья Русского Севера: некоторые варианты развития пространственной структуры // Ставрографический сборник. – М.: Древлехранилище, 2001. – Кн. 1. – С. 199–235.
- Христов П.** Южнославянские семейно-родовые праздники у обетных крестов // Живая старина. – 2002. – № 4. – С. 7–9.
- Шарапов В.Э.** Береза, сосна и ель в традиционном мировоззрении коми // Эволюция и взаимодействие культур народов северо-востока европейской части России. – Сыктывкар: Ин-т яз., лит. и ист. Коми НЦ УрО РАН, 1993. – С. 126–147.
- Шарапов В.Э.** Нательный крест в традиционном мировоззрении коми // Ставрографический сборник. – М.: Древлехранилище, 2001. – Кн. 1. – С. 297–306.
- Шейн П.В.** Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. – СПб.: [Тип. Имп. Акад. наук], 1902. – Т. 3. – 535 с.
- Шляпкин И.А.** Древние русские кресты. Изыскания I: Кресты новгородские до XV века, неподвижные и нецерковной службы // Журн. Мин-ва нар. просвещ. – 1907. – № 6, отд. 2. – С. 417–421.
- Шургин И.Н.** Деревянные намогильные памятники кладбища деревни Кучкаса на Верхней Пинеге // Каргополь: Историческое и культурное наследие. – Каргополь: Каргопол. ист.-архитект. и худож. музей-заповедник, 1996. – С. 173–192.
- Ясински М.Э., Овсянников О.В.** Пустозерск: Русский город в Арктике. – СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. – 400 с.
- Яшкина В.Б.** Средневековые каменные кресты в традиционной культуре XIX–XX вв. // Канун: Альманах. – СПб., 1998. – Вып. 4: Антропология религиозности. – С. 336–374.

Материал поступил в редакцию 25.07.2005 г.

УДК 391

Ю.Е. Березкин

*Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН
Университетская наб., 3, Санкт-Петербург, 199034Б, Россия
E-mail: berezkin@peterlink.ru*

ФОЛЬКЛОРНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ ЗАПАДНОЙ СИБИРЬЮ, СЕВЕРО-ВОСТОКОМ АЗИИ И ПРИАМУРЬЕМ–ПРИМОРЬЕМ

(к реконструкции раннего состояния сибирской мифологии)*

Фольклор и мифологию Западной Сибири, Северо-Восточной Азии и нижнего Амура – Приморья объединяет ряд общих сюжетов или, говоря точнее, сюжетообразующих мотивов. Ни один из них не был в достаточной мере прослежен, некоторые вообще не опознаны. Одна часть из них связывает Западную Сибирь с Северо-Востоком, другая – с нижним Амуром; есть сюжеты, известные во всех трех регионах. В Америке те же мотивы встречаются преимущественно в относительно близких к Азии областях (Аляска, Северо-Западное Побережье, Плата), причем в основном у индейцев, а не у эскимосов. У якутов и эвенков рассматриваемые мотивы либо отсутствуют, либо представлены своеобразными вариантами, а в тюрко-монгольском южно-сибирском фольклоре аналогов им совсем нет. Подобное ареальное распределение объяснимо, если предположить, что в прошлом почти вся Сибирь представляла собой единую фольклорную провинцию, распавшуюся после расселения тунгусов и якутов. Пришельцы часть мотивов восприняли от субстрата, часть принесли с собой. Еще раньше сходные наборы фольклорно-мифологических мотивов были характерны как для Сибири, так и для северо-запада Северной Америки.

* Работа выполнена на базе электронного Каталога фольклорно-мифологических мотивов при поддержке РФФИ (проект 04-06-80238) и программы Президиума РАН “Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям”, а также гранта INTAS 05-10000008-7922.

В формате статьи мы сможем рассмотреть лишь несколько избранных сюжетов (мотивов), свидетельствующих о древнем культурном единстве. Затем мы обратимся к некоторым более далеким параллелям с целью определить место “транссибирской” мифологии в евразийско-американском контексте.

Западная Сибирь – северо-восток Азии – Аляска

Слепой охотник. Жена нацеливает стрелу ослепшего мужа на зверя, лжет, будто он промахнулся, съедает мясо сама. Муж разоблачает обман и обычно прозревает. На Северо-Востоке мотив известен юкагирам [Жукова, Чернецов, 1994, с. 66–68; Николаева, Жукова, Демина, 1989, № 48, с. 29–33] и эвенам [Новикова, 1987, с. 76–77], а в Западной Сибири – хантам. Эвенская и две юкагирские версии детально похожи: состарившийся охотник слепнет, а узнав правду, оставляет жену на муравейнике. В одном из хантыйских вариантов [Пелих, 1972, с. 376–377] старик вынимает свои глаза и откладывает их в сторону перед тем, как скатиться с горы, старуха их находит и прячет. Старик думает, что глаза склевали сороки. Старуха велит старику стрелять в лося, лжет, будто он промахнулся, сама съедает мясо. Старик говорит старухе, что к ней приехал брат, строит рядом новую избушку и прокапывает в нее ход. Перебираясь по этому ходу из одного дома в другой, старик изобра-

жает то сам себя, то брата. Старуха кормит мнимого брата, рассказывает о своих проделках. “Брат” советует не мучить мужа. Старик застревает в вырытом им ходе; старуха проталкивает его кочергой, возвращающая ему глаза. По другой версии [Лукина, 1990, № 65, с. 189–191], жена замечает, как муж вытаскивает свои глаза, приговаривая: “Сэмлек рэм-рэм-рэм”. Далее, как в первом варианте. Из разговора жены мнимый брат узнает, что глаза спрятаны в сундуке. Он их находит и ругает жену.

Эта история принадлежит западно-сибирскому трикстерскому циклу, имеющему параллели на северо-востоке Азии и на северо-западе Америки (например, эпизод с отложенными глазами типичен для коряков, ительменов, эскимосов и атапасков). В Восточной Сибири с местным трикстером (Ивуль у эвенков) связаны совершенно иные истории. В Америке мотив слепого охотника известен эскимосам*, большинству северных атапасков** и индейцев Северо-Западного Побережья***, некоторым индейцам Большого Бассейна и севера Великих Равнин****. Во всех индейских и сибирских текстах охотника обманывает его жена, а он целится в лося или оленя. У эскимосов охотник целится в медведя, обманщица – в мать.

Западносибирско-палеоазиатско-американские параллели прослеживаются и в мотиве *мнимый покойник* (имитация смерти с целью есть в одиночестве, К1867).

Ненцы (три варианта) [Васильев, 1992, с. 5–6; Куприянова, 1960, № 13, с. 98–99; Лар, 2001, с. 273–277]. Еомпу (Ёмпу, Ёмбо) говорит матери, жене или бабке, что умирает, просит оставить для него туесок с икрой. Родственник Ёмпу видит, как мнимый покойник ест икру, и кричит, что идут медведи или черт. Ёмпу в страхе выскакивает из могилы.

* [Меновщиков, 1985, № 230, с. 445–449; Boas, 1888, p. 625–627; 1901, N 4, p. 168–171; Hall, 1975, N PM56, p. 245–247; Hawkes, 1916, p. 157–158; Holtved, 1951, N 37, p. 152–165; Keithahn, 1958, p. 76–79; Kroeber, 1899, N 6, p. 169; Lucier, 1958, N 11, p. 96–98; Mishler, 2003, p. 53; Norman, 1990, p. 81–86; Nungak, Arima, 1969, p. 51; Rasmussen, 1930a, p. 77–80; 1930b, p. 108–109; 1931, p. 232–236; 1932, p. 204–205; Spencer, 1959, p. 396–397].

** [Boas, 1916, p. 827–828; Farrand, 1900, N 21, p. 35–36; Krauss, 1982, p. 88–89; McClelland, 1975, p. 78; Petitot, 1886, N 32, p. 226–229; Smelcer, 1992, p. 113–114; 1993, p. 57–60; 1997, p. 37–39; Teit, 1921, N 34, p. 226–228; Vaudrin, 1969, p. 15–18].

*** [Boas, 1910, N 33, p. 447–452; 1916, p. 246–250, 825–827; De Laguna, 1972, p. 888–889; McIlwraith, 1948, p. 661–662].

**** [Dorsey, 1904, N 26, p. 32; Dorsey, Kroeber, 1903, N 125–127, p. 282–287; Lowie, 1924, N 49, p. 78; Mason, 1910, N 4, p. 301; Skinner, 1925, N 36, p. 496–497].

Энцы (три варианта) [Сорокина, Болина, 2005, № 1, с. 17–20; № 5, с. 30–31; № 6, с. 34–36]. Дёа живет в чуме вместе со старушкой и мальчиком (иногда это его младший брат). Притворяется, будто умер. В могилу ему кладут лососевую икру. Мальчик замечает, что Дёа ест икру. Кричит, что идут медведи, Дёа выскакивает из могилы.

Ханты [Лукина, 1990, № 31, с. 125–127]. Имититы говорят тетке, что умирает, просит положить его под лодку с сетью, топором и котлом. Та приезжает, видит мокрую сеть, костер, думает, что чужие воспользовались дарами. Дядя трикстера, способный превращаться в медведя, сообщает тетке, что племянник ее обманывает. Тетка делает вид, что на нее нападает медведь. Мнимый мертвец оживает.

Северные манси [Куприянова, 1960, с. 92]. Эквапыгрик живет с бабкой, обещает ей умереть в такой-то день. Бабка хоронит его у рыбьего запора. Однажды навещает, плачет. Внук неожиданно хватает ее платок, оказывается живым, возвращается с ней домой.

Кеты [Дульзон, 1966, № 12, с. 39]. Каскет притворяется умирающим, просит бабушку похоронить его. Приехав на могилу, та видит, что губы Каскета “красные как икра”. Оказывается, что он жив. Затем схожий трюк повторяет бабушка.

У *селькупов* сюжет не отмечен, но в записях их фольклора вообще много лакун. Началу сюжета может соответствовать история о ленивом сыне, который готов быть похороненным, только бы не работать [Там же, № 48, с. 31].

На северо-востоке Азии *мнимый покойник* был известен юкагирам, палеоазиатам, ительменам и азиатским эскимосам.

Юкагиры [Bogoras, 1918, N 4, p. 48–49]. Старик притворяется умирающим, велит жене оставить его в покинутом доме вместе с имуществом. Отвозя труп, старуха перепрыгивает через ручей и издает неприличный звук. Муж смеется; ее сын обращает на это внимание, но старуха не верит. Через несколько дней мальчик замечает дым над покинутым домом. Старуха заглядывает в дом и видит, как муж ест жирного лося. Она ощипывает куропатку, оставляя крылья, велит ей лететь и исцарапать мужа когтями. Тот в страхе бежит домой. Жена бьет его, затем они мирятся.

Чукчи [Bogoras, 1902, N 10, p. 648]. Ворон делает вид, что умер. Его жена Мити везет труп к предназначенному для погребения землянке, по дороге пускает ветер. Ворон смеется. Сын замечает это, говорит матери, та упрекает мальчика во лжи, оставляет на могиле мешки с мясом и жиром. Лиса замечает, как Ворон готовит еду (или просто видит дым), сообщает об этом Мити. Та отрезает себе одну грудь, пришивает вместо нее оципованную куропатку, сва-

ливается на Ворона через дымовое отверстие. Тот пугается, возвращается домой.

Коряки (карагинский диалект) [Жукова, 1988, № 38, с. 143–145]. Большой Ворон (Куткыняку) притворяется умирающим, просит Мити оставить на могиле толкушу, ступку, жир, дрова. Вылезает из могилы, ест толченое мясо с жиром, при приближении сыновей залезает опять в могилу. В облике ворона прилетает есть вяленое мясо. Сыновья узнают его; Куткыняку со стыдом возвращается.

Коряки (береговые) [Jochelson, 1908, N 65, p. 224]. Большой Ворон (Кикинняку) запрягает в нарты мышь, приезжает к оленным людям. Те, смеясь, нагружают на нарту много мяса. Неожиданно для них Кикинняку уезжает с поклажей. Дома притворяется умирающим, просит сыновей труп не сжигать, а оставить с провизией в пустой землянке. Сыновья обнаруживают, что, находясь в одиночестве, он ест. Его жена ощипывает куропатку, отрезает себе груди, привязывает их к куропатке, показывает ее мужу. Тот перепуган, возвращается к жене.

Алюторцы [Кибрик, Кодзасов, Муравьева, 2000, № 2, с. 21–24]. Куткинняку притворяется умирающим, велит Мити не закапывать его, а оставить в старой землянке со всем имуществом. Он ставит петли, готовит и ест зайцев и куропаток. Мити посыпает сыновей навестить отца. Тот пытается притвориться мертвым. Мити приходит бить мужа; они мирятся, возвращаются домой.

Ительмены (три варианта) [Меновщиков, 1974, № 167–169, с. 508–512]. Ворон говорит, что умрет, велит Мити положить на могилу еду. Съев все запасы, делает вид, что вернулся с того света. В одном варианте дочь ворона замечает, что покойник смеется, но ей не верят. Затем она видит в могиле огонь.

Азиатские эскимосы (Чаплино, четыре варианта) [Козлов, 1956, с. 190; Меновщиков, 1985, № 33, 34, с. 76–78; № 101, с. 244–245]. Охотник притворяется умирающим, просит похоронить его с сетью. Песец или куропатка рассказывает его жене, что мнимый покойник ловит рыбу и ест ее один. Жена забрасывает в землянку мужа деревянную ворону или ошипанную куропатку. Тот пугается, возвращается к жене.

В чаплинском тексте жену трикстера зовут Мити, что может указывать на заимствование сюжета у палеоазиатов, тем более что американским эскимосам он не известен. В Северной Америке сюжет отсутствует у эскимосов, но зафиксирован у атапасков и индейцев Северо-Западного Побережья, причем все американские версии сильнее отличаются от сибирских, чем последние друг от друга.

Коюкон [Jetté, 1908, p. 363–364]. Ворон притворяется умирающим, просит племянников оставить его и прислать двух его жен. Съедает спрятанные

племянниками запасы мяса, возвращается с женами. В другом тексте [De Laguna, 1995, N 37, p. 266] Ворон притворяется мертвым с целью узнать, что станут делать другие. По его желанию, недоверчивых или тех, кто хулит покойника, бьют.

Танайна [Rooth, 1971, p. 189, 208, 235]. Ворон влетает в кита, убивает его изнутри. Кита прибивает к берегу. Ворон говорит людям, что кита опасно есть, советует откочевать. Притворяется умирающим, велит оставить его одного и положить рядом снегоступы. Съедает кита в одиночку.

Тлинкиты [Boas, 1895, N XXV/1, S. 315]. Ворон и Кинцино приходят в селение, где много рыбьего жира. Ворон делает вид, что умирает, велит Кинцино сказать людям, что те должны покинуть селение, не взяв с собой жир. Кинцино кладет Ворона в гроб, крепко завязывает, сам съедает жир. Когда Ворон разбивает гроб, оказывается, что весь жир уже съеден.

Цимишиан [Boas, 1916, N 17, p. 72–73]. Ворон превращает кусок гнилой ивы в раба, велит тому сказать людям, что пришел великий вождь. Делает вид, будто умирает. Раб отсылает людей, кладет Ворона в гроб, крепко завязывает, сам ест лучшую треску. Потом освобождает Ворона; оба наедаются вволю.

Квакиутль (два варианта) [Boas 1910, N 12, p. 135–141; 1916, N 40, p. 707]. Норка притворяется умирающим, отвергает все способы погребения, просит оставить его гроб на островке. Девушки обнаруживают, что там он ест лососевую икру. Норка объясняет, что ожила, благодаря своей колдовской силе.

Береговые сэлиши (пограничная с квакиутль группой комокс) [Boas, 1895, N 4, S. 73–74]. Норка притворяется умирающим, просит оставить его гроб на островке. Его жена выходит замуж за Енота. Норка просит лососей подплыть поближе, убивает их, ложится спать. Волк уносит лососей, мажет их жиром губы Норки, чтобы тот думал, будто сам съел всю рыбу. Ф. Боас упоминает еще одну сэлишскую версию (чехалис?), героем которой также является Норка [Boas, 1916, p. 707].

Западная Сибирь – нижний Амур – Чукотка – Плато и юг Северо-Западного Побережья

Мотив *увезенного имущества* (персонаж принимает облик младенца, подобран стариком и старухой, увозит нагруженное в лодку имущество приемных родителей) также входит в западно-сибирский трикстерский цикл. У ненцев и энцев *мнимый покойник и увезенное имущество* объединены в рамках одного текста.

Ненцы (Ямал) [Лар, 2001, с. 273–277]. Убежав с места своего “погребения”, Ёмбу превращается в младенца, заползает старухе под подол; старики усыновляют его. Через три дня он вырастает, велит зарезать последнего бычка, погрузить мясо в лодку, уплывает с мясом.

Энцы [Сорокина, Болина, 2005, № 7, с. 37–38]. Дёа хватает за руку вышедшую из чума старуху, велит крикнуть мужу, что она родила ребенка, превращается в младенца. Когда подрастает, просит приемного отца забить оленя и перекочевать на другое место. Упливая, забрав мясо, кричит, что он не их сын, а Дёа. В другом варианте приплывает к еще одной старухе, где притворяется умершим, чтобы тайком есть икру [Там же, № 1, с. 17–20].

Нганасаны [Поротова, 1980, с. 21–24]. Дяйку пнул ногой пень, прилип к нему. Старик принес Дяйку домой, сказал жене, что в капкан попался песец. В доме старика Дяйку превратился в младенца и забрался к старухе под подол. Его усыновили и вырастили. Он просит зарезать единственного оленя, грузит мясо в лодку и, упливая, кричит, что он не их сын, а Дяйку.

Долганы (мотив, скорее всего, унаследован от самодийского субстрата) [Ефремов, 2000, № 17, с. 277–281]. Лаайку превратился в ребенка; Джигэ-баба решила, что родила. Лаайку вырос, попросил забить единственного оленя, перебрался жить на другой берег реки. Упливая вместе с мясом, крикнул, что он Лаайку.

Негидальцы [Хасанова, Певнов, 2003, № 68, с. 135–136]. Лиса делает себе глаза из темной брускини, превращается в маленького мальчика. Старик находит его, усыновляет, хотя старуха подозревает обман. Подросший мальчик просит погрузить добро в лодку, дать ему погрести и уплывает со всем имуществом.

Хотя в притихоокеанской зоне мотив *увезенного имущества* в полном виде зафиксирован только у негидальцев, один из уже приведенных корякских текстов, в котором Большой Ворон неожиданно скрывается с поклажей, а потом притворяется умирающим [Jochelson, 1908, N 65, р. 224], явно имеет к нему отношение. В Америке полных параллелей мотиву *увезенного имущества* также нет, однако начальный эпизод (трикстер превращается в младенца, подобран женщиной) и концовка (приняв свой истинный облик, он покушается на имущество подобравших его) присутствуют в десятках мифов индейцев Плато, юга Северо-Западного Побережья и прилегающих районов Калифорнии и Большого Бассейна. В основном это рассказы о том, как Койот выпустил в реки лососей, разобрав дамбу, за которой усыновившие мнимого младенца женщины прятали рыбу [Bierhorst, 1985, р. 142–143].

Трагический инцест. Брат и сестра вступают в брак. Когда рожденные в нем дети узнают о своем происхождении, они убивают родителей либо отец убивает детей, либо родители кончают самоубийством.

Хитрость сестры. Сестра с братом живут одни. Брат не соглашается на инцест. Сестра идет на хитрость, и брат, приняв ее за незнакомую девушку, женится.

Манси: сестра притворяется другой женщиной; брат убивает ее и сына [Лукина, 1990, № 124, с. 327–332]. **Манси:** брат делает себе куклу из дерева; сестра уничтожает ее, уверяет брата, что она – ожившая кукла, рожает от него сына [Там же, 1990, № 123, с. 326–327]. **Удэгейцы:** сестра ставит юрту поодаль, притворяется другой женщиной; брат убивает сестру, выбрасывает в тайгу сына и дочь [Арсеньев, 1995, с. 166–167]. **Ороши:** как у удэгейцев [Там же, с. 167–169], либо сын отправляет родителей в море в лодке без весел [Маргаритов, 1888, с. 28–29]. **Ульчи:** брат и сестра сперва не знают о своем родстве; сын, затем дочь и родители превращаются в злых духов [Смоляк, 1991, с. 78–79]. **Чукчи:** люди вымирают; остаются брат и сестра. Сестра ставит чум поодаль, притворяется другой женщиной; потомки сиблингов вновь населяют страну [Bogoras, 1928, N 11, р. 312–316]. **Метисы Марково:** сестра ставит юрту поодаль, притворяется другой женщиной; брат убивает сестру [Bogoras, 1918, N 7, р. 131–132]. **Лиллуэт, береговые сэлиши, квилеут:** девушка пачкает углем неизвестного любовника, опознает брата; они убегают вместе. Когда сын догадывается об инцесте родителей, те сжигают себя [Andrade, 1931, N 56, р. 165–171; Boas, 1895, N 4, S. 37–40; Teit, 1912, N 34, р. 340].

Западная Сибирь – нижний Амур

Тексты на сюжет *девушка и ведьма – подарки родственников* по композиции сложнее рассмотренных выше. Девушка и ведьма выходят замуж. Обе должны принести подарки от своих родственников. Девушка находит пропавшего в начале повествования брата (братьев) или сестру, щедро одарена им, а принесенное соперницей ничего не стоит.

Этот ряд эпизодов встроен в более сложную фабулу, описывающую приключения героини. Наиболее явные параллели с дальневосточными текстами содержат ненецкие и энечские варианты. У кетов [Алексеенко, 2001, № 133, с. 240–244; Дульзон, 1972, № 75, с. 83–86] есть только начало сюжета (ведьма убивает мать героини), а в нганасанских, селькупских и обско-угорских текстах соответствующие эпизоды вполне понятны лишь на фоне ненецко-энечких.

Ненцы [Головнев, 2004, с. 248–251]. Парнэ и Ненэй-не идут рвать траву на стельки; Парнэ топит Ненэй-не. Дочь погибшей замечает в принесенной Парнэ траве серьги матери, слышит, как Парнэ обещает своим детям накормить их завтра мясом детей Ненэй-не. Взяв младшего брата, девочка убегает, бросает позади себя предметы, превращающиеся в горы и другие препятствия. Старуха переправляет детей через реку, топит преследовательницу-Парнэ, велит детям идти, не оглядываясь. Брат оглядывается; ветки разрывают его пополам. Он велит сестре оставить его на песчаной сопке. Нога девочки проваливается; из ямы выходит девка-Парнэ, навязывается в спутницы. Встретив двоих мужчин, Парнэ садится к хозяину белых оленей, а дочь Ненэй-не – к хозяину черных. По прошествии времени обе девушки должны ехать домой за подарками для мужей. Парнэ едет к дыре в земле, возвращается со стадом мышей. Дочь Ненэй-не находит ожившего брата; тот дает ей новые одежды и оленей. Парнэ бросают в огонь; из пепла появляются комары.

Ненцы [Лабанаускас, 2001, с. 155–163]. Уходя на охоту, семеро братьев не велят сестре выходить из дома. Сестра выходит, видит расходящиеся следы братьев, ставших животными разных видов, младший – медведем. Сестра приходит к берлоге. Жена брата велит ей идти по тропе среди тальника. Девушка идет по возвышенности, садится на пень; из него появляется ведьма, забирает ее одежду. Девушка одевается в платье, данное женой брата-медведя. Ведьма выходит замуж за владельца белых оленей, девушка – за его брата, хозяина черных оленей. Свекр отсылает невесток к их родственникам. Брат-медведь дает нарты, запряженные мамонтами; на них много добра. Ведьма приезжает на нарте, запряженной мышами; старики их давят. Далее – о подмене ведьмой сына женщины, наказании ведьмы.

Энцы [Сорокина, Болина, 2005, № 13, с. 82–88]. Ведьма и женщина живут в одном чуме. У женщины две девочки. Ведьма зовет рвать траву, предлагает искать у женщины насекомых, вонзает ей в ухо шило, приносит тело домой, варит и ест. Старшая дочь замечает останки матери. Девочки убегают; старшая бросает предметы, превращающиеся в препятствия на пути преследовательницы. Старик переправляет девочек через реку, топит ведьму, предупреждает девочек ничего не брать на острове. Младшая нарушает запрет, велит оставить ее в медвежьей берлоге. Старшая останавливается у пня; из него появляется ведьма. Они идут вместе. Ведьма садится на нарту мужчины, имеющего белых оленей, девочка – имеющую черных. Отец обоих мужчин просит невесток съездить к их родственникам. Энецкая женщина едет к берлоге; оттуда выходит сестра с двумя мед-

вежатами. Медведь посыпает две нарты подарков. Ведьма приводит мышей – это ее олени; старик убивает их ударом ноги. Энецкая женщина рожает мальчика; ведьма подменяет его ведьменком, но обман раскрывается. Ведьму сжигают, пепел превращается в комаров.

Нганасаны [Поротова, 1980, с. 13–19]. У людоедки и женщины по две дочки. Людоедка ведет женщину за тальником, просит наклониться над водой, отрезает ей голову. Дочери убитой слышат, как людоедка обещает своим дочерям, что сама она будет есть мозг взрослой женщины, а они – ее детей. Девочки убегают, бросают украшения матери, создавая позади себя гору и озеро. Старик перевозит их через реку, топит людоедку. Утром сестры обнаруживают, что из дома старика нет выхода. Младшая выходит иглой через щель; старшая застrevает. Младшая, пытаясь вытянуть сестру, отрывает ей голову. Голова остается в медвежьей берлоге. Младшая сестра идет дальше. Выскочившая из пня людоедка навязывается в спутницы. Конец рассказа оборван и, видимо, был сходен с энецким.

Северные селькупы [Тучкова, 2004, с. 208–209]. Нэтэнка (“девушка”) и Томнэнка (“лягушка”) живут на одном стойбище. Томнэнка зовет Нэтенку собирать траву для стелек, убивает ее, проколов ей ухо. Дочь Нэтенки видит, как Томнэнка разделяет тело матери, слышит, как та обещает своим детям полакомиться и детьми Нэтенки. Девочка убегает, унося младшего брата. Тот умирает, уковышился шилом или сверлом; девочка хоронит его. Из-под пня выскакивает девушка-Томнэнка, идет следом на лыжах из деревянных мисок. Обе девушки выходят замуж, Нэтенка рожает мальчика; Томнэнка подменяет его щенком. Муж бросает Нэтенку. Щенок помогает ей добывать зверя, играет с выходящим из воды мальчиком, который оказывается сыном Нэтенки. Она прощает мужа. Томнэнку казнят. Мотив “подарки родственников” отсутствует в этом тексте, но предваряющий его мотив мнимо умершего в пути младшего брата героини имеется.

Северные манси [Куприянова, 1960, с. 109–112; Лукина, 1990, № 128, с. 334–336]. Мось-нэ и Порнэ живут вместе; у обеих по двое детей – девочка и мальчик. Пор-нэ зовет Мось-нэ рвать траву для стелек, предлагает покататься с горы, убивает ее, проехав по спине железными лыжами. Дети Мось-нэ находят кишки матери, бегут к ее сестре, бросая гребень, оселок, спички, на месте которых возникают чаща, гора, огонь. Когда садятся на кровать, та разваливается. Появляются три Пор-нэ, одна из которых навязывается в спутницы. Мальчик уколол палец шилом, умер. Пор-нэ села в нарту хозяина белых оленей, а молодая Мось-нэ – хозяина черных. В городе Мось-нэ находит брата,

получает от него оленей. Далее – о неудачной попытке Пор-нэ спрятать солнце.

Ханты [Лукина, 1990, № 28, с. 101–104]. Лиса и Зайчиха живут вместе, у обеих дети. Лиса предлагает кататься с горы на санках, наезжает на Зайчиху, ломая ей хребет. Сын и дочь погибшей видят, как Лиса кормит мясом их матери своих детей. Дети Зайчихи бегут, бросая гребень, оселок, кремень, которые превращаются в чащу, гору, огонь. Лиса отстает. Пока сестра ест морошку, брат проваливается в землю. Далее сестра именуется “женщина Мось”. Она ударяет по пню. Оттуда выскакивает “женщина Пор”, предлагает купаться, надевает богатую меховую одежду Мось, дает ей свою корьевую. В городе Мось выходит за сына “Городского Деревенского старика”, а Пор – за сына Тонтон-старика (этот персонаж – бедняк, хитрец). Мось приезжает на место, где пропал брат. Там стоит дом. Входит медведь, снимает шкуру – это и есть брат. Он посыпает сестре стадо оленей.

Орочи [Маргаритов, 1888, с. 29]. Семеро братьев ранят белку. Опасаясь мести белок, они прячут сестру под очагом, пускают в небо стрелы, которые вонзаются одна за другой в хвост и образуют цепочку. По ней братья поднимаются на небо. Сестра идет их искать, приходит к лягушке. Та берет у девушки одежду, надевает на себя. Девушка прячется внутри палки. Приходят двое братьев. Старший садится рядом с лягушкой, младший – у палки, стругает ее ножом; на ней выступает кровь. Старший уходит с лягушкой; младший возвращается за ножом, находит девушку. В доме братьев лягушка показывает свекру своих родственников-лягушек; тот прогоняет невестку. Девушка зовет своих братьев. Они спускаются с неба, дарят ей богатую одежду.

Удэгейцы [Лебедева и др., 1998, № 31, 107, с. 227–235, 474–476]. Оба удэгейских варианта (один из них в записи В.К. Арсеньева) принципиально не отличаются от орочского. В них семь небесных братьев девушки приносят ее свекру ценные подарки, а подарки лягушек ничтожны.

Негидальцы [Цинциус 1982, № 25, с. 135–139]. Отец прогоняет дочь. Та попадает к лягушке, которая забирает у девушки украшения и одежду. Девушка превращается в палку. Приходят двое братьев. Один берет в жены лягушку. Другой стругает палку, видит кровь, а вернувшись за забытым ножом, застает девушку. Отец братьев просит невесток принести ему угощение, приданое, привести родственников. Лягушка варит лягушачью икру, приносит листья, лягушек. Девушка идет к лиственнице; с вершины к ней падают мешки с едой и одеждой. Двое мужчин, которые оказываются родственниками девушки, спускаются с неба, возвращают девушке отобранные у нее лягушкой одежду и украшения. Лягушка и ее муж удавились.

Контекст, в который встроены интересующие нас мотивы, в Западной Сибири и на нижнем Амуре, хотя и не вполне идентичен, совпадает по следующими эпизодами: 1) девушка уходит из дома; 2) теряет брата (братьев) или сестру, покидающего мир людей; 3) встречает ведьму (лягушку), которая притесняет ее; 4) девушка и ведьма выходят замуж за двух братьев или соседей; 5) пропавший (мнимо погибший) брат (братья) или сестра девушки помогает ей восторжествовать над ведьмой. Такой последовательности эпизодов в текстах за пределами нижнего Амура и Западной Сибири больше нет почти нигде. Изредка она встречается в якутских и эвенкийских историях. Последние включают некоторые мотивы, специфичные либо только для амурского, либо только для западно-сибирского фольклора, но амурские и западно-сибирские мифы отличаются от якутских и эвенкийских. Например, только в первых говорится о наличии у девушки семи братьев. Это значит, что эвенки и якуты не были промежуточным звеном в передаче сюжета между Западной Сибирью и нижним Амуром, а скорее сами заимствовали его от неизвестного нам субстрата.

Якуты [Виташевский, 1914, № II. 1, с. 459–458]. Две девушки-сироты нашли камень, который превратился в ребенка и оказался людоедом. Сестры бегут. Старуха протягивает через реку ногу; сестры переходят по ней на другой берег. Преследователя старуха топит. Далее сестры приходят к демонице, которая запирает их в чулане. Младшая сестра выскакивает через щель наружу. У старшей отрывается голова. Младшая несет ее с собой. Голова соглашается остаться лишь на дереве, разбитом молнией. Младшая сестра приходит к лягушке. Та прячет ее. Муж лягушки находит девушку, предлагает якутке и лягушке сходить к их родным за подарками. Лягушка приносит червей и пиявок. Якутка идет к тому месту, где оставила голову сестры. Оказывается, сестра вышла замуж за Грому. Тот одаряет якутку, давит лягушкиных пиявок. Муж велит женам лечь спать на крыше. Лягушка замерзает насмерть. Второй текст на тот же сюжет неполон [Там же, № I. 5, с. 456–458].

Эвенки (сымские). Росомаха съела мать двух девочек-Зайчат. Они прибежали к старухе, затем идут не по указанной ей, а по ложной дороге, попадают в дом без отверстий. Старшая проскальзывает в щель, младшая застrevает. Ее голова отрывается и просит сестру не оставлять ее на колоде, а оставить на пораженном молнией дереве, где и выходит замуж за Грому. Младшая сестра пришла к лягушке. Конец рассказа скомкан. Сказано лишь, что приведенные лягушкой олени – это насекомые и что в результате лягушка стала жить в воде [Василевич, 1936, № 22, с. 23–24].

“Транссибирская” мифология в евразийско-американском контексте

Рассмотренные мотивы отличны от тех, которые представлены в Южной Сибири, Центральной и Западной Азии и в Северной Америке к востоку от Скалистых Гор [Березкин, 2003; 2005в, с. 148–151]. Различия проявляются прежде всего в содержании текстов. Если в мотивах южно-сибирской группы в центре повествования находится обычно молодой герой, мужчина, то протагонист транссибирских – ребенок, молодая женщина либо трикстер. Что же касается ареального распределения, то те мифологические сюжеты и мотивы, которые до миграций тунгусов и якутов имели транссибирское распространение, в Америке, как уже отмечалось, концентрируются на северо-западе, на относительно близких к Азии территориях. Это можно было бы считать доводом в пользу их позднего распространения, и если говорить о частных подробностях, то так, вероятно, и есть. Однако с привлечением более широкого круга евразийских и американских данных ситуация в целом выглядит иначе – те же мотивы, хотя и реже либо в иных вариантах, представлены во всем циркумтихоокеанском регионе, но отсутствуют в континентальной Евразии. Так, *слепой охотник* известен в Бразилии у пареси Мато-Гросо [Pereira, 1987, N 163, р. 662–663], а рассмотренный сибирский сюжет *девушка и ведьма* содержит общие элементы с популярнейшим трансамериканским, точнее, циркумтихоокеанским (вплоть до Австралии) сюжетом *девушки в поисках жениха* [Березкин, 1999]. Мотив *цепочки из стрел*, по которой на небо забираются братья героини в удэгейском и орочском мифах, – это типичнейший циркумтихоокеанский мотив, известный в Северной и Южной Америке, Австралии, Меланезии, Малайзии, Индонезии, но отсутствующий в Африке, Европе и на большей части Евразии.

Особенно показателен сюжет, который в связи с индейскими материалами обычно именуется *Олениха и Медведица*. Две женщины живут вместе и имеют детей. Одна нередко ассоциируется с медведицей или иным хищником, другая – с травоядным животным или с более слабым хищником. Первая выходит с подругой из дома, убивает ее, говорит со своими детьми о том, как умертвить и когда съесть детей убитой. Осиrotевшие дети либо мстят, убивая детей убийцы матери, либо только спасаются бегством. В Западной Сибири именно этот рассказ открывает серию приключений той самой девушки, которая бежит от убийцы матери и к которой затем навязывается в спутницы ведьма. Как уже отмечалось, данный ряд эпизодов зафиксирован у всех западно-сибирских народов, в т.ч. у кетов.

В большинстве сибирских, и американских версий людоедка убивает свою жертву, когда они обе идут собирать траву или дикорастущие клубни, причем чаще всего людоедка предлагает жертве искать у нее в волосах насекомых икусает ее за шею или вонзает в ухо острый предмет, реже топит ее. Хотя у западно-сибирских народов людоедка медведицей прямо не называется, ее имя Пор ассоциируется с обозначением обско-угорской фратрии Пор, предком которой считался медведь, в то время как предком фратрии Мос – заяц или гусыня [Кулемзин, 2000, с. 200, 203–204].

В Северной Америке мифы с сюжетом *Олениха и Медведица* встречаются в пределах обширной, но компактной области на западе континента от сэлишской до восточных пюэбл*, а также у меномини ареала Великих Озер [Bloomfield, 1928, N 110, р. 493–501]. Во многих текстах спасающиеся бегством дети убитой женщины переходят реку по протянутой ноге или шее персонажа, ожидающего их на берегу. Этот последний мотив в Западной Сибири отсутствует, но встречается у якутов (включая северных), киренских эвенков, орочей, нивхов, юкагиров и кереков**. Во всех случаях по ноге-мосту через водоем переходит спасающаяся от людоеда девушка или девочка, но не герой-мужчина. Мотив нога (*шeя*)-мост за пределами Сибири и Северной Америки не встречается.

Аналоги сибирских мифов прослежены и в Южной Америке. Это версии из области Чако, в которых убийцей и жертвой обычно являются персонажи

* [Adamson, 1934, р. 43–46, 211–213; Barker, 1963, N 1, р. 7–13; Barrett, 1933, N 87–90, р. 327–354; Benedict, 1926, N 16, р. 15–16; Boas, 1895, N 9, S. 81; 1901, N 15, р. 118–128; 1928, р. 274; Dixon, 1902, N 9, р. 79–83; Dubois, Demetracopoulou, 1931, N 36, р. 352–354; Espinosa, 1936, N 30, р. 97; Gatschet, 1890, р. 118–123; Gifford, 1917, N 2, р. 286–292; N 13, 333–334; 1923, N 23, р. 357–359; Goddard, 1906, N 2, р. 135–136; 1909, N 17, р. 221–222; Haeberlin, 1924, N 31, р. 422–425; Hilbert, 1985, р. 130–136; Jacobs, 1940, N 13, р. 152–155; 1945, р. 115–119, 360–363; 1958, N 15, р. 141–156; Kelly 1938, N 202, р. 431–432; Kroeber, 1907, N 10, р. 203–204; 1919, N 11, р. 349, 351; Lowie, 1909, N 9, р. 253–254; Merriam, 1993, р. 103–109, 111–112; Oswalt, 1964, N 5, р. 57–65; Parsons, 1926, N 60, р. 155–157; 1931, р. 137; 1932, N 16, р. 403–404; 1940, N 52, р. 109–111; Sapir, 1909, N 13, р. 117–123; 1910, N 24, р. 207–208; Smith, 1993, р. 37–38; Steward, 1936, N 28, р. 388; Teit, 1898, N XXII, р. 69–71; 1909, N 21, 62, р. 681–683, 753; 1912, N 19, р. 322–323; Uldall, Shipley, 1966, N 2, р. 21–25.]

** [Аворин, Лебедева, 1966, № 56, с. 204–206; Березинецкий, 2003, № 35, с. 133–134; Виташевский, 1914, с. 459–465; Гуревич, 1977, с. 174; Меновщикова, 1974, № 113, с. 352–356; Пинегина, Коненкин, 1952, с. 58–61; Сивцев, Ефремов, 1990, с. 64–71; Эргис, 1964, № 66, с. 245–246; Bogoras, 1918, N 9, р. 61–64].

мужского пола – Ягуар, Гривистый Волк и Олень [Calífano, 1974, p. 49; Wilbert, Simoneau, 1982, N 2–4, p. 38–44; 1987, N 101–103, p. 403–418]. Но еще показательнее наличие параллелей в Южной и Юго-Восточной Азии.

Тибетцы Сиккима [Крапивина, 2001, с. 135–143]. Зайчиха и Медведица живут рядом; у обеих по сыну. Обе идут копать дикорастущие клубни. Медведица убивает Зайчиху. Зайчонок подстраивает так, что Медвежонок оказывается раздавленным жерновом. Он убегает; преследовательницу убивает Тигр.

Лода (Хальмакхера) [Baarda, 1904, N 12, p. 438–441]. Две жены одного мужа пошли ловить рыбу. Одна столкнула другую в воду, расчленила, принесла мясо домой. Сыну и дочке убитой она сказала, что варит рыбку. Дети слышат из котла голос матери. Когда людоедка ушла, они зажарили ее ребенка, бросились бежать. Птица помогла им перейти реку, утопила преследовательницу. Сходные тексты, оригиналы которых мне пока недоступны, зафиксированы в других районах Восточной Индонезии [Dixon, 1916, p. 338].

Ассоциация антагониста и жертвы с медведицей и зайчихой позволяет сопоставить сиккимский и обско-угорские (Пор-нэ и Мось-нэ; ср. также текст сымских эвенков) тексты, тогда как мотив убийства детьми жертвы (а не просто их бегство) ребенка антагониста объединяет варианты из Южной и Юго-Восточной Азии с североамериканскими. Более того, почти во всех версиях дети жертвы убивают детей убийцы одинаковыми способами – жарят, коптят, душат дымом. Наличие, безусловно, сходных и специфических по набору мотивов в текстах на территории Азии и Америки при тысячекилометровых расстояниях между отдельными их ареалами свидетельствует о том, что перед нами, скорее всего, реликты некоего единого в прошлом культурного пространства.

К настоящему времени удалось отыскать уже около сотни сюжетообразующих мотивов, распространенных в Индо-Тихоокеанском регионе, из которых два десятка встречаются также на Азиатском Северо-Востоке, на нижнем Амуре и в Западной (но не в Восточной и не в Южной) Сибири [Березкин 2005а; 2005б, с. 148–150]. Некоторые из них зафиксированы и у саамов. Эти мотивы противопоставлены другой группе – континентально-евразийской. Предположение о том, что в прошлом сибирская мифология по составу мотивов была индо-тихоокеанской, позволяет понять, почему все индейские фольклорные традиции (а возможно, и языки, хотя это вопрос спорный) содержат столь много общих черт. Хотя ранние мигранты двигались в Америку, скорее всего, двумя разными маршрутами (вдоль побережья и через Центральную Аляску), области

в Азии, где берут начало эти маршруты (близ Тихого океана и где-то в Восточной Сибири), в конце плеистоценена были заселены людьми с достаточно близкой культурой. На этом фоне еще контрастнее выглядит группа фольклорно-мифологических мотивов, характерная только для центральных районов Северной Америки и имеющая параллели в глубине континентальной Евразии.

Список литературы

- Аврорин, В.А., Лебедева Е.П.** Орочки сказки и мифы. – Новосибирск: Наука, 1966. – 235 с.
- Алексеенко Е.А.** Мифы, предания, сказки кетов. – М.: Вост. лит. РАН, 2001. – 344 с.
- Арсеньев В.К.** Из научного наследия В.К. Арсеньева // Краевед. бюл. (Южно-Сахалинск). – 1995. – Т. 3. – С. 163–182.
- Березкин Ю.Е.** Проблемы изучения индейской мифологии // Население Нового Света: проблемы формирования и социокультурного развития. – М.: Ин-т этнол. и антропол. РАН, 1999. – С. 67–118.
- Березкин Ю.Е.** Южносибирско-североамериканские связи с областью мифологии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 2 (14). – С. 94–105.
- Березкин Ю.Е.** Мифология как источник для изучения демографических и культурных процессов в Евразии (индо-тихоокеанский и континентальный комплексы мотивов) // VI Конгресс этнографов и антропологов России: Тез. докл. – СПб.: Ассоциация этнографов и антропологов России; МАЭ РАН, 2005а. – С. 9–19.
- Березкин Ю.Е.** Некоторые тенденции в глобальном распространении комплексов фольклорно-мифологических мотивов // Ad hominem. Памяти Николая Гиренко. – СПб.: МАЭ РАН, 2005б. – С. 131–156.
- Березкин Ю.Е.** Оценка древности евразийско-американских связей в области мифологии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2005в. – № 1 (21). – С. 146–151.
- Березницкий С.В.** Этнические компоненты верований и ритуалов коренных народов амуро- сахалинского региона. – Владивосток: Дальнаука, 2003. – 486 с.
- Василевич Г.М.** Материалы по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору. – Л.: Изд-во Ин-та народов Севера ЦИК СССР, 1936. – 290 с.
- Васильев В.И.** Образ культурного героя в самодийской фольклорной традиции // Уральская мифология: Тез. докл. Междунар. симп. – Сыктывкар: Коми науч. центр УрО РАН, 1992. – С. 5–7.
- Виташевский Н.** К материалам о якутских сказках // Живая старина. – 1912–1914. – Вып. 2/4. – С. 449–466.
- Головнев А.В.** Кочевники тундры: ненцы и их фольклор. – Екатеринбург: УрО РАН, 2004. – 344 с.
- Гурвич И.С.** Культура северных якутов-оленеводов. – М.: Наука, 1977. – 247 с.
- Дульzon А.П.** Кетские сказки. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1966. – 171 с.
- Дульзон А.П.** Сказки народов сибирского севера. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1972. – Вып. 1. – 203 с.

- Ефремов П.Е.** Фольклор долган. – Новосибирск: Наука, 2000. – 504 с.
- Жукова А.Н.** Материалы и исследования по корякскому языку. – Л.: Наука, 1988. – 193 с.
- Жукова Л.Н., Чернецов О.** Хозяин земли: легенды и рассказы лесных юкагиров. – Якутск: Изд-во Якут. гос. ун-та, 1994. – 98 с.
- Кибрик А.Е., Кодзасов С.В., Муравьева И.А.** Язык и фольклор айнорцев. – М.: Ин-т мировой лит. РАН; Наследие, 2000. – 468 с.
- Козлов Н.В.** Сказки народов Северо-Востока. – Магадан: Кн. изд-во, 1956. – 327 с.
- Крапивина Л.Н.** Сокровища Дракона. Тибетские старинные сказки / Пер. Л.Н. Крапивиной. – М: Лосар, 2001. – 176 с.
- Кулемзин В.М.** Мифология хантов: Энциклопедия уральских мифологий. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2000. – Т. 3. – 304 с.
- Куприянова З.Н.** Ненецкий фольклор. – Л.: Гос. учеб. пед. изд-во Мин-ва просвещ. РСФСР, 1960. – 193 с.
- Лабанаускас К.И.** “Ямидхи лаханку”. Сказы седой старины: Ненецкая фольклорная хрестоматия. – М.: Рус. лит., 2001. – 319 с.
- Лар Л.А.** Мифы и предания ненцев Ямала. – Тюмень: Изд-во Ин-та проблем освоения Севера СО РАН, 2001. – 292 с.
- Лебедева Е.П., Хасанова М.М., Кялундзуга В.Т., Симонов М.Д.** Фольклор удэгейцев. – Новосибирск: Наука, 1998. – 560 с.
- Лукшина Н.В.** Мифы, предания, сказки хантов и манси. – М.: Наука, 1990. – 568 с.
- Маргаритов В.П.** Об орочах Императорской Гавани. – СПб.: Издание Об-ва изуч. Амур. края в г. Владивостоке, 1888. – 56 с.
- Меновщикова Г.А.** Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки. – М.: Наука, 1974. – 646 с.
- Меновщикова Г.А.** Сказки и мифы эскимосов Сибири, Аляски, Канады и Гренландии. – М.: Наука, 1985. – 669 с.
- Николаева И.А., Жукова Л.Н., Демина Л.Н.** Фольклор юкагиров верхней Колымы: Хрестоматия. – Якутск: Якут. гос. ун-т, 1989. – Ч. 2. – 91 с.
- Новикова К.А.** Эвенкиские сказки, предания и легенды. – Магадан: Кн. изд-во, 1987. – 158 с.
- Пелих Г.И.** Происхождение селькупов. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1972. – 424 с.
- Пинегина М., Коненкин Г.** Эвенкийские сказки. – Чита: Читгиз, 1952. – 112 с.
- Поротова Т.И.** Сказки народов сибирского севера. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1980. – Вып. 3. – 190 с.
- Сивцев Д.К., Ефремов П.Е.** Якутские сказки. – Якутск: Кн. изд-во, 1990. – 336 с.
- Смоляк А.В.** Шаман: личность, функции, мировоззрение (народы Нижнего Амура). – М.: Наука, 1991. – 274 с.
- Сорокина И.П., Болина Д.С.** Энечкие тексты. – СПб.: Наука, 2005. – 350 с.
- Тучкова Н.А.** Мифология селькупов. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2004. – 382 с.
- Хасанова М.М., Певнов А.М.** Мифы и сказки негидальцев. – Kyoto: Nakanishi Printing Co., 2003. – 207 р.
- Цинциус В.И.** Негидальский язык. – Л.: Наука, 1982. – 311 с.
- Эргис Г.У.** Якутские сказки. – Якутск: Кн. изд-во, 1964. – Т. 1. – 308 с.
- Adamson T.** Folk Tales of the Coast Salish. – N.Y.: The American Folk-Lore Society, 1934. – 430 p.
- Andrade M.J.** Quileute Texts. – N.Y.: Columbia University, 1931. – 219 p.
- Baarda M.J. van.** Lòdasche texten en varhalen // Bijdrachten tot de Taal-, Land-en Volkenkunde van Nederlandisch-Indië. – 1904. – Deel 56, N 3/4. – P. 392–493.
- Barker M.A.R.** Klamath Texts. – Berkeley; Los Angeles: University of California, 1963. – 197 p.
- Barrett S.A.** Pomo Myths. – Milwaukee: Public Museum of the City of Milwaukee, 1933. – 608 p.
- Benedict R.** Serrano tales // J. of American Folklore. – 1926. – Vol. 39, N 151. – P. 1–17.
- Bierhorst J.** The Mythology of North America. – N.Y.: Morrow, 1985. – 259 p.
- Bloomfield L.** Menomini Texts. – N.Y.: American Ethnological Society, 1928. – 607 p.
- Bloomfield L.** Sacred Stories of the Sweet Grass Cree. – Ottawa: National Museums of Canada, 1930. – 346 p.
- Boas F.** The Central Eskimo // 6th Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian. – Wash., 1888. – P. 399–669.
- Boas F.** Indianische Sagen von der Nordpazifischen Küste Amerikas. – Berlin: Asher, 1895. – 363 S.
- Boas F.** The Eskimo of Baffin Land and Hudson Bay. – N.Y.: American Museum of Natural History, 1901. – 570 p.
- Boas F.** Kwakiutl Tales. – N.Y.: Columbia University Press; Leyden: E. J. Brill, 1910. – 495 p.
- Boas F.** Tsimshian mythology // 31th Annual Report of the Bureau of American Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution. – Wash.: Smithsonian Institution, 1916. – P. 29–1037.
- Boas F.** Kutenai Tales. – Wash.: Smithsonian Institution, 1918. – 387 p.
- Boas F.** Keresan Texts. – N.Y.: American Ethnological Society, 1928. – 300 p.
- Bogoras W.** The folklore of Northeastern Asia, compared with that of Northwestern America // American Anthropologist. – 1902. – Vol. 4, N 4. – P. 577–683.
- Bogoras W.** Tales of Yukaghirs, Lamuts, and Russianized Natives of Eastern Siberia. – N.Y.: American Museum of Natural History, 1918. – 148 p.
- Bogoras W.** Chuckchee tales // J. of American Folklore. – 1928. – Vol. 41, N 161. – P. 297–452.
- Califano M.** El concepto de enfermedad y muerte entre los mataco costaneros // Scripta ethnologica. – 1974. – Vol. 2, N 2. – P. 33–73.
- De Laguna F.** Under Mount Saint Elias. The History and Culture of the Yakutat Tlingit. – Wash.: Smithsonian Institution, 1972. – P. 2. – P. 548–913.
- De Laguna F.** Tales from the Dena. Indian Stories from the Tanana, Koyukuk, Yukon Rivers. – Seattle, L.: University of Wash. Press, 1995. – 352 p.
- Dixon R.B.** Maidu myths // Bull. of the American Museum of Natural History. – 1902. – Vol. 17, N 2. – P. 33–118.
- Dixon R.B.** Oceanic Mythology. – Boston: Marshall Jones Co, 1916. – 364 p.
- Dorsey G.A.** Traditions of the Osage. – Chicago: Field Columbian Museum, 1904. – 60 p.

- Dorsey G.A., Kroeber A.L.** Traditions of the Arapaho. – Chicago: Field Columbian Museum, 1903. – 475 p.
- Dubois C., Demetracopoulou D.** Wintu myths // University of California Publications in American Archaeology and Ethnology. – 1931. – Vol. 28, N 5. – P. 279–403.
- Espinosa A.M.** Pueblo Indian folk tales // J. of American Folklore. – 1936. – Vol. 49, N 191/192. – P. 69–133.
- Farrand L.** Traditions of the Chilcotin Indians. – N.Y.: American Museum of Natural History, 1900. – 54 p.
- Gatschet A.S.** The Klamath Indians of Southwestern Oregon. – Wash.: Government Printing Office, 1890. – 711 p.
- Gifford E.W.** Miwok myths // University of California Publications in American Archaeology and Ethnology. – 1917. – Vol. 12, N 8. – P. 283–338.
- Gifford E.W.** Western Mono myths // J. of American Folklore. – 1923. – Vol. 36, N 142. – P. 301–367.
- Goddard P.E.** Lassik tales // J. of American Folklore. – 1906. – Vol. 19, N 73. – P. 133–140.
- Goddard P.E.** Kato texts // University of California Publications in American Archaeology and Ethnology. – 1909. – Vol. 5, N 3. – P. 183–238.
- Haeblerlin H.** Mythology of Puget Sound // J. of American Folklore. – 1924. – Vol. 37, N 145/146. – P. 371–438.
- Hall E.S.** The Eskimo Storyteller: Foklore from Noatak, Alaska. – Knoxville: University of Tennessee Press, 1975. – 403 p.
- Hawkes E.W.** The Labrador Eskimo. – Ottawa: Government Printing Office, 1916. – 235 p.
- Hilbert V.** Haboo. Native American Stories from Puget Sound. – Seattle; L.: University of Wash. Press, 1985. – 204 p.
- Holtved E.** The Polar Eskimos. Language and Folklore. – København: C. A. Reitzels Forlag, 1951. – Bd. 1: Texts. – 366 p.
- Jacobs M.** Coos myth texts // University of Washington Publications in Anthropology. – 1940. – Vol. 8, N 2. – P. 127–260.
- Jacobs M.** Santiam Kalapuya myth texts // University of Washington Publications in Anthropology. – 1945. – Vol. 11. – P. 83–369.
- Jacobs M.** Clackamas Chinook Texts. – Bloomington: University of Chicago Press, 1958. – P. 1. – 293 p.
- Jetté J.** On Ten'a folk-lore // J. of the Royal Anthropological Institute of Great Britain. – 1908. – Vol. 38. – P. 298–367.
- Jochelson W.** The Koryak. – Leiden: E.J. Brill; N.Y.: G.E. Stechert, 1908. – 842 p.
- Keithahn E.L.** Alaskan Igloo Tales. – Seattle: Robert D. Seal Publication, 1958. – 136 p.
- Kelly I.T.** Northern Paiute tales // J. of American Folklore. – 1938. – Vol. 51, N 202. – P. 363–438.
- Krauss M.E.** In Honor of Eyak. The Art of Anna Nelson Harry. – Fairbanks: University of Alaska, Alaska Native Language Center, 1982. – 157 p.
- Kroeber A.L.** Tales of the Smith Sound Eskimo // J. of American Folklore. – 1899. – Vol. 12, N 46. – P. 166–182.
- Kroeber A.L.** Indian myths of South Central California // University of California Publications in American Archaeology and Ethnology. – 1907. – Vol. 4, N 4. – P. 167–250.
- Kroeber A.L.** Sinkyone tales // J. of American Folklore. – 1919. – Vol. 32, N 124. – P. 346–351.
- Lowie R.H.** The Northern Shoshone // Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. – 1909. – Vol. 2, N 2. – P. 165–306.
- Lowie R.H.** Shoshonean tales // J. of American Folklore. – 1924. – Vol. 37, N 143/144. – P. 1–242.
- Lucier C.** Noatagmiut Eskimo myths // Anthropological Papers of the University of Alaska. – 1958. – Vol. 6, N 2. – P. 89–117.
- Mason J.A.** Myths of the Uintah Utes // J. of American Folklore. – 1910. – Vol. 23, N 89. – P. 299–363.
- McIlwraith T.F.** The Bella Coola Indians. – Toronto: University of Toronto Press, 1948. – Vol. 1. – 763 p.
- McClelland C.** My Old People Say. An Ethnographic Survey of Southern Yukon Territory. – Ottawa: National Museums of Canada, 1975. – 637 p.
- Merriam C.H.** The Dawn of the World. Myth and Tales of the Miwok Indians of California. – Lincoln; L.: University of Nebraska Press, 1993. – 273 p.
- Mishler C.** “Diving down” ritual healing in the tale of the blind man and the loon // Arctic Anthropology. – 2003. – Vol. 40, N 2. – P. 49–55.
- Norman H.** Northern Tales. Traditional Stories of Eskimo and Indian Peoples. – N.Y.: Pantheon Fairy Tale and Folklore Library, 1990. – 347 p.
- Nungak Z., Arima A.** Eskimo Stories from Povungnituk, Quebec, illustrated in soapstone carvings. – Ottawa: National Museums of Canada, 1969. – 137 p.
- Oswalt R.L.** Kashaya Texts. – Berkeley, Los Angeles: University of California, 1964. – 340 p.
- Parsons E.C.** Tewa Tales. – N.Y.: American Folklore Society, 1926. – 304 p.
- Parsons E.C.** Laguna tales // J. of American Folklore. – 1931. – Vol. 44, N 171. – P. 137–142.
- Parsons E.C.** Isleta, New Mexico // 47th Annual Report of the Bureau of American Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution. – Wash.: Smithsonian Institution, 1932. – P. 193–463.
- Parsons E.C.** Taos Tales. – N.Y.: American Folklore Society, 1940. – 185 p.
- Pereira A.H.** O Pensamento Mítico do Paresí. Segunda Parte // Pesquisas, Antropologia. – 1987. – N 42. – P. 447–841.
- Petitot É.** Traditions Indienne du Canada Nord-Ouest. – P.: Maisonneuve Frères et Ch. Leclerc, 1886. – 521 p.
- Rasmussen K.** Intellectual Culture of the Igulik Eskimos. – Copenhagen: The Fifth Thule Expedition, 1930a. – 308 p.
- Rasmussen K.** Observations on the Intellectual Culture of the Caribou Eskimos. – Copenhagen: The Fifth Thule Expedition, 1930b. – 116 p.
- Rasmussen K.** The Netsilik Eskimos. Social Life and Spiritual Culture. – Copenhagen: The Fifth Thule Expedition, 1931. – 542 p.
- Rasmussen K.** Intellectual Culture of the Copper Eskimos. – Copenhagen: The Fifth Thule Expedition, 1932. – 350 p.
- Rooth A.B.** The Alaska Expedition 1966. – Lund: University of Lund, 1971. – 393 p.
- Sapir E.** Takelma Texts. – Philadelphia: University of Pennsylvania, 1909. – 263 p.
- Sapir E.** Yana Texts. – Berkeley, Los Angeles: University of California, 1910. – 235 p.

- Skinner A.** Traditions of the Iowa Indians // J. of American Folklore. – 1925. – Vol. 38, N 150. – P. 425–506.
- Smelcer J.E.** The Raven and the Totem. – Anchorage: A Salmon Run Book, 1992. – 149 p.
- Smelcer J.E.** A Cycle of Myths. Native Legends from Southeast Alaska. – Anchorage: A Salmon Run Book, 1993. – 104 p.
- Smelcer J.E.** In the Shadows of the Mountains. Ahtna Stories from the Copper River. – Glennallen: The Ahtna Heritage Foundation, 1997. – 101 p.
- Smith A.M.** Shoshonean Tales. – Salt Lake City: University of Utah Press, 1993. – 188 p.
- Spencer R.F.** The North Alaskan Eskimo. – Wash.: Smithsonian Institution, 1959. – 490 p.
- Steward J.N.** Myths of the Owens Valley Paiute // University of California Publications in American Archaeology and Ethnology. – 1936. – Vol. 34, N 5. – P. 355–439.
- Teit J.A.** Traditions of the Thompson River Indians of British Columbia. – Boston; N.Y.: American Folklore Society, 1898. – 137 p.
- Teit J.A.** The Shuswap. Memoires of the American Museum of Natural History. – 1909. – Vol. 4. – P. 443–813.
- Teit J.A.** Traditions of the Lillooet Indians of British Columbia // J. of American Folklore. – 1912. – Vol. 25, N 98. – P. 287–371.
- Teit J.A.** Tahltan tales // J. of American Folklore. – 1921. – Vol. 34, N 133. – P. 223–253.
- Uldall H.J., Shipley W.F.** Nisenan Texts and Dictionary. – Berkeley; Los Angeles: University of California, 1966. – 282 p.
- Vaudrin B.** Tanaina Tales from Alaska. – Norman: University of Oklahoma Press, 1969. – 127 p.
- Wilbert J., Simoneau K.** Folk Literature of the Mataco Indians. – Los Angeles: University of California, 1982. – 507 p.
- Wilbert J., Simoneau K.** Folk Literature of the Chamacoco Indians. – Los Angeles: University of California, 1987. – 744 p.

Материал поступил в редакцию 06.03.06 г.

ЭТНОРЕАЛЬНОСТЬ В ФОТООБЪЕКТИВЕ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АЛТАЙ: ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА

ЛЕТО. КРЕСТЬЯНСКИЕ ПРОМЫСЛЫ СОЛОНЕШЕНСКОЙ ЗЕМЛИ: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Солонешенский р-н Алтайского края образован в 1924 г. Он объединил большие и малые поселения по долине Ануя и его притокам, основанные в разное время русскими крестьянами – старожилами и переселенцами. Этот уголок Северо-Западного Алтая отличается разнообразием и богатством природных ресурсов; в его границах расположены разные ландшафтные зоны: горная тайга и степные угодья, пойменные луга и альпийские пастбища. Сложное взаимодействие экологических и этнокультурных факторов определяет сложившийся в районе аграрный технологический цикл и соответствующий ему крестьянский календарь.

История активного освоения Солонешенской земли начиналась в XIX в. Старейшие фамилии насчитывают здесь до семи-восьми поколений. На протяжении XIX в. одно за другим в долинах и горных урочищах возникали села: Сибирячиха (1824), Солонешное (1828), Топольное (1829), Тележиха, Демино, Карпово, Туманово (1857), Черемшанка (1867), Александровка, Большая Речка, Калиниха, Лятаево, Медведевка (1876), Березовка (1877), Матвеевка, Таловка (1878), Верх-Солоновка (1890) и др. Они развивались в результате взаимодействия старожильческих общин и разновременных переселенческих потоков [Дрожецкий, 2004].

В конце XIX в. в селах по долине Ануя преобладало старожильческое население. Его основную массу составляли первопоселенцы XVIII в. Элементы их культуры сложились в условиях Русского Севера, Урала (Вятская и Пермская губ.) и Зауралья (Тобольская губ.), где первоначально формировались основные миграционные потоки в Сибирь.

Особую роль в освоении Алтая сыграли старообрядцы, которые в своем стремлении к сохранению изначальной веры уходили подальше от официальной власти и церкви. За Урал-Камнем они искали землю обетованную – т.н. Беловодье. «Отшельники-сектанты, – писал известный сибирский публицист Г. Гребенщикова в историко-этнографическом очерке “Алтайская Русь” [1914], – пробравшись в “Камень”, поселялись в наиболее красивых уголках и спасение души своей соединяли с созерцанием красивой девственной при-

роды, тем более что во всем хотели подражать святым угодникам. И с непоколебимым убеждением они верили, что святое “Беловодье” и есть тот потерянный и возвращенный рай, к которому издавна гонимые русские люди шли через пытки и кровь, через истязания и преступления. И в тот момент, когда бродяга-сектант доставал свою медную иконку, летописец с полной уверенностью мог занести в свой берестяной свиток, что здесь, в глухих дебрях чужого царства, воздвигнут новый столб русской границы».

Выбор места жительства старообрядцев и старожилов определяло наличие свободных пахотных земель, строевого леса и пастбищ. Обживание горных мест было делом нелегким. Но уже в начале XIX в. Алтай превратился в один из самых динамичных в социально-экономическом отношении регионов России. Известный государственный деятель и реформатор М.М. Сперанский, побывав на Алтае в 1820-х гг., пришел к заключению: “Край сей сама природа предназначила к сильному населению и к самым богатым производствиям земледелия, торговли и промышленности” [Алтайский край]. Он считал целесообразным заменить крепостных рабочих и приписных крестьян на Алтайских горных заводах наемными работниками и привлечь на земли Алтая переселенцев.

Начало формирования переселенческой этнокультурной группы на Алтае связано с Указом 1865 г., открывшим границы Алтайского горного округа. Массовые переселения на Алтай из Томской, Тобольской, Оренбургской, Пермской, Тамбовской, Воронежской, Вятской, Рязанской, Самарской и других губерний начались в конце XIX в. после правительственный Указов 1881, 1889 и 1896 гг. о режиме переселений в Сибирь. Реформы П.А. Столыпина дали новый толчок крестьянской миграции.

На рубеже XIX–XX вв. в результате активной миграции и разукрупнения старожильческих сел на территории нынешнего Солонешенского р-на сформировалась самая густая за всю историю сеть населенных пунктов. По данным переписи 1926 г., их было более 80, в т.ч. ок. 30, образованных переселенцами, ок. 20, возникших в ходе социально-экономических преобразований 1920-х гг. [Щеглова, 2004б, с. 118].

Включение природных ландшафтов бассейна Ануя в систему крестьянского землепользования и промыслов определило историю освоения района.

Солонешенский р-он (вместе с Алтайским и Чарышским) по ряду природно-климатических и экономических параметров входит в Алтайскую эколого-экономическую аграрную зону Алтайского края, занимающую степное низкогорье, лесостепное среднегорье и субальпийские луга. Пашни в условиях преимущественно горного рельефа составляют здесь лишь 10 % от общей площади, а кормовые угодья – 79 % от площади сельхозугодий. Особенности природно-климатических условий “горной” зоны позволяют возделывать относительно небольшой набор культур, среди которых преобладают технические виды и грубые сорта зерновых. При этом луга и пастбища в долинах Ануя и его притоков чрезвычайно эффективны для мясомолочного скотоводства, мясосовместного овцеводства, марало- и коневодства [Яшутин, 1999].

Основой существования современных жителей Солонешенского р-на является комплексная экономика, сочетающая земледелие, животноводство и сельские промыслы, в т.ч. пчеловодство, масло- и сыроделие, пимокатное производство и др. Эта модель хозяйствования начала складываться в XIX в.

Адаптируясь к природным условиям предгорных и горных районов Алтая, старожилы создали эффективные модели жизнедеятельности с преобладанием элементов культуры северорусского типа. На эту основу наславились культурно-бытовые традиции местного населения и различных потоков мигрантов.

Значительное количество свободных угодий создавало благоприятные условия для аграрного предпринимательства на Алтае, как и в Сибири в целом. Практически полное отсутствие помещиков обуславливало высокую степень имущественного благосостояния крестьян. В результате крестьянские хозяйства в Сибири превосходили таковые в большинстве регионов европейской части страны, как по средним размерам, так и по темпам роста экономической состоятельности по мере увеличения их численности [Ильиных, 1999].

В 1913 г. по существующим оценкам (в границах будущего Сибирского края конца 1920-х гг.), в среднем на одну крестьянскую семью сибиряка из шести человек приходилось более шести десятин посева, около четырех лошадей, более двух коров, почти пять овец и коз, около двух свиней [Там же].

По данным переписи 1916 г., при среднем посеве на Алтае в 7,9 десятин на одно хозяйство, в степной и лесостепной зонах, где преобладало земледелие, он составлял 10 десятин. На каждое хозяйство здесь в среднем приходилось более трех лошадей, около трех коров; пять и более коров имели 11,7 % крестьянских дворов, а стадом в 10 и более голов располагали 1,3 %

хозяйств. В степном Алтае, который заселялся переселенцами из центральных и южных губерний России, крестьянские хозяйства состояли из шести человек и более [Разгон, Колдаков, Пожарская, 2002].

Сложные природные условия Северо-Западного Алтая с низкими температурами зимой, жарким, нередко сухим летом, горным рельефом, узкими речными долинами и таежным ландшафтом обусловили кустарно-скотоводческое направление в развитии крестьянской экономики [Щеглова, 2005, с. 112]. В среднем семья из шести человек (согласно выборочному обсчету материалов переписи 1916 г.) владела стадом более чем в 20 голов, включая лошадей и крупный рогатый скот, в небольших количествах – овец, коз и свиней. Во многих хозяйствах было свыше 10 коров. В наиболее богатых семьях стадо достигало 100, а иногда свыше 200 голов. При этом земледелие сохраняло свое значение в структуре жизнедеятельности русского населения Северо-Западного Алтая. В начале XX в. на каждую семью приходился пашенный надел в среднем ок. 6 десятин, а также покосные угодья. В этом регионе, как и в Сибири в целом, не сложилось института частной собственности на землю. Использовавшаяся крестьянами в хозяйственном обороте земля находилась в общем владении, а со временем проведения столыпинской аграрной реформы – и в подворнонаследственном.

Большинство крестьянских семей имели пашенные наделы, сеяли пшеницу, овес, лен. Старожилы вспоминали: “В селе почти каждый знал, где чьи пашни, но сказать точно, сколько кто посеял, не мог никто. Все определялось на глазок; десятина измелялась загонами да сажениями. Никакого обмера до 1920 г. не производили. Почти половине имевшейся в хозяйстве земли мужики давали отдыхать, несколько лет не засевали, часть ее пахали под пары для посева пшеницы и овса. К середине июня в каждой яме, на каждой гриве, в логах и на лугах издали рябило в глазах от пестроты разных по размерам полос и полосок. Три пятых населения на своих пашнях имели заимки или утепленные стены, в которых жили во время посева, жатвы, там же хранили сельскохозяйственный инвентарь” [Швецов, 2004, с. 474].

Жизнь в деревнях Северо-Западного Алтая в начале XX в. шла своим чередом, повторяя устоявшийся порядок: от посева к покосу, от Николы вешнего (22 мая), до Петрова дня (12 июля). В день сева крестьяне зажигали перед иконой лампаду и молились всей семьей. На крестной неделе священник “святил” семена. Посев старались закончить во второй половине мая: “Дальше Миколы весна не идет, а потому сеять нельзя”, “Егорий с водой – Микола с травой”. До Петрова дня ягоды не брали. В день Кирики и Улиты (28 июля) и в Ильин день (2 августа) – “Боже упаси, метать сено” [Явнова, 2004, с. 308]. В августе один за

другим шли Медовый, Яблочный, Ореховый спасы, а после – “жатье”. На Семенов день – последний журавлинный клин, к Покрову – снег и смотрины. После Покрова начинали женское рукоделье – прядение. С первыми холодами делали зимние запасы.

Зима наступала с домашними хлопотами и разгульными праздниками. Крестьяне домолачивали хлеб, возили дрова, обихаживали дом и утварь, подряжались на ямщину. От Рождества до Крещения праздновали Святки. Христославщики и ряженые-шулики обходили все окрестные дома. После Святок начинался Мясоед – пора свадеб. На Крещение жгли солому – “Христу ножки грели”; а кто ряженым ходил – Бога гневил – в прорубь-иордань окунали. Зиму провожали Масленицей: “На Масленку девки катились в кашевах по щетыре, песняка завихревали. Шали атласные, кашемировые, пимы – фетровые, скатанные, вышитые красным рисунком. Кони наряжены, в лентошках. Парни – верхом. Со среды с гор катились молодые, целовались” [Мотузна, 2004, с. 302–303]. К концу масляной недели веселая суматоха стихала. В воскресенье наступал прощенный день – люди кланялись друг другу в ноги и каялись, чтобы очиститься от грехов перед Великим постом.

Семь недель постились, готовились к “празднику праздников” – светлой Пасхе (Воскресение Господне). Весну встречали “сороками” – в День 40 мучеников по церковному календарю пекли жаворонков. На Благовещение выносили из избы прялки. В этот день определяли погоду на лето: “Если солнце печет, значит, лето дождливое”. К Пасхе заканчивали тканье. После пасхальной недели на Красную горку (Фомино воскресенье) начинали водить хороводы. С Троицы (50-й день после Пасхи) считали летние дни, снова держали пост. Всего же соблюдалось четыре поста в год.

Крестьянский год был разделен на хозяйствственные и церковные циклы в череде буден и праздников. Жизнь семьи подчинялась природным ритмам, включалась в жизнь сельского и религиозного сообщества. Все вопросы в старожильческих селах решались на крестьянских сходах. Выборный староста обладал безупречным авторитетом: «Решал и улаживал те же общественно-хозяйственные вопросы, весной первым делом проверял поскотину, нет ли пролома, чтоб не потоптал скот посевы. Почти каждое воскресенье где-нибудь ремонтировали мостик или делали дорогу. Немедленно били в набат, собирались люди и посылались тушить пожары, которые возникали в разных местах. Надо было следить, чтобы до времени не рвали хмель и черемуху, не били орехи, требовать от полесовщика, чтобы не было самовольных порубок и тому подобного. По-прежнему по воскресеньям и большим праздникамправлялась церковная служба, собирались приношения и подаяния. Продавались с аукциона “господни приклады” – телята, овцы, гуси,

жеребята, даже коровы, холсты и разные ткани» [Швецов, 2004, с. 476].

Особое место в жизни местных крестьян занимали съезжие престольные праздники. В Петров день все окрестные жители съезжались в с. Солонешное, переходили из дома в дом, уготащись по-родственному. А там покос, за ним – страда и огородные работы; и так из года в год по заведенному обычаю.

Мерилом результатов крестьянского труда и показателем достатка служили ярмарки. Возникновение и развитие периодической оптовой торговли было связано со становлением предпринимательства в сельской среде. В конце XIX в. в предгорных и горных районах Бийского уезда начала формироваться локальная ярмарочная сеть. Первой в долине Ануя в 1891 г. была учреждена Рождественская ярмарка в с. Сибирячиха, где в то время насчитывалось 250 дворов. В сфере ее влияния находилось 40 окрестных деревень. Ярмарка возникла несмотря на противодействие Войскового хозяйственного управления казачьей линии, пытавшегося устраниć крестьянскую конкуренцию ярмаркам в станицах Антоньевской и Чарышской, между которыми и располагалось с. Сибирячиха (на расстоянии 45 верст от Чарышской). Ситуацию осложняла приверженность сельчан к старой вере. Формальным поводом для отказа стало то, что жители Сибирячихи “не нуждаются в ярмарке как последователи раскола, не покупающие предметов роскоши” [Щеглова, 2004а, с. 88]. Тем не менее ярмарка открылась. Этому во многом способствовала активизация переселенческого движения. Сооружение Транссибирской магистрали позволило значительно увеличить масштабы аграрного переселения в Сибирь. За 1896–1913 гг. в регион прибыло более 3 млн чел. Из них примерно половина осела в Томской губ., куда в то время административно входил Алтай.

В 1885–1905 гг. показатель по миграции в Сибирь составлял 76 тыс. чел., а в 1911–1913 гг. – 270 тыс. Пик переселенческого движения пришелся на 1906–1910 гг., когда в среднем за год вселялось до 500 тыс. чел. С 1897 по 1914 г. сельское население Сибири выросло с 5,3 до 9,2 млн; число крестьянских хозяйств увеличилось в 1,6 раза, в Томской губ. – почти в 2 раза. При этом особенно быстро шло заселение земледельческих территорий Алтая, куда устремлялись переселенцы из центральных областей России, Украины и Белоруссии [Ильиных, 1999].

Северо-Западный Алтай осваивался в основном за счет внутригубернской (сибирской) миграции и оставался зоной преобладания старожильческого, преимущественно старообрядческого населения. Хотя и здесь приток новоселов был существенным: в 1886–1890 гг. на территорию нынешнего Солонешенского р-на переселилось 86 семей, в 1896–1900 гг. – 158, в 1906–1910 гг. – 266, в 1911–1915 гг. – 200 [Дрожецкий, 2004, с. 78–79].

На рубеже XIX–XX вв. в Северо-Западный Алтай ежегодно прибывали десятки людей прежде всего из Томской (58 %), а также из Пермской (10 %), Оренбургской (6 %), Тобольской (3 %) и других (23 %) российских губерний. Создавались новые сельские сообщества, возникала нужда в самом необходимом и соответственно развивалась торговая сеть [Там же, с. 78].

Обороты Сибирячихинской ярмарки в 1897, 1904, 1911 гг. составляли ок. 12,5 тыс. руб. В дополнение к ней были учреждены осенняя (14–21 октября) и летняя (23–30 июня) ярмарки с оборотом соответственно в 11,5 тыс. и 19 тыс. руб. Сбывалось много железного товара, мануфактуры, галантереи; из степных районов привозили хлеб. Местный ассортимент торговли составляли сало, масло, воск, мед, кедровые орехи, битая дичь, пушнина, рогатый скот, лошади, кошма, конские шкуры. На летней ярмарке продавали предметы домашних промыслов: холст, деревянную и гончарную посуду, кедровые бочки, конскую упряжь и проч. [Щеглова, 2004а, с. 95].

Вслед за Сибирячихинскими возникли ярмарки в с. Солонешном – сначала зимняя Никольская, потом летняя. Последние ярмарки в Солонешном прошли в 1918 г. В то время в селе проживало более 2 тыс. чел., из которых 57 % были старожилами. Один из старейших жителей этих мест В.Н. Швецов вспоминал: “Последний раз в 1918 г. была зимняя Никольская ярмарка в Солонешном, на которую из всех сел волости крестьяне везли продавать свои продукты. Мои родители – отец Николай Селиверстович и мать Александра Родионовна Шевцовых – последний раз увозили на нее льняное семя, куделью, рябчиков полевых и два воза овса. Овес был продан по 60 копеек за пуд, рябчики по 25 копеек за пару. Купили самопряху, три пуда соли, пуд сущеной рыбы да фунт пареных пряников ребятишкам” [Швецов, 2004, с. 476].

Политические перемены 1917–1920-х гг. радикально изменили жизнь алтайского села. Но на рубеже XIX–XX вв. крестьянская экономика переживала подъем. В это время с. Солонешное находилось в центре горной волости в окружении старожильческих сел с развитым скотоводством и кустарными промыслами, через него проходил гужевой путь в верховья Катуни. Зимняя Солонешенская ярмарка в 1897 г. имела валовой оборот 12 тыс. руб., в 1904 г. – 14 тыс., в 1911 – 10 тыс.; летняя в 1904 г. – 12 тыс., в 1911 г. – 5 тыс. руб. [Щеглова, 2001, с. 444–445].

Значительные объемы торговых оборотов определялись становлением местных промыслов по переработке сельскохозяйственного сырья. На Солонешенской земле и в сопредельных районах появились свои торговцы и предприниматели из крестьян: Савва Кириллович Посысоев (оборот в 3 тыс. руб.) в с. Сибирячиха, Агафья Васильевна Бронникова (1 тыс. руб.) в с. Тележиха, купец 2-й гильдии Нестор Варламович

Аксенов (2,5 тыс. руб.) и Ипат Дорофеевич Ефимов (1,5 тыс. руб.) в с. Белый Ануй, Трофим Антипович Дунаев (4 тыс. руб.) и купчиха 2-й гильдии Екатерина Львовна Кричевцева (1,5 тыс. руб.) в с. Черный Ануй и др. [Щеглова, 2004а, с. 90].

В с. Булатове имел собственный завод Павел Михайлович Дейков. Завод перерабатывал до 4 тыс. пудов молока и производил 170 пудов масла, которое вывозилось в Бийск в фирму Эсмана для экспорта в Европу. Производства по переработке молока П.М. Дейков имел также в селах Медведевка, Тележиха, Черный Ануй и др. В Солонешном он открыл головной маслодельный завод, который в 1901 г. переработал 7 тыс. пудов молока и произвел 300 пудов масла. Местная перерабатывающая промышленность стала результатом развития и модернизации крестьянского хозяйства старожилов [Щеглова, 2001, с. 444; 2004а, с. 90–94].

Маслоделие является одной из устойчивых отраслей экономики Солонешенского р-на; специализированные производства существуют в нескольких хозяйствах. Современные маслоделы опираются на традиции прошлого, восходящие к рубежу XIX–XX вв.

В 1900–1902 гг. одновременно с маслодельными заводами на Алтае стали появляться первые промышленные сыроварни. Сегодня в крае их ок. 60. Первыми алтайскими сыроделами были, как правило, выходцы из западных российских губерний, Прибалтики, Финляндии и Швейцарии. Например, в 1916 г. в станицу Антоньевскую, имевшую широкие связи с селами по долине Ануя, приехали со своими семьями граждане Швейцарии Лергер Христиан Давыдович – управляющий сыроваренным заводом и его брат Давыд Давыдович – специалист сыроделия. С тех времен началось освоение технологий изготовления сыра. Сегодня на Алтае производится десятая часть сырчужных сыров России, ассортимент составляет более 20 наименований. При этом широкую известность краю принес именно “швейцарский” сорт.

Традиции сыроделия продолжают развиваться и в Северо-Западном Алтае. История Солонешенского маслосырзавода началась еще в 1930-х гг. Это предприятие реконструировалось и набирало мощность на протяжении 1960–1990-х гг. Сегодня Солонешенский завод может перерабатывать 45 т молока в сутки и производить при максимальной загрузке 3 т масла и 5 т сыра. Эти объемы значительно превосходят производство начала века; но тогда зарождающееся маслоделие Алтая определяло перспективы развития рыночной экономики в регионе.

В начале XX в. кустарно-скотоводческая и молочно-мясная специализации крестьянской экономики являлись основой формирования товарного сельского производства на северо-западе Алтая. Промыслы, возникшие в этот период, были направлены на рынок, и часто ремесленник-крестьянин отказывался от зем-

лепашства. В 1919 г. в Бийском уезде насчитывалось 234 зарегистрированных промышленных предприятия по переработке животного и растительного сырья [Соловьева, 2002]. Становление кустарных промыслов на Алтае было также связано с развитием переселенческого движения. В числе переселенцев прибывали различные специалисты: шерстобиты, пимокаты, кожевники, шубники, шорники, столяры, колесники, дужники, гончары, бондари и т.д. [Соловьева, 1981].

Согласно воспоминаниям старожилов, под влиянием переселенцев в селах Солонешенской земли появился ножной гончарный круг, получило распространение производство керамической утвари на продажу. Старожильческое домашнее лепное гончарство на ручном круге пошло на убыль. Распространение фабричной посуды, развитие технологий переработки молока и товарного маслоделия в дальнейшем привели к угасанию керамического промысла. Возможность продавать молоко существенно сократила домашние заготовки, и необходимость в большом количестве утвари отпала. Эта тенденция была характерна для многих районов Западной Сибири и Алтая [Новиков, 1999, с. 74–75].

Одновременно с угасанием керамического промысла на северо-западе Алтая получило развитие бондарное производство, секретами которого в совершенстве владели выходцы из Пермской и Вятской губ. Их культура была традиционно адаптирована к географическим условиям, малопригодным для земледелия. Поэтому они специализировались в области деревообработки – смоло- и дегtekурения, бондарного и столярного ремесла. Изготовление бочек, лагунов, упаковочной тары стало актуально в связи с ростом товарного производства масла, а также с высоким спросом в России на алтайский мед, возникшим одновременно с развитием ярмарочной торговли.

Пчеловодство до сих пор занимает весомое место в аграрном секторе Алтайского края. Валовое производство меда в начале 2000-х гг. в среднем составляло ок. 5 тыс. т в год, в т.ч. товарного – 2 тыс. т. По производству товарного меда Алтайский край занимает одно из лидирующих мест в России. Самые крупные пчелохозяйства (более 1 500 пчелосемей) находятся в шести лесостепных и предгорных районах края, в т.ч. в Солонешенском. Производство меда – исконное занятие местного населения, а традиции пчеловодства уходят корнями в культуру старожилов-старообрядцев.

В конце XIX в. на Алтае, наряду с традиционными крестьянскими промыслами, возникли новые, связанные с переработкой животного сырья. Считается, что родоначальниками овчинно-шубного производства в крае стали переселенцы из Владимирской губ., а пимокатного – крестьяне из Нижегородской губ., где в Семеновском уезде в XVIII в. был изобретен русский валенок.

В 1874 г. купец 2-й гильдии И.Г. Поляков основал в Барнауле овчинно-шубное и пимокатное производство и вошел в число наиболее крупных торговцев валенками и шубами-барнаулками. В 1917 г. на Алтае работало ок. 150 пимокатных мастерских; только в Барнауле их было 90. В 1918 г. пара валенок на ярмарках в крае стоила от 10 до 55 руб., а средняя цена дойной коровы составляла 16 руб., лошади – 20 руб. [История Алтая; Шумилов, 2005]. Даже зажиточные крестьяне имели порой не более одной пары валенок. Существовала поговорка: “Кто раньше с печи встал, тому и валенки”. Широко распространившаяся в те времена мода на них сделала этот товар престижным.

Со временем пимокатное производство стало одной из жизненно необходимых отраслей аграрной экономики края. В годы Великой Отечественной войны и в послевоенное лихолетье валенки, перестав быть престижной обувью, превратились в товар первой необходимости. К концу XX в. пимокатное производство пришло в упадок. Но в 1990-х гг. в Солонешенском р-не, в с. Туманове открылся цех по производству валенок. Были найдены мастера, приобретены шерстобитные машины, восстановлены старые технологии, по сохранившимся образцам изготовлены колодки. Цех существует по сей день, удовлетворяя потребности жителей района в традиционной обуви, незаменимой в крестьянском быту.

Основой существования пимокатного, а также овчинно-шубного промысла на Алтае было и остается местное овцеводство, ориентированное на тонкорунную породу. Таких овец завезли на Алтай в 1860-х гг. Распространение этой породы (наряду с киргизской курдючной и обычновенной русской) в алтайских степных волостях было связано с ростом цен на аренду земли в Южной России и на Кавказе, вследствие чего возникла необходимость в новых пастбищах, в т.ч. в Сибири. В 1904–1905 гг. переселенцы-овцеводы гоном провели свои отары через казахские степи в Змеиногорский уезд и обосновались в Локтевской степи. В 1906 г. благодаря введению льгот на перевозку овец по железной дороге формирование отары на Алтаешло значительно быстрее. В 1913 г. в крае насчитывалось до 26 тыс. тонкорунных овец, позднее была выведена собственная алтайская порода [Кузнецова, 1988].

Наличие сырья обеспечивало развитие кустарных промыслов, связанных с изготовлением войлока и войлочных изделий. Основным центром развития овцеводства на Алтае были и остаются степные районы. Северо-Западный Алтай на животноводческой карте края занимает особое место. Предгорные и горные пастбища дали возможность развивать здесь комплексное животноводство. Появление в долине Ануя в середине XIX в. казахских поселенцев, ориентированных на полукочевые модели жизнедеятельности

с преобладанием в стане коней и мелкого рогатого скота, в определенной степени повлияло на изменение структуры стада. Хотя, согласно переписи 1916 г., поголовье овец в казахских и русских крестьянских хозяйствах долины Ануя было невелико и редко превышало 20 голов; существовала тенденция к росту отары. Постепенно в районе стало распространяться изготовление войлока. В начале XX в. оно приобрело товарный характер – кошмы вошли в ассортимент местных ярмарок.

Овцеводство и сегодня является одной из важных составляющих экономики Солонешенского р-на. Наряду со стадом государственных сельскохозяйственных предприятий заметно возросло поголовье овец в частных крестьянских хозяйствах. Однако преобладает в районе мясомолочное производство. Сегодня в этой отрасли специализируются 11 сельхозпредприятий, имеющие позитивные тенденции роста.

Сейчас сельское хозяйство Алтая, как и многих регионов России, переживает тяжелые времена. Уменьшение поголовья стада происходит на фоне сокращения бюджетных ассигнований на поддержку аграрно-промышленного комплекса; существует диспаритет цен на сельхозпродукцию, технику и энергоснабжение. В сельских районах остро стоит проблема безработицы, растет миграция в города – молодежь покидает места, обжитые предками. Все это вызывает тревогу послевоенных поколений крестьян, которые посвятили свою жизнь возрождению и развитию экономики и культуры родных сел.

В связи с проблемами начала XXI в. старожилы вспоминают испытания прошлого, выпавшие на долю алтайского крестьянства. По оценкам специалистов, в советское время села России пережили более 30 кампаний по реорганизации [Щеглова, 2004б, с. 130]. Начавшееся с коллективизации преобразование единоличного хозяйства изменило принципы развития крестьянской экономики и формирования поселковой сети. Крестьянская культура была подорвана кампаниями коллективизации и раскулачивания в 1930-х гг., укрупнения колхозов в 1950-х, ликвидации “неперспективных” сел в 1960–1980-х гг.

Великая Отечественная война унесла жизни 2 625 жителей Солонешенского р-на. Разруха послевоенного времени, когда, работая “за палочки” трудодней, крестьянство скатилось к полуголодному существованию, подорвала веру в ценность сельского труда и вызвала массовый отток жителей из сел Алтая. Опыт создания альтернативных форм экономики – открытие и разработка рудных месторождений в Солонешенском р-не – в те годы оказался кратковременным. Мулчихинский вольфрамовый рудник и поселок при нем перестали существовать в послевоенное время.

Социально-экономические эксперименты в сельском хозяйстве, связанные с созданием совхозов-ги-

гантов продолжались в 1950–1970-х гг. В этот период с карты района исчезли многие малые села, казавшиеся тогда “неперспективными”. Процесс преобразования поселковой сети имел противоречивый характер. С одной стороны, формировались крупные хозяйства, ориентированные на индустриализацию аграрного сектора; с другой – разрушались традиционные модели крестьянских поселений, связанные с максимально эффективной эксплуатацией микроландшафтов. В результате разрушалась вековая связь человека и его природного окружения, составляющая основу крестьянской жизнедеятельности.

К концу 1980-х гг. в Солонешенском р-не сложилась современная инфраструктура, объединяющая 32 населенных пункта на территории в 3 529 км².

В начале 1990-х гг. в ходе политических и экономических преобразований в России была поставлена под сомнение перспективность крупных аграрно-промышленных комплексов. В Алтайском крае попытались развить фермерское движение; наряду с государственными, появились различные формы частных и акционерных предприятий. На фоне всеобщего процесса натурализации крестьянской экономики возник интерес к традиционным моделям хозяйствования и старым промыслам. Одновременно начался поиск новых направлений аграрной специализации.

В 1990-х гг. одной из эффективных сельскохозяйственных отраслей Северо-Западного Алтая стало пантовое оленеводство. Мараловодческие хозяйства расположены преимущественно в лиственничных парковых лесах с луговым оステненным травостоем и хорошим обводнением.

Мараловодство стало развиваться на Алтае с середины прошлого столетия, но этот процесс носил стихийный характер. Инициаторами создания первых маральников были старообрядцы Бухтармы. Крупные маральники там существовали еще в конце XIX в. Их продукцию вывозили прежде всего в Китай. В 1927 г. с образованием первого колlettивного мараловодческого хозяйства в нынешнем Шебалинском р-не Республики Алтай значительно увеличилось производство пантов маралов и улучшилось качество их обработки. В 1930-х гг. на Алтай были завезены пятнистые олени из Приморского края и начата заготовка их пантов.

В Солонешенском р-не разведением маралов стали заниматься в 1970-х гг. В настоящее время большое поголовье маралов и пятнистых оленей содержится в семи крупных хозяйствах района. Летом стада пасутся в отгороженных парках, где горное разнотравье и ключевая вода позволяют животным быстро набирать силу. В июне в хозяйствах идет спилка рогов – пантов. Продукция местных мараловодов пользуется спросом в Японии, Корее, Китае и других странах. Сегодня мараловодство в Солонешенском р-не – ос-

нова устойчивого существования хозяйств. Оно приносит значительную прибыль и играет большую роль в формировании местного бюджета. Модернизация крестьянской экономики формирует новые образы; в крестьянском обиходе появляются присловья на тему дня: “Деньги зарабатывают: кто головой, кто руками, а кто и рогами”.

Природно-климатические условия Северо-Западного Алтая – лугово-степные ландшафты, обширные кормовые угодья на склонах гор – благоприятствуют развитию коневодства. В XIX в. лошадь была “стратегическим ресурсом” и главным транспортным средством. Разведение лошадей стимулировалось существованием тракта в центральные и южные районы Горного Алтая, который проходил через Солонешенное, а также возникновением и развитием ярмарочной торговли. Экспроприация конского поголовья в годы военного и революционного лихолетья начала XX в., обобществление всех производственных ресурсов в период коллективизации и, наконец, индустриализация сельского хозяйства сделали нецелесообразным активное развитие коневодства. Интерес к этой отрасли стал возвращаться в 1980-х гг. Хотя в последнее время поголовье лошадей в общественном секторе сокращалось, коневодство продолжало развиваться. Сейчас более половины общего поголовья лошадей находится в частном секторе.

Лидерами племенного коневодства в Алтайском крае являются четыре крупных хозяйства: Алтайское, Новоталицкое, “Сибирь”, “Новый путь”. В 1990-х гг. в горно-степной зоне появились новые его центры. Племенное коневодство постепенно превращается в одну из престижных и доходных отраслей экономики. В Солонешенском р-не лицензию на разведение лошадей орловской рысистой и русской тяжеловозной пород получило хозяйство “Медведевское”. Коневоды сделали ставку на орловских рысаков – самую знаменитую национальную породу; про нее говорят: она и под воду, и под воеводу. Этот выбор, по словам О.П. Кузнецова, одного из основателей производства, опирался не только на бизнес-прогноз, но и на веру в будущее России, одним из символов которой стал орловский рысак.

В 1990-х гг. была создана самодеятельная ассоциация коневодов предгорной зоны Алтая. Ее участниками стали сельхозпредприятия, занимающиеся разведением породистых лошадей, ряд крестьянско-фермерских хозяйств и частных конеферм. Развитие коневодства внесло корректиды не только в традиционные модели хозяйствования, но и в соционормативную сферу, определив новые даты крестьянского календаря. В начале 1990-х гг. по инициативе ассоциации коневодов в с. Ануйском был проведен первый конный праздник. С тех пор ежегодно до десятка хозяйств, в т.ч. “Медведевское”, проводят это меропри-

ятие. Годовой цикл праздников начинается в бывшей казачьей станице – с. Антоньевка Петропавловского р-на. Его, как правило, совмещают с Днем борозды – праздником окончания весеннего сева, который отмечают в первое воскресенье июня. В течение года бега проводят и в других селах. Зимний конный праздник считается мужским и проходит 23 февраля.

Солонешенский р-он ежегодно принимает у себя конников предгорного Алтая. На несколько дней поле аэродрома в районном центре превращается в беговой круг – и несутся по нему кони, возвращая своих хозяев к утраченным ценностям крестьянской культуры, рождая веру в будущее алтайского села.

Благодарности

Дирекция Института археологии и этнографии СО РАН, руководство научно-исследовательского стационара “Денисова пещера”, все участники фотопроекта выражают благодарность администрации Солонешенского района Алтайского края, а также главам сельских администраций, руководителям предприятий и фольклорных коллективов района, жителям сел Солонешенное, Топольное, Туманово, Новая жизнь, Искра, Тележиха, Тог-Алтай за поддержку и плодотворное сотрудничество.

Список литературы

Алтайский край [Электронный ресурс] // Алтайский край: Официальный сайт органов власти. – Режим доступа: [\(20.06.06\).](http://www.altairregion.ru/rus/territory/altai/?print=on)

Гребенщиков Г.Д. Алтайская Русь: Историко-этнографический очерк. 1914 [Электронный ресурс] // Открытая Рус. электр. б-ка. – Режим доступа: [\(20.06.06\).](http://orel.rsl.ru/nettext/russian/grebenshikov/altai_rus/01.htm)

Дрожецкий Д.А. История заселения Солонешенского района // Солонешенский район: Очерки истории и культуры. – Барнаул: Изд-во Барнаул. гос. пед. ун-та, 2004. – С. 74–85.

Ильиных В.А. Крестьянское хозяйство в Сибири (конец 1890-х – начало 1940-х годов): тенденции и этапы развития // Крестьянская семья и двор в Сибири в ХХ веке: проблемы изучения. – Новосибирск, 1999. – С. 33–75 [Электронный ресурс] // Список науч. тр. Ильиных В.А. – Режим доступа: [\(20.06.06\).](http://history.nsc.ru/il_history.htm)

История Алтая: Хронология истории Алтая – год 1874 [Электронный ресурс] // Ирбис – электр. изд-во. – Режим доступа: [\(20.06.06\).](http://irbis.asu.ru/docs/altai/history/chrono/1874.html)

Кузнецов В.В. Земля Рубцовская: События. Факты. Люди. 1998 [Электронный ресурс] // Сервер “Рубцовск”. – Режим доступа: [\(20.06.06\).](http://www.rubtsovsk.ru/history/quarega01/017.htm)

Мотузная В.И. Календарная обрядность русского населения Солонешенского района // Солонешенский район: Очерки истории и культуры. – Барнаул: Изд-во Барнаул. гос. пед. ун-та, 2004. – С. 300–306.

Новиков А.В. Традиционное гончарство русского населения лесостепи Западной Сибири в конце XIX – первой половине XX в. (вопросы технологии по этнографическим материалам) // Этнографо-археологические комплексы: Проблема культуры и социума. – Новосибирск: Наука, 1999. – С. 52–76.

Разгон В.Н., Колдаков Д.В., Пожарская К.А. Демографическое и хозяйственное развитие западных волостей Алтайской губернии в начале XX в. (анализ базы данных крестьянских хозяйств по сельскохозяйственной переписи 1917 г.) // Демографическое развитие алтайской деревни. 2002 [Электронный ресурс] // Электр. б-ка истории Алтая. – Режим доступа: <http://new.hist.asu.ru/biblio/demxoz/22-61.html>. (20.06.06).

Соловьева Е.И. Промыслы сибирского крестьянства в пореформенный период. – Новосибирск: Наука, 1981. – 329 с.

Соловьева С.А. Состав ремесленных мастерских на Алтае в начале XX в. // Культурология традиционных сообществ. – Омск, 2002 [Электронный ресурс] // Кафедра этнографии и музееведения Омск. гос. ун-та. – Режим доступа: <http://ethnography.omskreg.ru/page.php?id=280>. (20.06.06).

Швецов В.Н. Село Тележиха в 1917–1919 гг. (из воспоминаний) // Солонешенский район: Очерки истории и культуры. – Барнаул: Изд-во Барнаул. гос. пед. ун-та, 2004. – С. 472–490.

Шумилов Е. Вместо валенок – чуны // Свободный курс. – 2005. – 3 янв. [Электронный ресурс] // Изд. дом “Алтапресс”. – Режим доступа: http://www.altapress.ru/for_print.php?news_id=7383. (20.06.06).

Щеглова Т.К. Ярмарки юга Западной Сибири в XIX – начале XX века: Из истории формирования и развития всероссийского рынка. – Барнаул: Изд-во Барнаул. гос. пед. ун-та, 2001. – 504 с.

Щеглова Т.К. Сельское предпринимательство и предприниматели в XIX – начале XX в. на территории Солонешенского района // Солонешенский район: Очерки истории и культуры. – Барнаул: Изд-во Барнаул. гос. пед. ун-та, 2004а. – С. 85–95.

Щеглова Т.К. Деревня Солонешенского района в XX в.: устная история (из опыта устно-исторического анализа) // Солонешенский район: Очерки истории и культуры. – Барнаул: Изд-во Барнаул. гос. пед. ун-та, 2004б. – С. 110–143.

Щеглова Т.К. Русское население Алтайского края: этнокультурное многообразие и идентичность // Народы Евразии: Этнос, этническое самосознание, этничность: проблемы формирования и трансформации. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – С. 110–123.

Явнова Л.А. Годичный цикл семьи русских старожилов и переселенцев Солонешенского района первой трети XX в. (народный календарь и трудовые традиции) // Солонешенский район: Очерки истории и культуры. – Барнаул: Изд-во Барнаул. гос. пед. ун-та, 2004. – С. 307–310.

Яшутин Н.В. Сельское хозяйство // Деловой мир Алтая-99: Справочник современного бизнесмена. 1999 [Электронный ресурс] // Сервер “Деловой мир Алтая-99”. – Режим доступа: <http://bizworld.altai.ru/altai/index.html>. (20.06.06).

И.В. Октябрьская, М.В Шуньков

Институт археологии и этнографии СО РАН
пр. Академика Лаврентьева, 17
Новосибирск, 630090, Россия
E-mail: SIEM405@yandex.ru
E-mail: Shunkov@archaeology.nsc.ru

* * *

Фоторепортаж подготовлен И. Лагуновым (г. Магнитогорск).

Игорь Лагунов родился в 1963 г. в г. Каменске-Уральском. Окончил Челябинский культурно-просветительный техникум и двухгодичные курсы при Фотоцентре Союза журналистов СССР (г. Москва). С 1990 г. является членом Союза фотохудожников России и Союза фотографов Урала “Каменный пояс”. С 1990-х гг. участвовал в международных и российских выставочных фотопроектах, в т.ч. “Путь к коммунизму” (1993–1994 гг., Россия–Чехия–Германия), “Прийти, чтобы разделить пищу с умершими” (1994–1995 гг., Россия–США). Международными и российскими премиями отмечены авторские серии И. Лагунова: «Колхоз “Путь к коммунизму”» (1996–1998 гг.), “Из жизни сельского молельного дома” (1996–1998 гг.), “Другая жизнь” (2000–2002 гг.), “Фабрика

валенок” (2004–2005 гг.). Его материалы были представлены на выставках в России, Германии, Дании, Италии, Чехии, США, странах Балтии; публиковались в российских и европейских изданиях, в т.ч. в журналах “Родина”, “Огонек”, “Столица”.

И. Лагунов – обладатель стипендии для деятелей культуры от Союза фотохудожников России за авторскую программу “Традиции и обряды российской глубинки”, второй премии конкурса Пресс-фото России 2000 г. (г. Москва), второй премии международного конкурса фотожурналистов “Золотой объектив-2004” (г. Великий Новгород), золотой медали третьего международного фотосалона “Сибирь-2004” и др.

В настоящее время И. Лагунов является штатным фотографом журнала “Партнер” (г. Магнитогорск), внештатным сотрудником “Челябинского рабочего”. С 2005 г. – участник экспедиционного и выставочного фотопроекта “Алтай – четыре времени года”.



1. Просторы долины Ануя. Село Солонешное.

Старожильческие семьи в селах по долине Ануя насчитывают до семи-восьми поколений. Те, что когда-то уходили в Алтайские горы, искали – кто земли обетованной, кто доли, а нашли родину и крестьянский труд.

Когда открывается дверь старого дома, открывается чья-то судьба. В ней – старые бабушкины книги и отцовская гармошка, рассказы про крепких мужиков “до переворота” и про то, как пошел брат на брата в Гражданскую; в ней – фронтовые треугольники Великой Отечественной, карточка молодой мамы и фотографии сына, вернувшегося из Чечни. Сколько домов – столько историй... А вокруг ануйских сел – синие горы. Кажется – рай земной, да как туда попадешь...



2. Семья Матвея Шадринцева – управляющего коневодческой фермой хозяйства “Медведевское” в селе Солонешном.



3. На конюшне хозяйства “Медведевское” в селе Солонешном.

В селе Солонешном ежегодно устраивают конные бега. Вьются над полем российские флаги, несутся по полу орловские рысаки. “Почему орловцы?” – задают традиционный вопрос заезжие журналисты. “Потому, что с них Россия начинается – с Красной площади, с Волги, с Гагарина и с орловского рысака”. Родословные племенных рысаков заводчики знают порой лучше собственных. Но за историями коней неизбежно возникают человеческие судьбы. Несутся по полу кони, возвращая своих хозяев к прошлому и рождая надежду на будущее.



4. Конные бега в Солонешном.



5. Троица в селе Топольном.

На пятидесятый день после Пасхи, когда, согласно православной традиции, сходит на землю Святой Дух, в ануйских селах празднуют Троицу – рождение лета. Еще недавно казалось, что девичий праздник с хороводами и “зalamыванием” березки навсегда превратится в воспоминание о молодости сельских старушек. Но сегодня традиции возвращаются, и Троица меняет свое лицо, соединяя в одном хороводе внучек и бабушек.



6. Участницы фольклорного ансамбля села Топольного.



7. Троицкие гуляния в селе Топольном.

Троица приходит в села с запретом на женские работы, превращая будни в яркий праздник старинных нарядов, сшитых “по-нашему – по-поляцки”, старинных песен, спетых не со сцены, а в хороводе – “на полянке”, старинных гаданий с березовыми венками – на жизнь и жениха. А вдруг сбудется...



8. Хороводы на Троицу. Село Топольное



9. Маралы “парки” у села Тог-Алтай.

Зачем маралу рога. Этого не знает никто. Но все знают, что в них заключена огромная сила. Алеют горячие стилы рогов. Дымятся ванны для варки. В июне на Алтае режут панты. В этом нет ни жестокости, ни жалости. Есть энергия людей и животных, зажатая в тиски загонов. Есть лиловые глаза марала, в которые можно заглянуть. Есть рыжий силуэт, летящий из тьмы в пространство зеленого парка.



10. Заготовка пантов на маральнике близ села Тог-Алтай.



11. Вечерняя дойка закончена. Село Топольное.

День начинается с петушиного крика, с первой дойки. Утром вдоль деревенских заборов в ожидании молоковоза выстраиваются красные, синие, зеленые ведра с белым молоком. Льются молочные реки, зреют в подвалах сыры; изо дня в день хозяйки провожают и встречают коров. На цистерне молоковоза лежат списки по заготовкам – счет идет на центнеры. Это мера женского труда и терпения.



12. Зреют сыры Солонешенского завода.



13. Рабочий полдень на заготовке кормов.

Крестьянский календарь определяет череда будней и праздников. Когда-то они распределялись по четырем временам года, после – по датам революционного календаря. Календари меняются, а традиции остаются. “А когда косить начнете?” – спрашиваем у случайного попутчика. “Так, с Петрова дня, как трава вызреет...”



14. Июльский покос в разгаре.



15. Конец июльского дня на крестьянском покосе.

В селах по Анюю давно уже вышли из употребления косы, с техникой покос из крестьянского ритуала превратился в производственный цикл; но по-прежнему дорог каждый час: сегодня солнце – завтра дождь, не дай бог, трава поляжет, сено вымокнет... Поэтому, как и прежде, существует в семьях нынешних крестьян традиция “помочей” – всем миром можно управиться с любой работой.



16. С покосом управились.

АНТРОПОЛОГИЯ

УДК 572

Е.С. Аристова¹, Т.А. Чикишева², А.М. Зайдман¹,

А.Н. Машак¹, Я.А. Хорошевская¹

¹Новосибирская государственная медицинская академия

Красный пр., 52, Новосибирск, 630042, Россия

²Институт археологии и этнографии СО РАН

пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия

E-mail: bronza@dus.nsc.ru

СЛУЧАЙ ГИПОФИЗАРНОГО НАНИЗМА У ИНДИВИДА, ПОГРЕБЕННОГО В КУРГАНЕ СКИФСКОЙ ЭПОХИ НА ТЕРРИТОРИИ ТУВЫ

Введение

Целью данной статьи является дифференцированный анализ нанизма (от греч. *nanos* – “карлик”) у индивида, скелет которого обнаружен в погребении раннего железного века на территории Тувы. Нанизм развивается при ряде наследственных врожденных и приобретенных эндокринных и неэндокринных заболеваний. Его основное проявление – ненормально низкий рост, не превышающий у мужчин 130 см, у женщин 120 см. Причина развития генетически детерминированного нанизма заключается в дефиците соматотропного гормона (гормона роста) или, реже, в образовании гормона роста, не обладающего биологической активностью. Такой нанизм классифицируется как гипоталамо-гипофизарный или гипофизарный. Иногда он обусловлен нечувствительностью к гормонам роста гормоносвязывающих клеточных рецепторов периферических тканей, что является причиной конституциональной карликовости у некоторых африканских племен. Нанизм может развиться после черепно-мозговой травмы, нейроинфекции, интоксикации, в результате опухолевого процесса на гипоталамусе. Он может быть также связан с некоторыми генетическими синдромами, сопровождающимися нарушениями формирования скелета. При гипофизарном нанизме ребенок рождается нормальным, а резкая задержка роста начинается с двух –

четырех лет. При этом телосложение остается нормальным и интеллект, как правило, сохраняется.

Случаев нанизма в палеоантропологических коллекциях описано мало. Они известны в эндемических районах болезни, например в Швейцарских Альпах – высокогорном регионе с дефицитом йода [Ohrtnar, Hotz, 2005]. Среди многочисленных палеоантропологических материалов с территории российской части Евразии случай нанизма обнаружен нами впервые. Актуальным является установление его этиологии, особенностей проявления на древнем скелете, сопутствующих заболеваний.

Погребенный являлся представителем мира кочевников Центральной Азии, что само по себе важно для реконструкции социальных отношений в кочевнической среде, допускающих сохранение жизни и поддержание жизнеспособности в течение длительного времени тяжелобольных индивидов. Патологические изменения всех костей скелета затрудняют определение пола погребенного – параметра чрезвычайно важного как для более точной оценки демографической структуры могильника в целом, так и для понимания социального статуса в данной популяции недееспособного карлика. Поэтому уточнение половой принадлежности индивида мы также относим к числу актуальных задач исследования.

Могила 2, где было совершено захоронение, раскопана в кург. 12 на могильном поле Догээ-Баары, расположенному на высокой правобережной террасе

р. Бий-Хем (Большой Енисей), в 5 км выше ее слияния с р. Кая-Хем (Малый Енисей). Погребение относится к раннему этапу (VI–IV вв. до н.э.) уюкско-саглынской культуры [Chugunov, 1998].

Материал и методы

Нами исследованы кости черепа и посткраниального скелета хорошей сохранности. Визуально определены генерализованные изменения во всех его отделах. Диагностика любого заболевания по древнему скелету, а особенно связанного с его аномальным развитием, требует детального изучения структуры костной ткани на уровне микроанатомической организации костных органов [Frost, 1989; Shultz, 2001], которое и было проведено нами с помощью классических гистологических методик [Хэм, Кормак, 1983]. Исследовались образцы компактного вещества из середины диафиза бедренной кости и губчатого вещества большого вертела, включающего сохраненную зону роста. Образцы деминерализовали, полученные из них срезы окрасили гематоксилином,

эозином и альциановым синим (гистохимический метод исследования). В результате были выявлены существенные нарушения в структуре костной ткани и в зонах роста, послужившие основой для диагностики заболевания и предположений об особенностях его протекания. Также были проведены стандартные антропометрические исследования, позволившие оценить некоторые физические параметры погребенного и уточнить его пол.

Результаты и обсуждение

Данные антропометрического исследования индивида, рассмотренные на фоне здоровой части популяции (табл. 1, 2), свидетельствуют о том, что пропорции головы и посткраниального скелета были в целом гармоничными. Инфантальное строение скелета проявилось на черепе в гипертроированном брахицранном варианте его формы, увеличении носового указателя, сильной уплощенности переносья. Выраженность некоторых элементов рельефа черепа (высокое надпереносье, хорошо развитые надбровные дуги) дает

Таблица 1. Краниометрические характеристики индивида с гипофизарным наизмом в сравнении со здоровой частью популяции из Догээ-Баары-2

Признаки	Курган 12, мог. 2	Женщины			Мужчины		
		x	n	s	x	n	s
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Продольный диаметр	153,0	180,0	8	7,9	186,20	10	9,39
8. Поперечный диаметр	134,0	139,9	7	3,9	141,00	9	4,66
8:1. Черепной указатель	87,6	78,5	8	4,0	76,38	9	5,81
17. Высотный диаметр от базиона	110,0	132,6	8	4,2	132,71	7	7,11
20. Высотный диаметр от пориона	102,0	115,3	8	4,1	116,29	7	4,15
5. Длина основания черепа	81,0	101,9	7	4,3	103,57	7	5,77
9. Наименьшая ширина лба	86,0	94,8	8	4,5	95,34	11	4,16
10. Наибольшая ширина лба	112,0	121,1	8	4,7	120,88	8	4,39
9:8. Лобно-поперечный указатель	64,2	68,3	8	3,1	67,14	9	3,94
29. Лобная хорда	113,5	106,1	8	3,1	109,86	9	8,55
25. Сагиттальная дуга	312,0	365,7	9	9,8	372,10	10	17,41
26. Лобная дуга	119,0	125,9	8	5,6	130,56	9	7,14
27. Теменная дуга	109,0	126,5	8	8,4	124,44	9	9,50
28. Затылочная дуга	84,0	114,3	8	7,6	115,60	10	6,83
26:25. Лобно-сагиттальный указатель	38,1	34,4	9	1,1	35,22	9	1,32
27:25. Теменно-сагиттальный указатель	34,9	34,5	9	1,9	33,54	9	1,59
28:25. Затылочно-сагиттальный указатель	26,9	31,1	9	1,8	31,23	9	1,48
28:27. Затылочно-теменной указатель	77,1	90,5	9	10,3	93,43	9	8,21
Угол поперечного изгиба лба	133,0	140,3	7	3,9	136,65	10	3,65
Sub.NB. Высота продольного изгиба лба	25,0	27,4	7	1,2	25,61	9	2,50
Sub.NB:29. Указатель продольного изгиба лба	22,0	26,0	8	1,4	23,30	9	1,10

Окончание табл. 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Высота изгиба затылка	22,3	24,9	8	2,5	25,36	10	3,19
45. Скуловой диаметр	115,0	125,3	6	4,4	135,17	6	3,31
45:8. Горизонтальный фацио-церебральный указатель	85,8	90,4	6	2,8	95,71	6	5,92
40. Длина основания лица	83,0	96,3	7	3,6	98,00	6	4,10
40:5. Указатель выступания лица	102,5	95,2	8	3,8	95,99	6	3,33
48. Верхняя высота лица	52,0	67,2	6	3,8	71,29	7	3,45
48:17. Вертикальный фацио-церебральный указатель	47,3	52,0	7	3,4	53,74	6	4,81
60. Длина альвеолярной дуги	46,0	50,5	8	1,9	53,0	7	2,3
61. Ширина альвеолярной дуги	60,0	61,5	8	2,7	63,8	6	2,3
61:60. Челюстно-альвеолярный указатель	130,4	120,6	9	7,2	121,6	6	1,7
62. Длина неба	39,0	43,5	8	2,5	43,0	7	4,0
63. Ширина неба	36,2	34,3	8	2,5	38,7	7	5,1
63:62. Небный указатель	92,8	78,3	9	7,6	77,4	6	7,70
55. Высота носа	41,3	49,9	7	2,1	51,6	7	3,0
54. Ширина носа	23,0	25,1	7	2,0	24,3	8	2,3
54:55. Носовой указатель	55,7	50,0	8	3,4	48,0	7	4,0
51. Ширина орбиты от mf.	37,6	42,3	7	2,3	42,7	6	2,1
51a. Ширина орбиты от d.	36,1	39,7	7	2,1	39,9	6	1,3
52. Высота орбиты	26,9	33,0	7	1,9	32,0	7	1,4
51:52. Орбитный указатель	71,5	78,0	8	5,3	75,8	6	3,9
52:51a. Указатель орбиты от d.	74,5	82,8	8	5,6	80,9	6	3,9
Назомолярный угол	147,1	143,4	7	7,0	139,7	11	4,1
Зигомаксиллярный угол	133,4	136,1	8	5,5	134,0	8	5,7
SC. Симотическая ширина	7,5	8,2	7	2,1	8,6	9	2,0
SS. Симотическая высота	1,5	3,5	7	1,1	4,2	9	1,0
SS:SC. Симотический указатель	20,0	41,5	8	7,9	50,0	9	13,3
MC. Максиллофронтальная ширина	17,8	20,3	7	3,0	19,3	6	2,6
MS. Максиллофронтальная высота	4,6	6,7	7	1,3	6,9	6	1,0
MS:MC. Максиллофронтальный указатель	25,8	32,6	8	8,2	36,6	6	7,5
DC. Дакриальная ширина	19,1	23,1	8	2,8	21,7	6	3,2
DS. Дакриальная высота	6,0	10,9	7	1,8	11,5	6	2,1
DS:DC. Дакриальный указатель	31,4	46,8	8	7,6	53,8	6	11,6
FC. Глубина клыковой ямки (мм)	2,8	3,4	8	1,6	3,8	8	1,7
Высота изгиба скуловой кости (по By)	11,3	11,5	8	2,0	11,9	6	1,4
Ширина скуловой кости (по By)	44,6	51,9	8	3,5	55,6	6	2,3
Указатель изгиба скуловой кости	25,3	22,8	9	3,5	21,4	6	2,8
32. Угол профиля лба от назиона	86,0	86,4	8	5,5	83,0	6	3,3
GM/FH. Угол профиля лба от гlabelлы	80,0	81,9	8	5,7	76,2	6	3,3
72. Общий угол профиля лица	86,0	86,0	7	5,4	87,67	6	3,08
73. Угол профиля средней части лица	90,0	88,0	7	5,1	89,67	6	3,72
74. Угол профиля альвеолярной части лица	66,0	82,7	7	7,0	81,17	6	6,15
75. Угол наклона носовых костей	71,0	62,5	6	7,1	64,25	4	6,40
75(1). Угол выступания носа	15,0	23,3	6	6,0	22,20	5	4,71
Надпереносье (по Мартину 1–6)	3,0	2,8	8	0,7	4,31	13	1,11
Надбровные дуги (1–3)	2,0	1,8	8	0,5	2,00	13	0,00
Наружный затылочный бугор (по Брука 0–5)	0,0	1,4	8	2,3	1,50	12	2,28
Сосцевидный отросток (1–3)	1,0	2,4	8	0,7	2,92	12	0,29
Передненосовая ость (по Брука 1–5)	1,0	3,9	7	0,9	2,75	8	1,39

Таблица 2. Остеометрические характеристики индивида с гипофизарным нанизмом в сравнении со здоровой частью популяции из Догээ-Баары-2

Признаки	Курган 12, мог. 2		Женщины*		Мужчины*	
	Правая	Левая	x	n	x	n
	x	x				
1	2	3	4	5	6	7
Плечевая кость						
1. Наибольшая длина	—	222,0	295,7	10	322,1	11
2. Общая длина	—	219,0	290,4	9	319,0	10
3. Ширина верхнего эпифиза	—	234,0	44,2	10	49,3	12
4. Ширина нижнего эпифиза	40	43,0	58,9	12	64,6	14
5. Наибольшая ширина середины диафиза	13	13,0	20,9	14	23,1	15
6. Наименьшая ширина середины диафиза	12	12,0	16,2	14	19,1	15
7. Наименьшая окружность диафиза	39	40,0	58,1	13	66,4	14
6:5. Указатель сечения	92,3	92,3	77,8	14	82,3	15
7:1. Указатель прочности	—	18,0	19,0	9	20,8	10
Лучевая кость						
2. Физиологическая длина	154	154,0	217,0	6	234,2	9
Локтевая кость						
2. Физиологическая длина	162	162,0	220,5	6	237,4	7
Ключица						
1. Наибольшая длина	108	104,0	136,1	7	153,3	4
6. Окружность середины диафиза	24	24,0	34,1	7	40,2	5
6:1. Указатель массивности	22,2	23,1	25,2	7	26,6	4
Бедренная кость						
1. Наибольшая длина	—	306,0	412,2	12	448,3	7
2. Длина в естественном положении	—	305,0	408,9	12	446,3	7
21. Мышцелковая ширина	—	54,0	72,9	10	81,5	8
6. Сагиттальный диаметр середины диафиза	—	16,0	24,3	12	28,6	9
7. Поперечный диаметр середины диафиза	—	14,0	25,2	12	29,6	9
9. Верхний поперечный диаметр диафиза	—	14,0	30,8	13	32,6	10
10. Верхний сагиттальный диаметр диафиза	—	16,0	21,6	13	26,3	10
8. Окружность середины диафиза	—	48,0	78,0	12	91,6	9
8:2. Указатель массивности	—	15,7	19,2	11	20,5	7
6:7. Указатель пиястрии	—	114,3	97,1	12	96,8	9
10:9. Указатель платимерии	—	114,3	70,7	13	80,7	10
Большая берцовая кость						
1. Полная длина	237	237,0	341,7	16	367,7	7
5. Ширина верхнего эпифиза	48	48,0	69,2	13	76,7	7
8. Сагиттальный диаметр на уровне середины диафиза	17	17,0	26,8	16	30,6	11
8a. Сагиттальный диаметр на уровне питательного отверстия	17	18,0	30,5	16	35,6	11
9. Поперечный диаметр на уровне середины диафиза	14	13,0	20,1	16	22,1	11
9a. Поперечный диаметр на уровне питательного отверстия	15	14,0	22,4	16	24,3	11
10. Окружность на уровне середины диафиза	48	49,0	74,8	16	84,1	11

Окончание табл. 2

1	2	3	4	5	6	7
10b. Наименьшая окружность диафиза	45	45,0	68,1	16	75,5	11
9a:8a. Указатель сечения	88,2	77,8	73,5	16	68,2	11
10b:1. Указатель массивности	19	19,0	20,0	15	20,6	6
Пропорции скелета						
Берцово-бедренный указатель (T1:F2)	—	77,7	80,4	5	83,0	5
Плечебедренный указатель (H1:F2)	—	72,8	72,4	5	72,1	3
Длина тела						
По Л. Мануврие	107,9 / 109,2**	112,0 / 113,1**	155,1	14	165,5	10
По К. Пирсону и А. Ли	135,0 / 130,5	135,3 / 132,3	154,5	14	165,0	10
По А. Тельккя	—	—	155,7	14	167,1	10
По С. Дюпертию и Д. Хэддену	138,4 / 132,6	137,1 / 132,4	159,0	14	169,5	10
По В.В. Бунаку	—	134,0 / 131,2	155,6	4	167,4	4
По Г.Ф. Дебецу	—	138,0 / 134,5	156,9	4	173,4	4
Средняя длина тела	127,1 / 124,1	131,3 / 128,7	156,1	14	167,2	10

* Средние групповые параметры получены суммированием размеров костей правой и левой стороны.

** Первое число – длина тела, рассчитанная для индивида мужского пола, второе – женского.

основание с большей вероятностью определить пол погребенного как мужской. Сопоставление продольных размеров длинных костей с данными стандартных таблиц, составленных по современным детским и подростковым остеологическим сериям [Федосова, 2003; Bass, 1987], позволяет соотнести кости из Догээ-Баары-2 со скелетами детей в возрасте семи лет. Вычисления длины тела по формулам, предназначенным как для мужчин, так и для женщин, дали средние величины в интервале от 124 до 131 см, что более соответствует особи мужского пола.

Такие расово-диагностические показатели, как углы горизонтальной уплощенности лица, указывают на монголоидный тип и не выделяются из вариационного ряда всей популяции.

Охарактеризуем индивидуальные особенности скелета. Пропорции черепа (рис. 1) гармоничные. На левой теменной кости выявлено небольшое вдавленное травматическое повреждение наружной кортикальной пластинки (рис. 1, 1); на чешуе лобной кости – округлое повреждение наружной компактной пластинки (рис. 1, 2), его края ровные, приподнятые (не исключено, что это след хорошо зажившего повреждения). Швы сформированы. Задние отделы сагиттального и частично ламбдовидного швов практически закрыты.

На нижней челюсти (рис. 2) нет резцов, второго левого премоляра и левых моляров. Альвеолярная часть на их месте атрофирована (рис. 2, 1). Коронки больших коренных зубов справа стерты до половины (рис. 2, 5). На всех зубах присутствуют признаки зубного камня; их корни оголены на треть, что характеризует развитие пародонтоза 2-й стадии. Один из

премоляров остался в альвеоле. По всей видимости, прорезывание зубов было затруднено из-за небольших размеров челюсти. Головка нижней челюсти справа практически отсутствует (рис. 2, 2), слева – маленьких размеров (рис. 2, 3) с деструктурированной суставной поверхностью (обнажено губчатое вещество). Клинически такие изменения проявляются тугоподвижностью в суставах и выраженным болевым синдромом. Бугристость в области наружной поверхности угла (место прикрепления жевательной мышцы *m. masseter*) практически отсутствует с обеих сторон, на внутренней поверхности угла (место прикрепления внутренней крыловидной мышцы *m. pterygoideus medialis*) она выражена отчетливо. Указанные мышцы поднимают нижнюю челюсть и в функциональном отношении являются синергистами. Изменения в состоянии апофизов могут быть связаны с перераспределением биомеханической нагрузки в группе жевательных мышц из-за болевых ощущений в височно-нижнечелюстном суставе. Подбородочное отверстие смещено кзади и находится на уровне первого моляра (в норме на уровне первого премоляра или между премолярами) (рис. 2, 4). По совокупности признаков, характеризующих состояние зубочелюстной системы, можно предположить, что возраст погребенного не менее 45 лет.

В позвоночном отделе (рис. 3) выявлено небольшое снижение высоты тела первого поясничного позвонка (рис. 3, 1). Дегенеративно-дистрофические изменения не определяются. Платиспондилия отсутствует. В крестцовом отделе нет признаков синостозирования позвонков (рис. 3, 2).



Rис. 1. Череп. Латеральная норма.

1 – травматическое повреждение наружной кортикальной пластиинки; 2 – повреждение наружной компактной пластиинки.

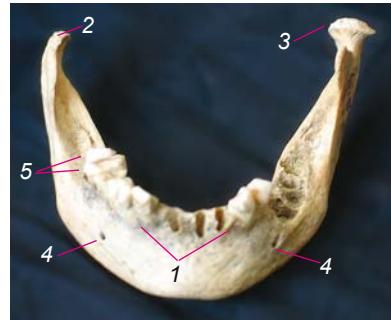


Рис. 2. Нижняя челюсть.
1 – атрофические изменения альвеолярного отростка; 2 – правая головка нижней челюсти; 3 – левая головка нижней челюсти; 4 – смещенное расположение подбородочного отверстия; 5 – особенности изношенности коронок моляров.



Рис. 3. Позвоночный столб.
1 – снижение высоты тела первого поясничного позвонка; 2 – отсутствие признаков синостозирования позвонков крестцового отдела.

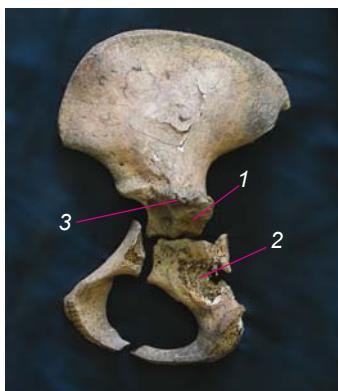


Рис. 4. Кости таза.
1 – особенности строения вертлужной впадины; 2, 3 – признаки воспалительного процесса.

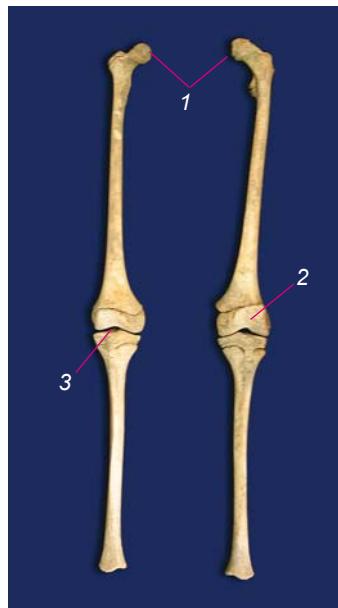


Рис. 5. Кости нижних конечностей.

1 – особенности строения головок бедренных костей; 2 – дистальный эпифиз левой бедренной кости; 3 – проксимальный эпифиз правой большой берцовой кости.

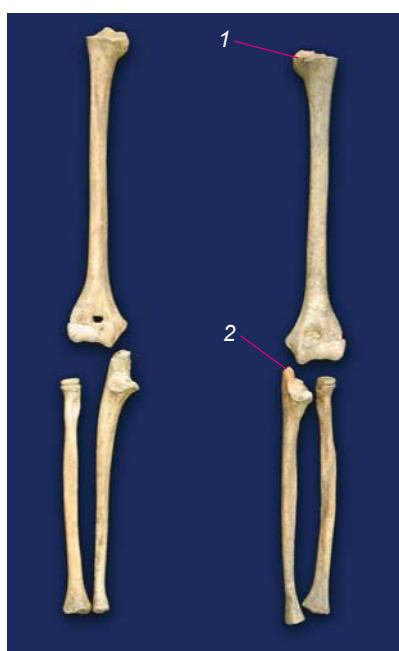


Рис. 6. Особенности строения грудины.

Рис. 7. Кости верхних конечностей.
1 – проксимальный эпифиз левой плечевой кости;
2 – проксимальный эпифиз левой локтевой кости.

Кости таза (рис. 4) лежат отдельно. Синостозирование не произошло. На фрагментах вертлужной впадины суставная поверхность (*facies lunatum*) отсутствует (рис. 4, 1). На участке седалищной кости (рис. 4, 2) и наружной поверхности гребня подвздошной (рис. 4, 3) выявлены признаки воспалительного процесса.

Головки бедренных костей (рис. 5) маленьких размеров, суставная поверхность отсутствует (рис. 5, 1). В области эпифизов и апофизов (большой и малый вертелы) сохранились зоны роста. Диафизы тонкие. Нижний метафиз растрескавшись расширен, сохранены ростковые зоны. Кости асимметричны. Левая длиннее за счет более крупного дистального эпифиза (рис. 5, 2). На дистальном эпифизе правой бедренной кости межмыщелковая ямка выражена плохо, а на соответствующем проксимальном большеберцовой кости контуры межмыщелкового возвышения слажены (рис. 5, 3). Медиальные лодыжки отсутствуют. Максимальная длина левых костей существенно больше. Апофизы развиты слабо.

Грудина (рис. 6) состоит из пяти отдельных фрагментов. Общая длина ок. 11 см. Ребра длинные, угол слабо выражен, 12-я пара отсутствует.

Головки плечевых костей (рис. 7) разрушены, левая отсутствует (рис. 7, 1), обнажено губчатое вещество метафиза. Дистальные эпифизы сохранились лучше. На проксимальных эпифизах лучевых костей визуально определяются зоны роста. На левой локтевой отсутствует olecranon (рис. 7, 2). Апофизы обозначены крайне слабо.

Гистологическое исследование образцов костной ткани позволило выявить существенные нарушения в ее структуре и в зонах роста. Так, в компактном веществе (рис. 8) определяются многочисленные микропереломы (рис. 8, 1) и базофильные линии (рис. 8, 4) – следы перестроек костного вещества. Сосудистые полости (гаверсовы каналы) (рис. 8, 2) расположены очень редко. В некоторых клетках (остеоцитах) сохранились ядра (рис. 8, 3). Концентрические костные пластинки базисных структурных единиц компактного вещества (остеонов, или гаверсовых систем) не выявляются.

В губчатом веществе (рис. 9) наблюдаются истончение костных перекладин, его базисных структурных единиц (рис. 9, 1), и нарушение связей между ними (рис. 9, 2), а также микропереломы (рис. 9, 3, 4). Поразителен факт сохранности хрящевой ткани, в т.ч. и фрагмента зоны роста в области основания большого вертела (рис. 10, 1). Она локализуется среди атрофичных костных структур со следами перестройки (рис. 10, 3, 4). Окраска альциановым синим выявляет наличие протеогликанов (интенсивно синий цвет) (рис. 10, 2), лакуны хондроцитов и

даже фрагменты их разрушенных ядер (рис. 11, 1). Тенденция к замещению хряща костной тканью не прослеживается, поскольку отсутствуют сосуды, питающие прилежащую кость. Базофильные линии в костных балках (рис. 11, 2) свидетельствуют о перестройке костной ткани. Сохранившаяся зона роста морфологически очень изменена (рис. 12). Хондробласты (один из слоев ростковой зоны) формируют подобие колонковых структур неправильной формы – колонка ската сверху вниз (рис. 12, 2). Это признак порочного костеобразования. В матриксе (рис. 12, 2) сохранились протеогликаны (окрашены синим цветом). Расширенные полости в хрящевой ткани являются свидетельством дистрофических изменений (рис. 12, 3).

Опираясь на данные гистологического исследования, можно сделать вывод о многочисленных структурных нарушениях в костной и хрящевой тканях: проявлении остеопороза с нарушением связей между балками в губчатом веществе, функциональной недостаточности компактного вещества диафизов длинных костей (микропереломы), дистрофических изменениях в матриксе хрящевой ткани, признаках несовершенного остеогенеза.

Таким образом, изучение скелета на макроскопическом (визуальная оценка признаков патологии) и стандартное антропометрическое исследование) и микроскопическом (гистологический анализ костной ткани) уровнях обнаруживает клинические проявления недостаточной функции передней доли гипофиза. Они заключаются в карликовости при сохранении нормальных пропорций тела, отсутствии синостозов в костях посткраниального скелета и выраженных вторичных половых признаков. Торможение процессов остеогенеза и роста внутренних органов наступает чаще всего в четырех–шестилетнем возрасте. Для скелета типично отсутствие синостозов в длинных костях [Волков, 1968; Лагунова, 1989; Ревелл, 1993; Русаков, 1959; Суслова, 1989].

Соматотропный гормон (СТГ) передней доли гипофиза, вернее, его соматомедины влияют на выработку в печени инсулиноподобного фактора, способствующего хондропластическому и периостальному росту кости, увеличению размеров скелета. Мишеню для СТГ является хрящевая ткань, в частности эпифизарная пластинка, в которой под влиянием СТГ усиливается пролиферация хрящевых клеток с последующей их минерализацией [Быков, 2001; Лавренцова, Оноприенко, 1996; Риггз, Милтон, 2000; Родионова, 1989].

Гипофизарный нанизм – заболевание, связанное с недостаточной выработкой СТГ при недоразвитии гипофиза, воспалительном или опухолевом процессе в нем. При этом снижается выработка других гор-

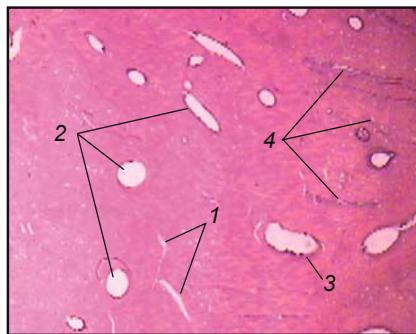


Рис. 8. Декальцинированный препарат кортикальной костной ткани. Окраска гематоксилином и эозином.

1 – микропереломы; 2 – сосудистые полости; 3 – ядро остеоцита; 4 – базофильные линии.

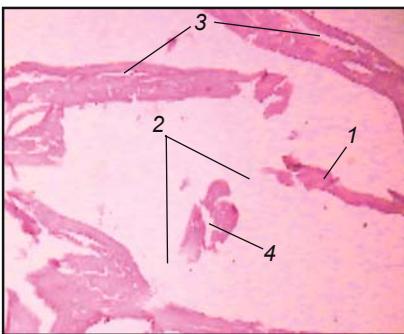


Рис. 9. Губчатая костная ткань (большой вертел бедренной кости). Окраска гематоксилином и эозином. Микроанатомическая картина остеопороза: 1 – тонкие, атрофичные костные балки; 2 – нарушение связи между костными перекладинами (балками); 3 – продольные микропереломы; 4 – перечные микропереломы.

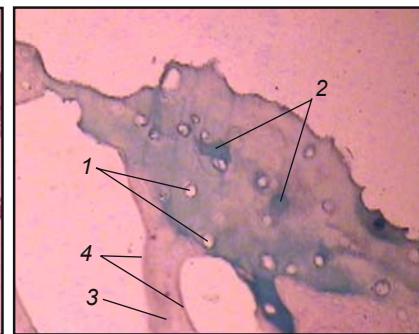


Рис. 10. Участок большого вертлела бедренной кости. Окраска альциановым синим.

1 – хрящевые лакуны; 2 – хрящевая ткань; 3 – атрофичные костные структуры; 4 – следы перестройки костных структур.

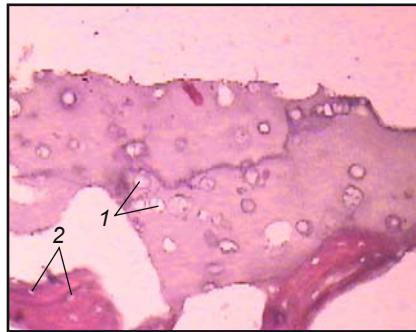


Рис. 11. Участок большого вертлела.

1 – окрашенные матриксы хрящевых лакун и ядра хондробластов; 2 – базофильные линии в костных балках.

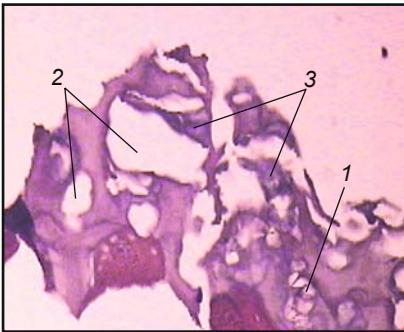


Рис. 12. Участок большого вертлела. Зона роста. Окраска альциановым синим.

1 – колонковые структуры; 2 – матрикс с сохранившимися протеогликанами (окрашены синим цветом); 3 – полости в хрящевой ткани.

монов – тиреотропного, гонадотропного. Дефицит СТГ тормозит остео- и хондрогенез во всех отделах скелета, который выглядит недоразвитым. Хондропластический рост кости иногда сохраняется. Но формирование костной субстанции на поверхности хряща не сопровождается его перестройкой. Микроскопически в толще костных структур определяются островки хрящевой ткани, что служит показателем торможения костеобразовательных процессов. Резорбция также замедляется, в результате чего в костном веществе обычно обнаруживаются старые, не подвергшиеся перестройке костные структуры [Лагунова, 1989; Риггз, Милтон, 2000; Ревелл, 1993; Суслова, 1989].

Структурная неполноценность костной ткани при гипофизарном нанизме определяет механическую непрочность костей скелета. Следствием этого

являются следы заживших старых переломов, микропереломы костных перекладин, множественные или ограниченные остеохондропатии с поражением всех костей скелета [Некачалов, 2000; Русаков, 1959]. В нашем случае клиническая картина, характерная для гипофизарной недостаточности, существенно отягощается выраженным проявлением эпифизарной дисплазии [Лагунова, 1989; Суслова, 1989]. Наиболее пораженными оказались тазобедренные, плечевые и височно-нижнечелюстные суставы. Поражение проксимальных отделов скелета является одним из ведущих признаков этой патологии. Сочетание гипофизарных расстройств с тяжелой формой эпифизарной дисплазии усугубляет клиническую картину, которая проявляется в тугоподвижности вышеперечисленных суставов, тяжелых контрактурах и болевом синдроме. Кроме этого, выявляются последствия воспалительного процесса в костях таза, асептический некроз головки левой плечевой кости и головки нижней челюсти.

Выходы

Всестороннее исследование скелета из кургана ранних кочевников на территории Тувы (уюкско-саглынская культура, VI–IV вв. до н.э.) позволило диагностировать гипофизарный нанизм. Пол погребенного

с большей вероятностью может быть определен как мужской, хотя у людей с такой патологией вторичные половые признаки выражены очень слабо. “Утиная” походка, хромота, бочкообразная форма грудной клетки, возможно, сколиоз, постоянные страдания от боли в суставах и их тугоподвижности – отличительные особенности человека, реконструируемые по исследованному нами скелету. Все это, а также выявленное слабое развитие апофизов верхних и нижних конечностей предполагают малоподвижный образ жизни и, как следствие, возможное ожирение. На черепе имеются зажившие следы травм; вполне вероятно, что индивид не один раз становился объектом насилия. Нельзя исключить и насильственную смерть в результате черепно-мозговой травмы. Тем не менее погребенный умер в возрасте не моложе 45 лет. Следовательно, он прожил долгую жизнь, что является уникальным случаем при гипофизарном нанизме, отягощенном эпифизарной дисплазией, даже при современном уровне развития медицинских технологий.

Список литературы

- Быков Н.А.** Цитология и общая гистология. – СПб.: Sotis, 2001. – 519 с.
- Волков М.В.** Костная патология детского возраста. – М.: Медицина, 1968. – 496 с.
- Лавренцова Г.И., Оноприенко Г.А.** Морфологические и клинические аспекты репаративной регенерации опорных органов и тканей. – М.: Медицина, 1996. – 396 с.
- Лагунова И.Г.** Клинико-рентгенологическая диагностика дисплазий скелета. – М.: Медицина, 1989. – 255 с.

Некачалов В.В. Патология костей и суставов. – СПб.: Sotis, 2000. – 285 с.

Ревелл П.А. Патология кости: Пер. с англ. – М.: Медицина, 1993. – 368 с.

Риггз Л., Милтон Дж. А. Остеопороз: этиология, диагностика, лечение: Пер. с англ. – СПб.: Невский диалект, 2000. – 558 с.

Родионова Н.В. Функциональная морфология клеток в остеогенезе. – Киев: Наук. думка, 1989. – 287 с.

Русаков А.В. Патологическая анатомия болезней костной системы: Введение в физиологию и патологию костной ткани. – М.: Наука, 1959. – 476 с.

Суслова О.Я. Рентгенодиагностика повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата. – М.: Здоровье, 1989. – 251 с.

Федосова В.Н. Анализ процессов роста и развития в палеопопуляциях // Горизонты антропологии. – М.: Наука, 2003. – С. 521–530.

Хэм А., Кормак Д. Гистология. – М.: Мир, 1983. – Т. 3. – 291 с.

Bass W.M. Human osteology. – Third ed. – [S.l.]: Missouri Archaeological Society, 1987. – Sp. Publ. N 2. – 327 p.

Chugunov K.V. Der skithenzeitlich Kulturwandel in Tuva // Eurasia Antiqua. – Meinz am Rhein; Berlin, 1998. – Bd. 4. – P. 273–308.

Frost H. M. Intermediary organization of the skeleton. – Boca Raton F. L.: CRC Press, 1989. – 389 p.

Ohrtner J.D., Hotz G. Skeletal manifestations of hypothyroidism from Switzerland // Amer. J. Phys. Anthropol. – 2005. –Vol. 127. – P. 1–6.

Shultz M. Paleohistopathology of bone: a new approach to the study of ancient diseases // Year books of physical anthropology: Supplement to the American Journal of Physical Anthropology. – 2001. – Vol. 44. – P. 106–147.

Материал поступил в редакцию 28.10.05 г.

УДК 572

А.П. Бужилова, М.В. Добровольская, М.Б. Медникова

Институт археологии РАН

ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 117036, Россия

E-mail: albu_pa@mail.ru

**К ПРОБЛЕМЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
НАСЕЛЕНИЯ БАРАБИНСКОЙ СТЕПИ**
**(анализ травм и повреждений
по антропологическим материалам серии Сопка-2)**

В рамках научно-исследовательского проекта, осуществляемого под руководством Т.А. Чикишевой, в 2003 г. были начаты комплексные исследования антропологических материалов из могильника Сопка-2, относящихся к разным хронологическим периодам (автор раскопок В.И. Молодин).

На основании специальной программы антропологического обследования ископаемых материалов с целью реконструкции природной и социальной среды [Историческая экология..., 1998] были описаны различные морфологические и патологические изменения по костным остаткам 595 индивидов различного пола и возраста. Поскольку в ходе многолетних раскопок при формировании коллекции комплектность скелетов определялась избирательно, из общего числа изученных индивидов только у 345 были оставлены кости посткраниального скелета той или иной степени сохранности. Поэтому намеченный план статистического изучения некоторых индикаторов физиологического стресса осуществить в полной мере не удалось. Тем не менее большая численность серии и разделение основной массы на хронологические периоды согласно археологическим культурам* позволили обнаружить и подтвердить некоторые тенденции в распределении разных групп морфологических и патологических маркеров.

Представленная работа отражает только часть проведенного исследования и касается нескольких важных

для археологии проблем. Во-первых, это реконструкция социального окружения изучаемого населения и анализ взаимоотношений различных общественных категорий в группе, осуществленные методами антропологии. Известно, что показатель распространения черепных травм является своеобразным маркером агрессивности и неблагополучия социальной атмосферы в популяции. Кроме того, характер и локализация на скелете переломов косвенным образом указывают на определенную общественную обстановку, в которой могли складываться те или иные травмоопасные ситуации. Следовательно, разбор характерных травм и повреждений на черепе и костях скелета дает информацию, косвенно свидетельствующую о социальных взаимоотношениях в древней группе. Палеопатологический анализ скелетных серий определенных хронологических периодов не раз демонстрировал правоту этого тезиса (см., напр., обзор: [Бужилова, 2005]).

Во-вторых, это исследование скелетных повреждений, отражающих манипуляции с головой и телом. Разнообразный общественный опыт обращения с телом человека может выражаться на антропологическом материале в виде перфораций, насечек, вдавленных переломов, нарушения целостности кости в определенных топографических зонах. Это, в первую очередь, последствия декапитации, скальпирования, ритуальной фрагментации тела, каннибализма и проч. [Бужилова, Внуков, Антипина, 1999; Медникова, Лебединская, 1999; Медникова, 2000; Бужилова и др., 2002; Сыроватко, Козловская, 2004].

Часть манипуляций, касающихся повреждений на черепе, в результате дифференциальной диагностики

* Авторы приносят благодарность А.Е. Гришину за предоставление информации о распределении материалов могильника по археологическим культурам.

можно отнести к трепанациям. Следует заметить, что лечебные аспекты такого хирургического воздействия на череп тесно переплетаются с ритуальными. Опираясь на данные палеопатологии, можно заключить: уже в ранние эпохи многие варианты трепанаций – это последствия оперативного вмешательства при лечении черепных травм. Тем не менее остается немаловажным пласт наблюдений, показывающий, что трепанацию можно рассматривать и как средство превращения и инициации, поскольку как культурный феномен древнего мира она стоит в одном ряду с другими “способами превращения”: психотропными веществами, экстатическими танцами, масками и остальными явлениями, хорошо известными этнографам. В этом действии в наиболее архаической форме прослеживается изначальный синcretизм мышления человека, объединявшего в неразвернутом единстве зерна искусства, религии, донаучных представлений о природе и обществе [Медникова, 2001].

Материалы к реконструкции бытовых ситуаций

Немалый массив исследованных черепов – 211 индивидов мужского, 259 женского и 125 неопределенного пола (в т.ч. 37 детского и подросткового возраста) – показал, что травмы и повреждения на черепе характерны для взрослой части населения.

Условно выявленные повреждения на черепе можно разделить на две категории: 1) с элементами заживления костной ткани в местах нарушения ее целостности; 2) посмертные и/или полученные незадолго до смерти либо в момент ее. Благодаря проведенной дифференциальной диагностике в каждой из выделенных групп намечаются установленные варианты.

Травмы с признаками заживления костной ткани встречаются в 4,7 % случаев в мужской и в 4,3 % случаев в женской выборке (10 и 11 наблюдений соответственно). Это средние значения для показателей черепного травматизма, однако отсутствие закономерного полового диморфизма косвенным образом указывает на некоторое социальное напряжение, возможно существовавшее в определенные хронологические периоды. Его объективные причины могут быть реконструированы только при комплексном привлечении источников.

Рассмотрим выявленные варианты для реконструкции социальной обстановки, в которой могли быть получены повреждения. У мужчин зрелого (№ 62 “А”, кург. 6, погр. 10) и молодого (№ 325) возраста отмечены зажившие переломы носовых костей. В первом случае травма получена от прямого контактного удара, во втором – от удара с правой стороны, т.е. в первом эпизоде мужчина не успел отреагировать на удар, а во втором – отклонился влево от хука справа. Данные индивиды – носители кротовской культуры разных этапов. Зажив-

ший перелом носовых костей от удара справа зафиксирован и у молодого мужчины (№ 630), погребение которого датируется федоровским этапом андроновской культуры. К разряду лицевых травм можно отнести и повреждения передних зубов у мужчины зрелого возраста (№ 400, кург. 57, погр. 5) (рис. 1). Особенности погребального комплекса указывают на его принадлежность к одному из этапов кротовской культуры.

В женской выборке зажившие переломы носовых костей зафиксированы в восьми случаях. Это индивиды молодого и зрелого возраста (№ 81 “Б”; 140; 171 “В”, кург. 22, погр. 26; № 180 “А”; 235, кург. 25, погр. 17; № 351; 479, кург. 60, погр. 1; № 656 “А”). По характеру повреждений можно заключить, что большая их часть получена от прямого удара и в одном случае – от удара слева, т.е. женщина, пытаясь уклониться, отступила чуть назад и вправо. Подавляющее большинство индивидов женской подгруппы – носители кротовской культуры, только два датируются более ранней (игрековская культура, № 656 “А”) и поздней (ранние тюрки, № 351) эпохами. К периоду кротовской культуры относится и еще один случай травмы лица у женщины зрелого возраста (№ 44, кург. 4, погр. 1). Это последствие удара по лицу в область передних зубов верхней челюсти. Часть коронок сломана. Кроме того, фиксируется изменение цвета травмированных зубов из-за общего воспалительного процесса.

Таким образом, выделенные лицевые травмы наиболее часто встречаются у женщин (3,5 %) и реже – у мужчин (1,9 %). Обращаем внимание, что объяснение относительно повышенного уровня травматизма в женской части кротовского населения определенно лежит в плоскости гендерных взаимоотношений, т.к. половина заживших черепных травм у женщин – это последствие от удара по носу (6 из 11 наблюдений). Очевидно, мужчины позволяли себе выяснять отношения посредством физического воздействия, причем, судя по характеру лицевых травм, женщины не уклонялись от неизбежной расправы.

Об элементах прямой агрессии свидетельствуют и другие повреждения черепа. Так, у нескольких индивидов зафиксированы разного рода повреждения лобной кости, нанесенные оружием с острым, возможно режущим, краем. По сути, так же, как и у описанных выше, это травмы от прямого удара нападающего, расположенного лицом к лицу потерпевшего. Черепа двух мужчин возмужалого возраста (№ 86, кург. 12, погр. 5 и № 181, мог. 59) демонстрируют зажившие дефекты длиной от 2 до 3,5 см и не превышающие 1 см в ширину. Эти рубцы расположены либо в центре лобной кости, либо с отклонением в левую сторону, т.е. удар был нанесен правой. Заметим, что данные индивиды – носители разных археологических культур: кротовской (№ 181) и ранних тюрков (№ 86). В многочисленной женской выборке отмечен только один сходный случай – на черепе

молодой девушки (кровервская культура) рассечена надорбитальная область слева (№ 81 "Б", кург. 11, погр. 4). Кроме того, на нем обнаружен заживший перелом носовых костей. Как видим, число заживших лицевых травм от удара оружием с острым краем невелико. Это может быть следствием случайных проявлений агрессии, не отражающих каких-либо массовых столкновений в регионе. Тем не менее косвенное подтверждение наличия оружия, которым наносится травма в лицевую область, редко заканчивающаяся заживлением, указывает на то, что такие эпизоды были в жизни носителей нескольких культур, преимущественно кровервской и ранних тюрков.

Два других варианта повреждений отличаются от предыдущих локализацией: они отмечены на теменных костях и в затылочной области. Это зажившие рубцы и последствия вдавленных переломов. Варианты объединяются сходством позиций нападавшего и жертвы – все удары нанесены сзади и правшами.

На двух черепах разновозрастных мужчин фиксируются продолговатые шрамы на теменных костях с левой стороны (кург. 60, погр. 80, тр. V; № 341 "Б"). Длина рубцов не превышает 1–2 см, что косвенно свидетельствует о скользящей траектории ударов. Вероятно, несмотря на то что нападавший находился сзади, жертва успевала отреагировать на агрессивные воздействия, пытаясь уклониться. Один индивид идентифицируется как носитель грековской культуры (№ 341), культурная принадлежность другого не определена.

Вдавленные повреждения от удара тупым предметом в затылочную область отмечены не только у мужчин (№ 7, кург. 1, погр. 7; № 394, кург. 55, погр. 1; № 459, кург. 58, погр. 60; № 607 "Д"), но и у женщины (№ 647). Размеры вмятин небольшие, вероятно, удары были нанесены не очень тяжелыми предметами. Возможно, это последствия бытовых травм, характерных для разных социальных групп. Такие повреждения отмечены как у носителей кровервской (№ 7, 459), грековской (№ 607), подчевашской (№ 647) культур, так и у ранних тюрков (№ 394).

Травмы черепа без следов заживления более дискуссионны, т.к. трудно оценить реальность совершенной манипуляции. Тем не менее повторы характерных по форме повреждений в определенной области черепа и отсутствие "свежих" сколов в месте дефекта могут указывать на то, что это посмертные травмы, отражающие последствия агрессии в момент смерти индивида или незадолго до нее либо ритуальных манипуляций (последнее обсудим в специальном разделе).

Мы обратили внимание на 21 случай повреждений без следов заживления (11 и 10 наблюдений соответственно у мужчин и женщин). В мужской выборке доля и разнообразие таких повреждений заметно выше, чем в женской (5,2 % против 3,9 %). Анализ дефектов по типу функциональных аналогий позволил выделить несколько вариантов травм. Часть из них напоминает по

локализации рассмотренные выше повреждения с элементами заживления. Это рубцы от ударов по лобной кости у мужчин (№ 475, 491, 594) и женщин (№ 102, кург. 15, погр. 8; № 257, кург. 25, погр. 39; № 267, кург. 25, погр. 49; № 317, кург. 28, погр. 1; № 508, кург. 60, погр. 30). Подобные травмы зафиксированы преимущественно у представителей кровервского населения. Двух индивидов (№ 102, 317, женщины) можно отнести к ранним тюркам и одного (№ 267, женщина) – к носителям подчевашской культуры. Длина рубцов, как и в случаях заживших повреждений, не превышает 3,5 см (рис. 2, 3). На нескольких черепах как мужчин (№ 62 "А", кург. 6, погр. 10; № 573 «Восточный»), так и женщин (мог. 60; № 548; 577 "В") отмечены последствия рубленых ударов в теменно-затылочной области. Причем повреждения нанесены по касательной. Все пострадавшие – носители кровервской культуры, за исключением одного, культурная принадлежность которого не установлена.

Другой вариант – это вдавленные переломы и сквозные повреждения (дырячные переломы) в области лобной кости, обнаруженные только в мужской части выборки. Так, на лобной кости молодого мужчины (№ 243 "Б") отмечена вмятина округлой формы (диаметр не более 2,5 см) без следов заживления. В центре лобной кости другого мужчины (№ 554) зафиксирован дырячный перелом овальной формы диаметром ок. 2 см (рис. 4). Вокруг дефекта видны радиально расположенные трещины; с внутренней стороны черепа по краю овала наблюдается скол нижней пластиинки протяженностью ок. 8 мм. Признаков некротического процесса и заживления ткани не обнаружено. Характеристика повреждения свидетельствует о нанесении резкого удара небольшим предметом по лобной кости [Кустстанович, 1975]. По-видимому, рана стала причиной смерти. Еще у одного черепа молодого мужчины (№ 388 "Б", кург. 50, погр. 2) на лобной кости обнаружено отверстие овальной формы диаметром ок. 2 см. Не замечено признаков как воспалительного процесса, так и заживления. На наш взгляд, описанные травмы могут объединяться не только по локализации дефекта, но и по сходству орудия, которым нанесены повреждения. Как вдавленный перелом, так и проникающие ранения имеют сходную характеристику. Разница лишь в силе удара. Возможно, описанные дефекты лобной кости – последствия удара предметом, запущенным с большой скоростью, т.е. дистанционным оружием (см., напр.: [Бужилова, Масленников 1999]).

Другие варианты проникающих ранений черепа уже в теменно-затылочной области были обнаружены у трех индивидов. Это перфорация, образовавшаяся от удара по теменной кости женщины (№ 524) с левой стороны (рис. 5). Размер овального по форме дефекта примерно 0,9 см. На одной стороне края откололась часть верхней пластиинки, что может свидетельствовать о значительной силе удара. На теменной кости мужчи-



Рис. 1. Повреждение передних зубов вследствие травмы у мужчины зрелого возраста (№ 400).



Рис. 2. Различные варианты повреждений в виде насечек на лобной кости (индивидуы № 594, 267, 317).



Рис. 3. Повреждение черепа от удара оружием с острым краем (индивиду № 508).

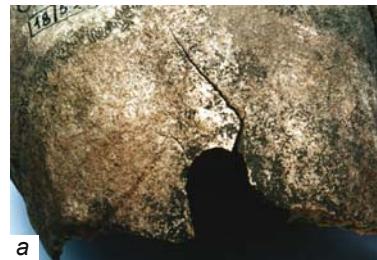


Рис. 4. Дырчатый перелом овальной формы в центре лобной кости мужчины (№ 554).
а – вид с наружной стороны; б – вид с внутренней стороны.



Рис. 7. Следы зажившего перелома в дистальной части костей предплечья левой руки (индивиду № 198).



Рис. 6. Отверстие подквадратной формы $1,5 \times 1,4$ см, расположенное в центре свода черепа мужчины (№ 25) рядом со стреловидным швом.



Рис. 8. Следы зажившей травмы в нижней трети диафизов костей предплечья левой руки (индивиду № 196).

ны (№ 124, кург. 18, погр. 9) обнаружено сквозное отверстие также с отщеплением части верхней пластинки по краю дефекта. Еще одно проникающее ранение зафиксировано на черепе мужчины зрелого возраста (№ 25). Это перфорированное отверстие подквадратной формы $1,5 \times 1,4$ см, расположенное в центре свода рядом со стреловидным швом (рис. 6). Ни на одном из трех черепов признаков воспалительного процесса или заживления костной ткани не обнаружено.

Обратим внимание, что все случаи колотых ранений как в лобной, так и в теменно-затылочной области характерны только для носителей кротовской культуры. Последних также отличает от населения других хронологических этапов большее число повреждений черепа. Это отмечено на примере не только очевидных бытовых травм, но и ранений явно военного характера, в большинстве случаев полученных в момент смерти или незадолго до нее.

Анализ травм посткраниального скелета позволил расширить информационную базу и охарактеризовать некоторые занятия носителей кротовской культуры.

Первую группу травм можно выделить на основе локализации повреждений только на костях предплечий. Например, у индивида № 122 (кург. 18, погр. 7) на правой лучевой кости в верхней части, входящей морфологически в локтевой сустав, наблюдается искривление диафиза по горизонтальной оси кости. Возможно, это последствие травмы. Кроме того, отмечается значительное развитие костного рельефа в местах прикрепления глубоких мышц на правой плечевой кости, а на большеберцовой – признаки вторичного венозного застоя как вероятное последствие тромбофлебита. Представленные маркеры с учетом возможной травмы в области правого локтя свидетельствуют о тяжелом ручном труде индивида, проводившего много времени на ногах.

На левой лучевой кости мужчины (№ 290, кург. 25, погр. 72) обнаружены следы зажившего перелома в нижней трети диафиза. Для посткраниального скелета этого индивида характерно гипертрофированное развитие костного рельефа на костях верхних и нижних конечностей. На ключицах отмечены последствия регулярного физического перенапряжения – энтексопатии в местах прикрепления грудино-ключичной связки и трапециевидной мышцы. Такого рода развитие мышечного покрова мы наблюдали у индивидов, занимавшихся тяжелым ручным трудом. На левом коленном суставе мужчины отмечается артроз с нарушением площади суставной поверхности бедренной кости и значительным развитием т.н. полировки из-за нарушения целостности гиалинового хряща. Очевидно, при жизни индивид хромал.

Посткраниальный скелет мужчины (№ 198) из погр. 52 кург. 22 демонстрирует заживший перелом в дистальной части костей предплечья правой руки. На локтевой кости отчетливо видна линия нарушения ее

целостности и незначительные следы осложнения с признаками воспалительной реакции (рис. 7). Так же, как и у предыдущего индивида, отмечается высокий уровень развития мышц верхнего пояса конечностей.

На локтевой и лучевой костях левой руки другого мужчины (№ 196, кург. 22, погр. 50) наблюдаются следы зажившей травмы в нижней трети диафиза (рис. 8). Нарушение нормальной анатомии костей привело к формированию артоза в лучезапястном суставе. Как и в предыдущих случаях, отмечается высокая степень развития костного рельефа в местах прикрепления мышц и связок на костях верхнего пояса конечностей.

Обнаруженные травмы, специфика распределения маркеров двигательной активности, а также принадлежность трех индивидов (№ 290, 198, 196) к одному этапу кротовской культуры позволяют предположить, что эти мужчины занимались близким по характеру тяжелым ручным трудом. Возможно, их занятие требовало специальных профессиональных навыков. Не исключено, что индивид № 122, относящийся к позднему этапу кротовской культуры, занимался сходным делом.

Вторая группа травм фиксируется на малоберцовых костях нескольких индивидов (№ 3, кург. 1, погр. 3; № 17, кург. 1, погр. 17; № 132, кург. 19, погр. 7; № 230, кург. 25, погр. 12). Как правило, дефекты располагаются почти симметрично на парных костях с наружной стороны. Повреждения в виде неглубоких насечек или поверхностных линзообразных срезов костной ткани находятся под углом примерно 45° к плоскости кости. Линия дефекта идет сверху вниз. Специфика и сходство повреждений позволяют предположить, что такие травмы голени, не приводящие к переломам, могли быть получены в одинаковых ситуациях. Несмотря на то что индивиды – носители одной кротовской культуры, они относятся к разным хронологическим этапам. Следовательно, сходная ситуация, провоцирующая типичные травмы, может отражать традиционные занятия, практиковавшиеся на всех этапах существования этой культуры. Такого рода повреждения голени могли быть следствием падения сверху вниз, например в ямуловушку с острыми клиньями. К сожалению, у нас нет дополнительных сведений, чтобы более или менее четко охарактеризовать ситуацию, приведшую к травме.

Другие виды дефектов определяются нами как последствия вторичного воспалительного процесса, причем не исключено, что в некоторых случаях это могло быть следствием травмы. Так, на левой большеберцовой кости индивида № 142 (кург. 21, погр. 4) ниже большеберцовой бугристости отмечены следы как локального воспаления (первичный очаг?), так и точечных в местах прикрепления некоторых мышц, располагающихся кольцом ниже возможного первичного очага воспаления. Вероятно, это последствия микротравмы при переохлаждении мышц (миозит). У двух индивидов (№ 490, кург. 60, погр. 12; № 57,

кург. 6, погр. 5), относящихся к одному этапу кротовской культуры, отмечен миозит в области прикрепления камбаловидной мышцы на большеберцовой кости.

Подводя предварительные итоги классификации заживших переломов черепа и посткраинального скелета, мы склонны считать, что их подавляющее большинство является следствием бытового травматизма. Некоторые травмы встречаются у носителей разных археологических культур, как ранних, так и более поздних. Однако изучение травм без признаков заживления показало, что рубленых ран и проникающих ранений черепа больше у представителей кротовского населения. Явно выраженные формы агрессии, приведшие к летальному исходу, характерны преимущественно для мужской части этого населения. Возможно, на определенных этапах жизни носителей кротовской культуры имели место военные инциденты. Нельзя не обратить внимание на агрессивность гендерных отношений у этого населения. Многие черепа женщин демонстрируют следы ударов по лицу (зажившие переломы носа, травмы челюсти, выбитые зубы).

Материалы к реконструкции культурных традиций

Выделенные для обсуждения группы повреждений характерны только для мужской части выборки. К первой относятся травмы, обнаруженные на черепах мужчин зрелого возраста – представителей ранних тюрков. Повреждения выражаются в череде насечек (не более 1–2 см) на лобной, иногда еще и теменной костях. Часто они расположены параллельно одна над другой и под углом примерно в 45° по отношению к позиции черепа во франкфуртской горизонтали. Дефекты обнаружены на материалах хорошей сохранности (№ 391 “А”; № 394, кург. 55, погр. 1). Надо заметить, что подобного рода насечки наблюдаются на черепах, подвергшихся процедуре скальпирования. Однако циркулярный характер нанесения повреждений отмечается лишь на одном из рассматриваемых черепов (№ 391 “А”), на другом они располагаются только в области ближе к венечному шву. Возможно, последний случай отражает процедуру частичного удаления кожи с волосяным покровом и именно в верхней части лба. Заметим, что следов заживления не отмечено.

Если принять гипотезу о бытовании у ранних тюрков традиции скальпирования, то сразу следует отбросить медицинский характер операции. Во-первых, у нас нет оснований говорить о проведении частичного скальпирования с целью хирургического вмешательства для лечения травм черепа. Так, в одном случае (№ 394) зафиксированы следы зажившей черепной травмы в затылочной области, но не лобной, где обнаружены насечки; в другом (№ 391) вообще нет свидетельств внешних

повреждений на черепе. Во-вторых, все замеченные насечки не имеют признаков воспалительного процесса или заживления. Вероятно, перед нами следы посмертного манипулирования с головой человека. Возможно, это элементы ритуальных воинских традиций.

К сожалению, мы не можем указать синхронные и близкие территориально памятники, где по данным палеоантропологии известны подобные случаи. У кочевников южно-русских степей эпохи бронзы этот обычай, по-видимому, был распространен [Медникова, 2001, с. 183–184]. Традиция посмертного скальпирования в одной из групп сарматов была недавно описана по антропологическим материалам [Перерва, 2005]. Этот обряд, возможно, практиковался и у скифов, т.к. есть тому свидетельства письменных источников (Геродот. История, IV: 64). У племен скифского круга на Алтае такой обычай реконструируется при анализе останков мумии вождя из Второго Пазырыкского кургана. Вспомним известное мнение С.И. Руденко [1953, с. 264, табл. XVIII] об этой находке как о свидетельстве существования подобного рода военных обычая. Как видим, намечается определенная тенденция, позволяющая говорить о бытовании традиции скальпирования у разных кочевых народов Евразии.

Другая группа повреждений на черепе может классифицироваться как последствия трепанации. Всего зафиксировано пять случаев, один из которых весьма дискуссионный. Все черепа принадлежат мужчинам молодого и более зрелого возраста.

На теменной кости индивида № 66 (кург. 6, погр. 14, неолит) справа в 3,4 см от стреловидного шва и 3 см от венечного обнаружено округлое отверстие размером ок. 2,2 × 2,1 см. По внешнему краю нет трещин или следов, указывающих на последствия прямого контактного удара (рис. 9). Обратим внимание, что повреждена, в первую очередь, верхняя пластинка черепа. Такие травмы с поверхностным повреждением наружной костной пластинки и частично губчатого вещества возможны при ударе тупым предметом большого размера. Нельзя игнорировать и вероятность трепанации черепа. Если допустить, что это трепанация, а не травма, то она могла быть выполнена т.н. методом соскабливания. По внешнему краю отверстия не обнаружено характерных для этой процедуры последствий в виде более или менее регулярных нарушений целостности верхней пластинки черепа. Данное обстоятельство не позволяет определенно говорить об оперативном вмешательстве. Анализ повреждения с внутренней стороны черепа показал, что нижняя костная пластинка не отколота по краю отверстия, как часто бывает при вдавленном переломе. Однако этой особенности недостаточно для констатации факта трепанации. Благодаря прочности теменной кости при ударе тупым предметом могло не образоваться значительное по размеру отверстие с характерными повреждениями нижней пластинки.



Рис. 9. Перфорация на теменной кости черепа мужчины (№ 66).

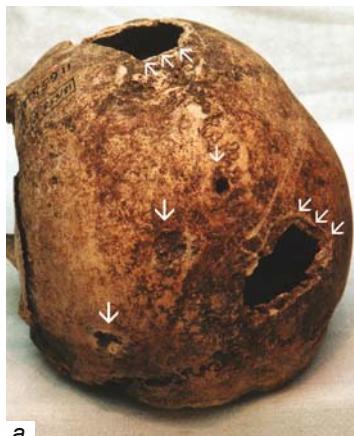


Рис. 10. Следы сверления размером $7,5 \times 7,0$ см на фрагменте свода черепа (№ 622 "А").
а – вид с наружной стороны,
б – с внутренней.

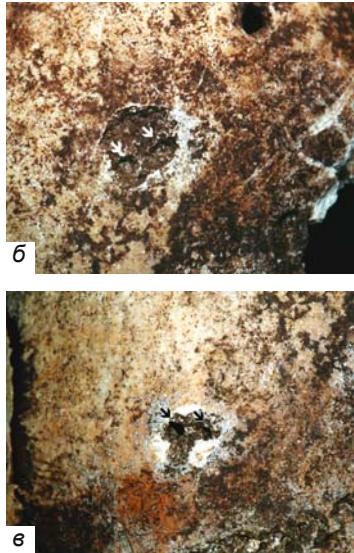


Рис. 12. Варианты повреждений на черепе мужчины (№ 658 "И").
а – окружные дефекты, располагающиеся попарно на теменной кости и вместе образующие прямую линию;
б, в – увеличенные парные дефекты;
г – поздние повреждения, нарушающие часть прижизненной травмы.



Рис. 11. Перфорация на черепе молодого мужчины (№ 340, кург. 31, погр. 10).

Итак, подобные дефекты могут быть при вдавленном переломе с повреждением верхней пластиинки и частично губчатого вещества. При такой травме активный воспалительный процесс расширяет зону повреждения, которая, как правило, повторяет форму изначального дефекта. Предполагаемая перфорация, даже при незначительной по объему вскрытой площади, при наличии осложненного воспалительного процесса может привести к проникновению инфекции в полость черепа. Заметим, что отсутствие характерного "заплыивания" губчатой ткани под верхнюю пластиинку черепа, а также фрагментарное нарушение целостности нижней пластиинки в виде отверстия неправильной формы и частичное смыкание верхней и нижней пластиинок на этом участке перфорации указывают на активный некротический процесс. На внешней поверхности свода черепа вокруг отверстия не отмечено каких-либо следов повреждения костной ткани и воспаления. Вероятно, мужчина скончался достаточно быстро от общего заражения крови, наступившего при активном некротическом процессе с проникновением инфекции в полость черепа. Допуская подобное объяснение травмы черепа с последующим осложнением и летальным исходом, не стоит исключать и возможность оперативного вмешательства. Этот случай требует специального исследования с привлечением дополнительных методов.

Как свидетельство несомненных манипуляций с телом умершего можно расценить фрагмент свода черепа размером $7,5 \times 7,0$ см со следами сверления, принадлежавший молодому мужчине (№ 622 "А", энеолит, игрековская культура). В области, близкой к брегме, в точке, примыкающей к стреловидному шву, на левой теменной кости просверлено сквозное отверстие. Его края гладкие и без разломов. Сверление осуществлялось с наружной стороны в сторону эндокрана, в результате чего образовалось воронковидное отверстие, диаметр которого на верхней пластиинке черепа не превышает 1 см (рис. 10, а). В сечении форма дефекта напоминает песочные часы, следовательно, сверлили и с внутренней стороны, где также наблюдается воронкообразное отверстие, его диаметр на нижней пластиинке черепа ок. 1 см (рис. 10, б). При сверлении изнутри образовалась узкая бороздка, окаймляющая отверстие, и разломы кром-

ки нижней пластиинки на лобной и теменной костях. Следов воспаления или заживления не обнаружено.

Как манипуляции методом выскрививания отверстия мы склонны расценивать еще два случая. Они также относятся к хронологическому этапу грековской культуры. Выявлены повреждения на теменной кости слева примерно в той же области, что и на описанном выше краиальном фрагменте. Первое – это перфорация на черепе молодого мужчины из погр. 10 кург. 31 (№ 340). Диаметр отверстия на теменной кости не превышает 1 см. Края ровные, без следов воспаления или заживления. В результате сверления образовалась трещина и произошел частичный разлом прилегающей части (рис. 11). Второе повреждение обнаружено на черепе мужчины зрелого возраста (№ 611 "А"). Диаметр отверстия 0,7 см, т.е. близок к размерам вышеописанных дефектов. Никаких следов реакции костной ткани на повреждение не обнаружено. Очевидно, все рассмотренные случаи – последствия посмертной манипуляции с головой умершего.

На черепе еще одного мужчины зрелого возраста (№ 658 "И") также есть перфорация на левой теменной кости у стреловидного шва и тоже диаметром не более 1 см. Операция, произведенная тем же методом и в той же области теменной кости, что и у остальных индивидов, объединяет этот случай с предыдущими. Однако на данном черепе зафиксированы еще четыре попытки сверления кости, что требует специального обсуждения. Незавершенные перфорации находятся в той же части теменной кости, но ниже, совместно образуя прямую линию (рис. 12, а). Они располагаются попарно на одном и том же расстоянии друг от друга, однако глубина сверления разная (рис. 12, б, в).

У нас нет аналогов для реконструкции обстоятельств этой операции. Все же заметим, что данный череп отличается от предыдущих наличием двух обширных отверстий без каких-либо следов костной реакции. Первое, в поперечном сечении достигающее 4 см, располагается на лобной кости. К сожалению, сохранность краев плохая, мы наблюдаем только следы современных повреждений, особенно с левой стороны и в нижней части дефекта, что, возможно, спровоцировано трещинами, образовавшимися в результате резкого удара в момент смерти индивида (рис. 12, г). Второе, лучше сохранившееся повреждение отмечено в затылочной области на теменной кости справа. Оно подтреугольной формы с одной короткой стороной (не более 2 см) и двумя более или менее равными (см. рис. 12, а). Возможно, это последствия травмы от удара оружием с острым краем, длина которого не превышала 2 см. При ударе оружие застряло в кости и с силой было извлечено, что и привело к отторжению части кости характерной подтреугольной формы.

Вернемся еще раз к повреждению на лобной кости. Если исходить из формы и длины верхнего края по-

вреждения (см. рис. 12, г), которая также не превышает 2 см и образует ровную линию как от удара оружием с острым краем, то становится очевидным схожесть характера двух отверстий. Возможно, лобная кость пострадала сильнее, чем теменная, потому что она менее прочная и сила удара была больше. На лобной кости, как мы указывали, есть радиальные трещины, приведшие к расширению первичного повреждения. Итак, дифференциальная диагностика позволяет утверждать, что мужчина умер от двух смертельных ранений, нанесенных оружием с острым краем, длина которого не превышала 2 см. Впоследствии были произведены посмертные манипуляции в контексте определенного погребального обряда.

Анализ трепанационных отверстий указывает на бытование этой операции у носителей грековской культуры. Использованный метод сверления свидетельствует о виртуозном владении навыками работы с костью. Все обнаруженные перфорации располагаются на теменной кости у стреловидного шва с левой стороны недалеко от брегмы. Это достаточно рискованное для хирургического вмешательства место, т.к. высока опасность повредить венозный синус и вызвать кровотечение с летальным исходом. Безусловно, уровень эмпирических знаний был высок и место вмешательства избиралось не по недоразумению. Вероятнее всего, такого рода трепанации связаны с определенной погребальной обрядностью. Обратим внимание на стойкую приуроченность отверстий к определенным участкам краиума, что позволяет поднять вопрос о существовании соответствующей традиции у носителей грековской культуры. У нас нет прямых аналогов для этого периода и территории, но, опираясь на материалы из других областей Евразии, подчеркнем, что выбор места для трепанационного отверстия именно на левой стороне черепа наблюдается, например, у носителей катакомбной культуры в эпоху средней бронзы на территории степной и лесостепной полосы Восточной Европы. Если в антропологических материалах ямной культуры перфорации в обозначенной области составляют не более 3 %, то в этот период они отмечены не менее чем у 10 % погребенных. Наиболее часто трепанации проводились с левой стороны черепа на теменной и/или теменно-затылочной костях. С.И. Круц [1984] описывает варианты множественных трепанаций (по нескольку отверстий на одном черепе) по материалам могильников Красное и Испановы могилы.

О символичности трепанаций у носителей грековской культуры свидетельствует и избирательность по полу. Подобной операции подвергались только мужчины. Если рассматривать трепанацию как средство "превращения" и инициации, такая избирательность вполне логична. Как отмечал А.Д. Авдеев, происхождение театрального искусства оказалось исторически связанным именно с мужским трудом. Охотничья маскировка как

форма преображения человека в иное существо и богатые имитационные способности, развившиеся в силу жизненных потребностей, послужили предпосылкой к созданию охотничьей пляски. Охотничья магия стадиально преобразуется в тотемные обряды и ритуалы тайных мужских союзов, где в маске человек является в новой сущности: мертвым, духом или животным [Мировая художественная культура, 1994, с. 354–377]. Эта линия психоповеденческого “превращения” прослеживается позже при выделении категории воинов.

О существовании мощного центра посмертной трепанации черепов в Южной Сибири было известно давно, но интересно отметить разнообразие форм этой трепанации и сочетание прижизненных операций с посмертными процедурами, характерными для погребального обряда. Эпохальный вектор подобного сочетания прижизненных и посмертных трепанаций направлен из Северо-Западной Монголии через Туву в Минусинскую котловину. Известные материалы с территории Алтая (в т.ч. из казахстанской его части), из Западной Сибири позволяют говорить об устойчивом феномене трепанации черепов, характерном для огромного пласта кочевых скотоводческих культур середины и конца раннего железного века [Медникова, 2001]. Этнические и культурные связи этого населения всегда были предметом обсуждения антропологов. Вполне возможно, что распространение различных техник трепанации отражает контакты и миграции степных народов. Вместе с тем спорадические находки на территории Центральной Азии, Восточного Туркестана и Сибири удревняют практику трепанации черепов местным населением до эпох энеолита и бронзы (посмертные манипуляции – у грековского и окуневского населения, прижизненные – у носителей карасукской культуры и, возможно, населения Синьцзяня).

Как утверждает один из авторов настоящей статьи [Там же], при общей оценке причин трепанации магические аспекты доминируют. Трепанации как проявление социальной активности человека базируются на мощном фундаменте психологических предпосылок, на архетипических представлениях, отраженных в культе черепа, инициационной и погребальной обрядности. Мотивом для прижизненных и посмертных трепанаций могло быть стремление преобразить сущность человека, и этот тезис находит косвенное подтверждение в частом сочетании трепанации и масок, выполнявших ту же функцию.

Касаясь вопроса о генезисе и распространении феномена трепанации в пределах Евразии, нет оснований сомневаться в наибольшей древности приднепровского мезолитического очага. Позднее практика прижизненных и посмертных манипуляций с телом была значительно шире и, по-видимому, в ряде мест стала рядомым явлением. Недостаток сведений об азиатской части континента долгое время приводил исследователей к

попыткам объяснить распространение трепанаций в этом регионе инокультурным влиянием. Однако археологические исследования на Ближнем Востоке, свидетельствующие о сложной погребальной обрядности и манипуляциях с головой умершего, случаи прижизненной и посмертной трепанации в северных провинциях Китая и в Южной Сибири, относящиеся к энеолиту и эпохе бронзы, доказывают глубокую древность азиатской традиции намеренного перфорирования черепов.

Список литературы

- Бужилова А.П.** *Homo sapiens: история болезни*. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 320 с.
- Бужилова А.П., Винков С.Ю., Антипина Ек.Е.** Средневековое впускное погребение из Кара-Тобе: биоархеологический анализ особенностей погребального обряда // *Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений*. – М.: Вост. лит., 1999. – С. 229–245.
- Бужилова А.П., Масленников А.А.** Военные травмы античного времени: О двух примечательных антропологических находках из Крымского Приазовья // *Проблемы истории, филологии, культуры*. – М.; Магнитогорск, 1999. – С. 212–216.
- Бужилова А.П., Масленников А.А., Куликов Е.Е., Лебедева И.А., Полтараус А.Б.** Материалы к вопросу о ритуальной декапитации в Крымском Приазовье: антропологическая и генетическая экспертиза костных останков античного времени // *Вестн. антропологии: Альманах*. – М.: Старый сад, 2002. – № 9. – С. 42–54.
- Геродот.** История / Пер. Г.А. Стравинского. – М.: Ладомир, 2001. – 739 с.
- Историческая экология** человека: Методика биологических исследований / Под ред. А.П. Бужиловой, М.В. Козловской и М.Б. Медниковой. – М.: Старый сад, 1998. – 260 с.
- Круц С.И.** Палеоантропологические исследования степного Поднепровья. – Киев: Наук. Думка, 1984. – 207 с.
- Кустанович С.Д.** Судебно-медицинская трасология. – М.: Медицина, 1975.
- Медникова М.Б.** Скальпирование на евразийском континente // РА. – 2000. – № 3. – С. 59–68.
- Медникова М.Б.** Трепанации у древних народов Евразии. – М.: Научный мир, 2001. – 303 с.
- Медникова М.Б., Лебединская Г.В.** Пепкинский курган: данные антропологии к реконструкции погребения // *Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений*. – М: Вост. лит., 1999. – С. 200–216.
- Мировая художественная культура** / Сост. И.А. Химик. – СПб.: Славия, 1994. – Т. 1: Художественная культура первобытного общества. – 416 с.
- Перерва Е.В.** О скальпировании у сарматов (по материалам могильника Новый) // РА. – 2005. – № 3. – С. 36–44.
- Руденко С.И.** Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР. – 1953. – 268 с.
- Сыроватко А.Ф., Козловская М.В.** Обработанные бедренные кости человека Протопоповского городища дьяковской культуры // OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. – М.: Изд-во ИА РАН, 2004. – Вып. 3. – С. 228–231.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «“ЗАМОРОЖЕННЫЕ” ПОГРЕБЕНИЯ В ГОРАХ АЛТАЯ: СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

С 28 по 31 марта 2006 г. в Горно-Алтайске проходила Международная конференция «“Замороженные” погребения в горах Алтая: стратегии и перспективы», организованная Университетом г. Гента, (Бельгия) и Горно-Алтайским государственным университетом при поддержке ЮНЕСКО. Конференция была приурочена к “Году Алтая” (2005), объявленному ЮНЕСКО. Замечателен сам факт проведения под эгидой ЮНЕСКО научного форума, посвященного изучению и охране культурного достояния на территории Сибири. На конференции, собравшей археологов и представителей естественных наук – географов (гляциологи, мерзлотоведы, специалисты по спутниковой картографии), геофизиков, обсуждались феномен природы и культуры Горного Алтая – курганы с мерзлотой, а также методы их изучения. Один день работы форума был посвящен археологическим аспектам проблемы, второй – изучению природного контекста исторических памятников; прозвучали и доклады, связанные с междисциплинарными исследованиями, в которых участвовали представители разных наук. Вопросы, так или иначе связанные с древним искусством, обсуждались в десяти докладах.

В первый день перед участниками конференции с официальными приветствиями выступили представители властных структур Республики Алтай (первый зам. главы Республики Алтай Ю.В. Антарадонов, первый зам. министра образования, науки и молодежной политики республики Б.В. Пахаев), затем состоялись освящение форума шаманами, которое включало пантомиму и горловое пение, и презентация проекта ЮНЕСКО по мерзлотным погребениям пазырыкской культуры на Алтае, представленного Ю. Хан (ЮНЕСКО, Париж), были заслушаны и научные доклады. В ярком выступлении Ю.П. Баденкова (Институт географии РАН, Москва) был поставлен вопрос о необходимости совмещения стратегий экономического развития и сохранения природы Алтайского региона в контексте глобальных изменений (климатических, экономических, инфраструктурных). Докладчик обосновал актуальность прогнозирования и отметил важную роль науки в реагировании на проявления глобальных изменений на региональном и местном уровнях, предложил инициировать приздание статуса трансграничной биосферной территории “Алтай” приграничным районам в пределах России, Китая, Монголии и Казахстана.

Т.В. Яшина (Катунский биосферный заповедник) рассказала об опыте реализации научных проектов ЮНЕСКО, в частности, об организации мониторинга окружающей среды в Катунском биосферном заповеднике. Ж. Буржуа (Гент) сосредоточил внимание собравшихся на опасностях, возникающих для мерзлотных курганов пазырыкской культуры в связи с глобальным потеплением, познакомил с долгосрочным проектом Гентского университета, предусматривающим изучение и разработку мер по сохранению захоронений в мерзлоте на территории Горного Алтая. С.С. Марченко (Международная ассоциация вечной мерзлоты, университет Аляски, г. Фербенкс, США) продемонстрировал динамику таяния ледников на Северном Тянь-Шане и на Алтае, осветил тенденции в изменении климата, обусловливающие таяние ледников и ускорение этого процесса, а также результаты изучения феномена формирования и деградации мерзлоты на могильнике Берель.

Академик В.И. Молодин (Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск) представил основные результаты научного изучения древностей плоскогорья Уок; наиболее подробно он остановился на исследовании пазырыкских захоронений с мерзлотой. В.И. Молодин охарактеризовал широкий спектр проблем, возникающих в ходе полевой и последующей консервации и реставрации сохранившихся в мерзлоте материалов, а также рассказал об изучении полученных артефактов в различных институтах СО РАН и основных научных результатах реализации мультидисциплинарных проектов СО РАН.

В докладе В. Гейле (Гентский университет, Бельгия) были продемонстрированы методика и средства, применявшиеся при картографировании археологических памятников в Себистее, Елангаше, Каланегире, Юстыде и Джазаторе (Кош-Агачский р-н Республики Алтай), а также археологические карты данных локусов. Его коллеги из Гентского университета Р. Гуусенс и А. де Вульф подробно осветили применявшуюся при построении этих карт технологию обработки данных спутниковой съемки, познакомили со способами внесения результатов археологической разведки в базы данных. В выступлении А.В. Эбеля (Горно-Алтайский государственный университет) речь шла о реализации совместных с коллегами из Гента про-

грамм по составлению археологических карт территории Кош-Агачского р-на Республики Алтай. В докладе И.Ю. Слюсаренко (Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск), Е.П. Крупочкина и Н.Т. Быкова (Барнаульский государственный университет) обсуждались современные подходы к картографированию разновременных объектов Юстыдского археологического микрорайона Восточного Алтая и результаты их использования.

Ян Линь (Национальный музей Китая, Пекин) представил очень интересный обзор археологических памятников Китайского Алтая, познакомил с музеинными экспонатами разных эпох, стелами-изваяниями, материалами из курганов, поселений и городищ на обширной территории Южного Алтая. Г. Джумабекова (Институт археологии им. Маргулана, Алматы) продемонстрировала результаты новейших раскопок разграбленного в древности кургана пазырыкской культуры на могильнике Берель; Д. Цэвэндорж (Академия наук Монголии, Улан-Батор) сделал сообщение о петроглифах в Гобийском Алтае. Э. Якобсон-Тепфер (Орегонский университет, США) поделилась размышлениями о природных и культурных ландшафтах Монгольского Алтая. В докладе Ю.Ф. Кирюшина и Н.В. Степановой (Алтайский государственный университет, Барнаул) были представлены результаты изучения памятников скифской эпохи на средней Катуни, в частности, выделены особенности погребального обряда и социального статуса населения Северного Алтая и Укока.

Д.В. Черемисин (Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск) продемонстрировал возможности анализа контекста неразграбленных мерзлотных захоронений для реконструкции семантики искусства звериного стиля пазырыкской культуры. А.А. Тишкин познакомил с опытом тахеометрической съемки археологических объектов в устье р. Большой Яломан и результатами раскопок памятников разных эпох, в частности, с уникальными произведениями топретики булан-кобинской культуры. В.Д. Кубарев (Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск) остановился на характеристике памятников каракольской и пазырыкской культур, в т.ч. петроглифов и погребальных комплексов, в бассейне р. Урсул, указал на признаки наличия подкурганной мерзлоты у больших пазырыкских курганов в Центральном Алтае.

В докладе Н.А. Кочевой и М.Г. Суховой (Горно-Алтайский государственный университет) обсуждалась проблема исчезновения вечной мерзлоты на Алтае вследствие климатических изменений. А.В. Шитов (Горно-Алтайский государственный университет) охарактеризовал потенциал ГИС для исследования вечной мерзлоты в этом регионе. А.Н. Дмитриев (Институт геологии СО РАН, Новосибирск) рассказал об ожидаемых угрозах и рисках, связанных с климатическими изменениями. Л.М. Чевалков (Институт алтаистики им. С.С. Суразакова, Горно-Алтайск) осветил этапы изменений климата в голоцене и нюансы отношения сов-

ременного населения Республики Алтай к археологическим памятникам разных культур. Сообщение Н.Н. Михайлова (Барнаульский государственный университет) было посвящено региональным особенностям изменения климата Алтая. В докладе О.В. Останина и Н.Н. Михайлова обсуждались возможности привлечения характеристик криогенного ландшафта Алтая при реконструкции природных обстановок прошлого.

А.-П. Франкфор (Национальный центр научных исследований Франции, Париж) представил основные результаты раскопок кург. 11 могильника Берель в Восточном Казахстане, охарактеризовал особенности технологии раскопок и сохранения артефактов из органических материалов в ходе полевой и лабораторной консервации и реставрации. Докладчик также убедительно продемонстрировал связь сюжетов и образов изобразительного искусства берельцев с искусством ахеменидского Ирана.

Заслушав все доклады, участники конференции провели острую и плодотворную дискуссию с целью выработки рекомендаций по разработке научной программы изучения и сохранения "замороженных" погребений Алтая. Академик В.И. Молодин предложил разделить работы по охране пазырыкских курганов с мерзлотой на два этапа. На первом этапе, по его мнению, необходимо провести инвентаризацию и паспортизацию всех археологических памятников на территории Республики Алтай. На втором этапе на курганах пазырыкской культуры следует организовать такой же геофизический мониторинг, какой уже ведется специалистами СО РАН на территории плато Укок и в Монгольском Алтае. В.И. Молодин подчеркнул, что раскопки курганов, которым по оценке специалистов грозит реальная опасность скорого "размораживания", должны проводиться высококлассными профессионалами с применением мультидисциплинарного подхода. Он обратил внимание на высокую стоимость подобного проекта, включающего реставрацию и музеефикацию объектов. В.И. Молодин подчеркнул необходимость учитывать негативное отношение населения Республики Алтай к работам археологов в регионе, во многом сформированное средствами массовой информации. Именно в СМИ (например, фильм "Месть алтайской принцессы") новосибирские археологи были названы виновными в мировых "природных и социальных катаклизмах", звучат призывы "перезахоронить" мумию женщины из Ак-Алахи и тиражируется псевдопатристическое мифотворчество, противопоставляемое современной науке.

В дискуссии приняли участие Ю.Ф. Кирюшин, отметивший, что сегодня отсутствует археологическая карта Республики Алтай и не проведена паспортизация пазырыкских курганов, Э. Якобсон, считающая, что вопрос о необходимости раскопок остается спорным, Ж. Буржуа, высказавший мнение о важности создания археологической карты Алтая на основе интегрируемых систем картографии в России, Монголии, Китае

и Казахстане. Ян Линь отметил, что проблемы, связанные с “замороженными” курганами, еще не поднимались в отношении памятников Китайского Алтая, пообещал использовать ценный опыт коллег и представить доклад о проблемах сохранения памятников Южного Алтая в правительство Китайской Республики.

В ходе дискуссии обсуждалось прозвучавшее за неделю до начала конференции заявление Президента РФ о проекте строительства на алтайском участке границы газопровода из России в Китай. Л. Леви-Стросс (ЮНЕСКО, Париж) указал на то, что территория плоскогорья Укок взята под охрану ЮНЕСКО как объект природного наследия. В ходе конференции был поставлен вопрос о номинации Укока как объекта природного и культурного наследия и необходимости информирования общества о том, что прокладка трубопровода может угрожать и природе, и археологическим памятникам на данной территории. В.И. Молодин отметил, что на сегодняшний день ученым не представлен ни один из проектов, связанных с созданием данного трубопровода, а реализация любых хозяйственных проектов предусматривает археологические работы в зоне отчуждения, где памятники мешают строительству. Постановлением правительства Республики Алтай территория плоскогорья Укок объявлена “зоной покоя”, где запрещены любая хозяйственная деятельность (кроме зимнего выпаса скота населением близлежащего с. Джазатор), разведение костров, облет вертолетами, археологические исследования и т.п. В.И. Молодин заострил внимание на том, что первоочередными в плане охранных работ могут оказаться не курганы южно-алтайского высокогорья, а Большие пазырыкские курганы Центрального Алтая (Кулада, Соору и др.), с чем согласился А.В. Эбель. Подобное заключение соответствует данным Н.А. Кочевой, согласно которым наибольшее увеличение в Кош-Агачском р-не демонстрируют зимние температуры (на 0,3 °C), что при средней температуре –30 °C не может влиять на деградацию высокогорной мерзлоты. В ходе дискуссии Ю.П. Баденков подчеркнул необходимость гибкого реагирования на меняющуюся ситуацию вокруг Укока и всестороннего учета и использования существующих рисков в общих интересах сохранения природы и исторического наследия Алтая. А.-П. Франкфор выразил уверенность в том, что соблюдение существующих в каждой стране Алтайского региона законов, направленных на защиту и сохранение памятников истории и культуры, как и Конвенции об охране памятников Мирового культурного наследия, должно обеспечить регулирование вопросов, связанных с изучением археологических памятников в зоне хозяйственного освоения.

После продолжительного обсуждения и корректировки текста проект заключительных рекомендаций был поддержан большинством участников конференции. В обсуждении приняли участие также представители властных структур Республики Алтай, ректор

Горно-Алтайского госуниверситета Ю.В. Табакаев и зам. директора Отдела по культурному наследию ЮНЕСКО Л. Леви-Стросс.

В заключительном документе участники призвали коллег к широкому международному сотрудничеству в изучении археологического наследия Горного Алтая, который предложено рассматривать как трансграничный культурный и природный ландшафт. В этих целях необходимо проведение инвентаризации, паспортизации и составления археологической карты Алтая на основе международных стандартов, с учетом норм и специфики каждой страны. Эксперты рекомендовали принять все меры для сохранения объектов мирового культурного наследия (к ним, по мнению участников конференции, в ближайшем будущем следует отнести “замерзшие” захоронения пазырыкской культуры) в соответствии с государственными законами России, Китая, Монголии и Казахстана и Конвенцией по охране памятников Мирового культурного наследия. В условиях глобального изменения климата рекомендовано начать комплексный мониторинг мерзлотных захоронений, а также обеспечить наиболее полное научное исследование всех археологических объектов, которые при реализации хозяйственных проектов на территории Алтая попадают в зону отчуждения.

Во время работы конференции ее участники смогли наблюдать с возвышенности на Майминском взвозе полное солнечное затмение. На трассе, пересекающей Алтай с севера на юг, была устроена импровизированная обсерватория и многим участникам удалось получить качественные снимки этого природного явления.

Заключительный рабочий день был посвящен экскурсии в долину р. Каракол, организованной Горно-Алтайским университетом. Участники конференции посетили Башадарские курганы и ряд других археологических памятников, а также осмотрели музейные этнографические собрания в Каракольском природном парке, где была устроена презентация.

В заключение хотелось бы выразить надежду на то, что конференция сыграет большую роль в реализации решений и рекомендаций, принятых на данном собрании специалистов исторических и естественно-научных дисциплин. Содержание прослушанных докладов было чрезвычайно интересным, а идея проведения монотематического симпозиума с привлечением ученых разного профиля представляется очень продуктивной. Остается надеяться, что выработанные учеными “стратегии” получат столь же продуктивное воплощение. От лица гостей хотелось бы отметить усилия организаторов, обеспечивших четкую работу конференции.

Д.В. Черемисин

Институт археологии и этнографии СО РАН
пр. Академика Лаврентьева, 17
Новосибирск, 630090, Россия
E-mail: cheremis@archaeology.nsc.ru

АО – Археологические открытия

ВДИ – Вестник древней истории

ДВО РАН – Дальневосточное отделение РАН

ДВФ СО АН СССР – Дальневосточный филиал Сибирского отделения АН СССР

ИА РАН – Институт археологии РАН

ИАЭт СО РАН – Институт археологии и этнографии СО РАН

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры РАН

ИИФФ СО АН СССР – Институт истории филологии и философии СО АН СССР

Коми НЦ УрО РАН – Коми научный центр Уральского отделения РАН

КСИА АН СССР – Краткие сообщения Института археологии АН СССР

ЛОИА АН СССР – Ленинградское отделение Института археологии АН СССР

МАЭ РАН – Музей антропологии и этнографии РАН

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР

РА – Российская археология

РГО – Русское географическое общество

СА – Советская археология

САИПИ – Сибирская ассоциация исследователей первобытного искусства

СЭ – Советская этнография

ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ

ЭО – Этнографическое обозрение

ЯНАО – Ямalo-Ненецкий автономный округ

BAR – British Archaeological Reports